

BRITISH AGENT
by R. H. Bruce Lockhart
G. P. PUTNAM'S SONS
1933
NEW YORK AND LONDON

Локкарт, Роберт Брюс

БРИТАНСКИЙ АГЕНТ

Оглавление

Книга I. МАЛАЙСКИЙ ИСКУС.....	2
ГЛАВА ПЕРВАЯ.....	2
ГЛАВА ВТОРАЯ.....	5
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.....	11
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.....	15
ГЛАВА ПЯТАЯ.....	22
ГЛАВА ШЕСТАЯ.....	28
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.....	36
Книга II. БЛЕСК МОСКВЫ.....	42
ГЛАВА ПЕРВАЯ.....	42
ГЛАВА ВТОРАЯ.....	51
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.....	62
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.....	67
Книга III. ВОЙНА И МИР.....	78
ГЛАВА ПЕРВАЯ.....	78
ГЛАВА ВТОРАЯ.....	86
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.....	94
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.....	101
ГЛАВА ПЯТАЯ.....	112
ГЛАВА ШЕСТАЯ.....	123
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.....	131
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.....	140
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.....	147
Книга IV. ИСТОРИЯ ИЗНУТРИ.....	161
ГЛАВА ПЕРВАЯ.....	161
ГЛАВА ВТОРАЯ.....	175

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.....	183
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	198
ГЛАВА ПЯТАЯ.....	208
ГЛАВА ШЕСТАЯ.....	220
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	229
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.....	248
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.....	263
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.....	278
Приложение	298

Книга I. МАЛАЙСКИЙ ИСКУС

*Луна чиста и звезды светят ярко сверху вниз
И ворон в отдаленье клюет рис
О Боже, если усомнился ты в моей любви
Узри же мое раненое сердце – грудь мне разорви*

МАЛАЙСКОЕ ЧЕТВЕРОСТИШЬЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В моей бурной и разнообразной жизни случай играл большую роль, чем ему обычно предоставляется. В этом я сам виноват. Никогда я не пытался быть полным господином своей судьбы. Наиболее сильный импульс момента управлял всеми моими действиями. Когда случай вознес меня на головокружительную высоту, я принял его дары с распростертыми объятиями. Когда он сверг меня вниз с моей вершины, я принял его удары без жалобы. У меня были часы раскаяния и сожаления. Я привык заглядывать внутрь себя и прислушиваться к голосу своей совести. Но этот самоанализ всегда был объективным. Он никогда не был болезненным. Он никогда не помогал и не мешал мне на моем бурном жизненном пути. Он не был мне ничем полезен в вечной борьбе, которую ведет человек сам с собой. Разочарования не излечили меня от неискоренимого романтизма. Если иногда я недоволен своими поступками, — угрызение совести терзает меня только за то, что я оставил незавершенным...

Я родился в Анструтере — графство Файф — 2 сентября 1887 года. Отец мой был учителем начальной школы, переселившимся в Англию в 1906 году. Мать моя была из семьи Макрегор (шотландка). Среди моих предков были Брюсы, Гамильтоны, Комминги, Вельсы и Дугласы, и я могу проследить свой род до Босвела Аучинлекского. Таким образом, во мне нет ни единой капли английской крови. Мои воспоминания детства кроме меня, никого не могут интересовать. Мой отец был завзятым игроком в футбол, в регби и состоял членом шотландского футбольного жюри. Братья моей матери были хорошо известными шотландскими атлетами, таким образом, свою первую тренировку в футбол я получил, когда мне было четыре года, под руководством различных шотландских игроков, выступавших на международных состязаниях. И поэтому, как только я научился ходить, я уже умел забивать гол. Как ни странно, отец мой, сам не будучи игроком, был горячим поклонником крикета. Когда родился мой третий брат, я захопал в ладоши и радостно воскликнул: «Теперь у нас есть форвард, однокорпусник и голкипер». Затем я стащил сырой кусок мяса и положил его в люльку, чтобы его мускулы скорее развивались и кости окрепли. В это время мне было семь лет!

В других отношениях воспитание мое проходило нормально. Я получал свою порцию телесного наказания, главным образом за игру в футбол и крикет в субботу, которую мой отец строго соблюдал. В двенадцатилетнем возрасте я начал мое обучение в Феттсе, где провел пять лет увлекаясь атлетикой. Это чрезмерное пристрастие к спорту имело печальные последствия для моих занятий. В первом семестре моего обучения в Феттсе я лучше всех выполнил письменную работу по латыни, заданную всей школе, но ошибся в шестом падеже. За остальное время моего пребывания в школе я уже больше ни разу не попадал в число 50 лучших учеников и, хотя я достиг успехов в освоении шестого падежа, был причиной тяжёлого разочарования для моих родителей. Чтобы излечить меня от нездоровой страсти, отец отправил меня в Берлин, вместо того чтобы поместить в Кембридж, где несколько лет спустя мой младший брат был дважды награждён голубой лентой за спортивные успехи, но не получил награды за знание новых языков, которыми он, несомненно, овладел бы при других условиях.

Я многим обязан Германии и профессору Тилли. Тилли был австрийцем, сделавшимся более пруссаком, чем сами пруссаки, вплоть

до того, что он исключил из своего имени букву «е», подписываясь так, как это делал великий немецкий авантюрист. Его метод был спартанским и безжалостным, но он научил меня работать — достоинство, которое несмотря на многие отклонения никогда не было совсем мною утрачено. Он научил меня еще двум ценным вещам: уважению к неанглийским обычаям и установлениям, и секрету овладения иностранными языками. Первое помогло мне во взаимоотношениях с иностранцами в течение моей последующей жизни. Последнее облегчило мне занять правильную позицию, когда семью годами позже я отправился в Россию. Если Тилли жив, я надеюсь, он прочтет эти строки и увидит, что я воздаю должное его методам воспитания. Его влияние было единственным в моей жизни, которое я могу назвать вполне благотворным. Из Берлина я был отправлен в Париж, где я находился под влиянием доброго и благочестивого человека — Поля Пасси. От него я перенял прекрасное французское произношение и мое первое ознакомление с мировоззрением уэльских возрожденцев. Пасси, который был сыном Фредерика Пасси, знаменитого французского юриста и пацифиста, был самым мягким из кальвинистов. В юности он пожелал стать миссионером, и, как человек, серьезно относящийся ко всякому принятому на себя делу, он с большой заботой подготовлял себя к этому трудному служению, поедая крыс. Болезнь легких помешала этому великому ученому похоронить себя в глуши Китая или отдаленных островов Южного моря. Эта потеря для язычников принесла пользу науке, и в настоящее время имя Пасси навсегда поставлено в одном ряду с именами Свита и Виэтора, в почетном списке пионеров учения о фонетике. Несмотря на свое увлечение лингвистикой, он никогда не покидал своей достойной работы в исправлении грешников. Когда я впервые узнал его, он находился под влиянием Эвана Робертса, уэльского евангелиста, и единственный раз в моей разнообразной жизни мне пришлось выступить перед парижскими босьями с пением гимнов уэльских возрожденцев на французском языке. Пасси читал молитву и играл на гармонике в то время, как я пел соло под аккомпанемент хора из трех дрожащих английских студентов.

Если жизнь есть смена случаев, то в моей жизни они чередовались быстро. После трех лет пребывания во Франции и в Германии я возвратился в Англию с целью пройти окончательную подготовку к

гражданской службе в Индии. Судьба и моя склонность к странствованию определили другой путь. В 1908 году мой дядя, один из пионеров резиновой промышленности в Малайских штатах, приехал с востока домой и воспламенил мое воображение баснословными рассказами о богатстве, которое можно с легкостью приобрести в этой фантастической и волшебной стране. В моей крови уже закипело стремление к путешествиям, желание увидеть новые страны, испытать новые приключения. Я решил связать свою судьбу с каучуковыми плантаторами и отправился на восток.

Свои студенческие годы в Берлине и Париже я провел серьезно и безупречно. В Германии страстное поклонение Гейне - даже теперь я могу прочесть наизусть большую часть «Интермеццо» и «Возвращения на родину» —привело к невинному роману с дочерью одного немецкого морского офицера. Лунными ночами я скользил в лодке по Ванзее и вздыхал за кружкой пива на террасе кафе Шлахтензее. Я пел в присутствии ее матери самые новые и самые чувствительные венские и берлинские песенки. И я овладел немецким языком. Но у меня не было ни авантюр, ни проделок, ни эксцессов.

Во Франции я увлекался экзотическим сентиментализмом Лота, которого я однажды встретил и чьи эксцентричные и аффектированные манеры не излечили меня от восторга, который я испытываю по сей день перед очарованием его прозы. Но я проливал в одиночестве слезы над чтением «Ле Дезеншантэ». Я наизусть выучил прелестные письма Дженан. Тремя годами позже это сослужило мне хорошую службу во время моего экзамена на консульского чиновника. Но я не пытался подражать длинной серии «Мариаж де Лота». Теперь восток выводил меня на широкую дорогу неограниченных искушений.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ни одно путешествие не произвело на меня такого очаровательного впечатления, как первая поездка в Сингапур. Она сохранилась в моей памяти как прекрасный сон наяву, в котором я помню каждый эпизод и который никогда не перестает служить мне утешением в моменты грусти.

Значительно более отчетливо, чем у многочисленных спутников по путешествию, с которыми мне приходилось впоследствии встречаться, я могу воссоздать перед моим умственным взором капитана, стюарда

курительной, матросов, толстого романтического казначея и трех германских морских офицеров, которые являлись моими единственными серьезными соперниками за первое место в спортивных играх на палубе.

Но настоящим очарованием этой поездки был калейдоскоп чудесных красок и восхитительных ландшафтов, которые непрерывно развертывались перед моими глазами. Я наслаждался этим зрелищем. Я вставал еще в потемках, чтобы захватить первое дуновение бриза, который предвещал приближение рассвета и ждал с приятным трепетом предвкушения того момента, когда огненный шар солнца выглянет сквозь серую пелену и появится там, где кончался небосклон и начиналось море, великолепное в своем спокойствии. Стоя один на носу судна, я наблюдал закаты цвета шафрана с их меняющейся панорамой кораблей и армий, королей и замков, рыцарей и прекрасных дам, — зрелище более увлекательное и живое, чем самый занимательный кинофильм.

Мне был всего 21 год, и моя жажда знаний была неутолима. Я проглатывал всякую книгу о путешествии, которую я мог достать. Некоторые книги, которые я тогда прочитал, являются до настоящего времени моим величайшим сокровищем. «Курильщики опиума» Жюли Буасьера остается лучшей книгой этого жанра, которую я знаю. Другие, как, например, «Письма без адреса» Свиттенхема, кажутся теперь почти смешными, тогда же они были необычайно реальны. Лоти являлся моим героем, и подобно ему я закутывался в плащ меланхолического одиночества.

В портах я инстинктивно уклонялся от моих соотечественников и не сопровождаемый никаким раболепным проводником пользовался случаем побывать в туземных кварталах. Я почти не имел друзей, за исключением Виктора Коркрана, который, будучи много старше меня, по-видимому, находил удовольствие выпрашивать меня и выслушивать фантастические мечты и честолюбивые желания тщеславного юноши. Тем не менее по доброте своей он прятал свою насмешку под маской симпатии. Он много путешествовал и знал темные уголки истории и фольклора, сведения о которых нельзя найти в справочниках. На борту «Бюлова» он являлся римлянином в орде готов, и до настоящего времени я сохранил благодарность за ценные уроки, которые он, сам того не сознавая, преподавал мне.

Больше всего я научился ценить красоту теплых тонов и роскошную растительность. Орхидеи малайских джунглей значили больше и теперь значат для меня больше, чем самый прекрасный букет на груди самой прекрасной женщины. Зной тропического солнца стал мне необходим и физически, и духовно.

Даже до сих пор я не могу подумать без ощущения тоски, причиняющей почти физическую боль, об этих безоблачных восточных небосклонах, бесконечных пространствах золотого песка, обрамленного прохладными пальмами и величественными дюнами. Подобно герою Факоньера я пришел к убеждению, что всякая страна, в которой человек не может жить обнаженным в течение круглого года, обречена на труд, на войну, на установление стеснительных запретов, диктуемых кодексами морали. Теперь туманы английской зимы для меня такой же кошмар, как стены моей большевистской тюрьмы.

И, однако в этой Малакке, которую я люблю, которая останется как приятнейшее воспоминание моей жизни и которую я вновь никогда не увижу, я потерпел поражение. По прибытии в Сингапур, я был послан на каучуковую плантацию за портом Диксон. Земля не знает драгоценности более прекрасной, чем эта маленькая гавань, которая расположена у входа в Малаккский пролив. В это время он был еще не испорчен вторжением белого человека. Климат был почти совершенен. Его береговая линия была похожа на опал, меняющий свои цвета в зависимости от лучей солнца. Тишина его ночей, нарушавшаяся только тихим всплеском прибоя, приносила душевный мир, который я никогда больше не испытаю. Я испытывал радость каждую минуту в течение года моего пребывания там. Но я был равнодушным плантатором. Я не мог выносить едкого запаха тамильских кули. Я достаточно изучил их язык, чтобы выполнять свои обязанности. Теперь за исключением нескольких слов команды и ругательств я совершенно забыл язык. Китайцы с их автоматической аккуратностью не обращались ко мне, и обычная работа в имении – учет контрольных марок, ведение счетоводства – надоедала мне. Мой главный управляющий был зятем покойного лорда Фортевио, он легко и снисходительно относился к моим ошибкам. Очень быстро я вошел в жизнь британского плантатора. Я научился пить неизменную

«стенгах»¹. Раз в месяц я отправлялся с моим начальником в соседний город Серембан и поглощал большое количество джина в Сенджеи Уджонг-клубе. По воскресеньям путешествовал по стране, играл в футбол и хоккей, завязывал многочисленные новые знакомства. Гостеприимство на Малайе в те золотые, беспечные дни 1908 года для юноши было почти чрезмерным, и немногие переносили его благополучие.

Во время моего пребывания в порту Диксон я имел небольшой триумф, отзвук которого я отдаленно чувствую по сегодняшний день.

Несколько месяцев спустя после моего прибытия в страну, я остановился в Куала Лумпур, чтобы сыграть «роггер» в команде моего штата – Негри Сембилан – против Селангора. Куала Лумпур является столицей Селангора и федерации Малайских штатов. Селангор обладает большим количеством белого населения, чем какой-либо другой штат, и в то время его команда по «роггеру» включала несколько международных игроков, среди которых находится добродушный шотландец «Бобби» Нейль. В те дни Негри Сембилан едва мог выставить пятнадцать игроков по «роггеру». Конечно, мы никогда не рассчитывали победить Селанго, и я сомневаюсь, могли ли мы победить когда-либо какой-нибудь другой штат.

Несмотря на климат «роггер» является наиболее популярным зрелищем на Малайском архипелаге и, несмотря на явное несоответствие в силе между двумя сторонами, в Куала Лумпур собралось большое количество европейцев и туземцев, чтобы посмотреть на состязание. Те, кто был свидетелем этой классической встречи, были вознаграждены одним из величайших сюрпризов в истории спорта. Матч разыгрывался около Рождества, и селангорцы не были подготовлены. Возможно, что они слишком легко отнеслись к своим противникам, во всяком случае, к перерыву селангорцы вели в своем активе одно очко и превращенный мощным «Бобби» в гол штрафной удар, против одного очка, сделанного мною самим. Вскоре после начала второй половины игры, сделалось очевидным, что Селанго устал и толпа – селангорская толпа – в восторге от предстоящей неожиданной победы громко приветствовала нас. Мне весьма посчастливилось сделать второе очко, и за пять минут до конца счет у сторон был одинаковый. Затем с аута сильный новозеландец,

¹ Виски с водой

который вел на нашей стороне хорошую игру, передал мяч назад мне, и мне удалось забить гол. Мы сыграли величайшую шутку, и селангорская команда и зрители оказались достаточно спортсменами, чтобы оценить ее. Я был увезен с поля победы в когда-то знаменитый клуб «Пятнистая собака» на окраине Паданга. Там я был окружен толпой людей, имен которых я не знал, но которые оказались моими земляками – шотландцами, знавшими моего брата и отца, которые похлопывали меня по плечу и настойчиво меня угощали.

Задолго до обеденного часа, я, вероятно, выпил по рюмочке, быть может по несколько, почти с каждым из присутствующих. Когда я прибыл в гостиницу, где давался официальный обед двум командам, обе команды и гости сидели на своих местах. Я был встречен в дверях «Бобби» Нейлем, который сообщил мне, что председательство предоставлено заместителю генерал-губернатора, и что мне единогласно предоставили почетное место по его правую руку на верхнем конце стола. Это был мой первый опыт публичного чествования, и мне не понравилось это испытание. Однако моим главным подвигом явился мой разговор с председателем банкета, которому я откровенно рассказал о своих приключениях на Востоке. Они, должно быть, были слишком живо описаны, так как он укоризненно сообщил мне, что он женатый человек.

— На тамилке или малайке, сэр? — спросил я вежливо.

— С-т-с, — сказал он. — У меня трое детей.

— Черных или белых, сэр? — продолжал я с неизменной учтивостью.

К счастью, он обладал чувством юмора и легко отнесся к ошибкам двадцатилетнего юноши.

Этот случайный триумф имел неприличное последствие. Как самого юного и, следовательно, самого незаметного и бесхитростного члена команды меня поместили в дом пастора, хорошего атлета, но несколько чопорного для «падре» в тропиках. Куала Лумпур, подобно Риму, построен на семи холмах, и я несколько затруднился отыскать дом почтенного человека в ранний утренний час. Однако благодаря верному «Бобби» и другим добрым друзьям я был благополучно доставлен в мою комнату, и с большим усилием мне удалось появиться к завтраку на следующее утро в воскресенье. Холодная вода произвела чудеса, и я выглядел не слишком плохо, но голос у меня пропал. Так

как я отвечал карканьем на бесчисленные вопросы относительно моего здоровья, миссис «падре» посмотрела на меня с жалостью.

— Ах, мистер Локкарт, — сказала она мне. — Говорила я вам, что, если вы не наденете ваш свитер после игры, вы простудитесь.

С этими словами она выбежала из комнаты и принесла мне стакан с микстурой от кашля, и, вследствие своей застенчивости, которую я до сих пор не совсем могу побороть, я не мог отказать. Результат сказался мгновенно, и, не говоря ни слова, я бросился вон из комнаты. Никогда — ни раньше, ни впоследствии — я не страдал так, как я страдал в это воскресное утро. Я часто удивляюсь, как много поняла миссис «падре». Если она хотела дать мне урок, награда учителя никогда не могла бы быть более приятной. Тип малайского джентльмена, с его глубоким отвращением к труду, пленял меня. Мне нравилось его отношение к жизни, его философия. Человек, который умел ловить рыбу и охотиться, который знал тайны ручьев и лесов, который умел говорить метафорами и любить туземок, был мне по сердцу. Я с жадностью изучал его язык. Я изучал его обычаи и историю. Я находил романтику в малайских женщинах, скрытых под покрывалом. Я отдавал моим малайцам ту энергию и энтузиазм, которые следовало бы отдать тамильским и китайским кули моей каучуковой плантации. Презирая некультурную жизнь плантатора, я искал себе друзей среди более молодых правительственных чиновников. Я показывал им мои поэмы. Они приглашали меня полюбоваться своими акварелями. Среди них был молодой человек, достигший теперь высших ступеней в колониальной иерархии, с которым я играл на рояле в четыре руки.

Я заводил друзей также среди католических миссионеров — прекрасных людей, добровольно отрешившихся от Европы и даже от европейцев на Востоке и посвятивших всю свою жизнь заботам о своей туземной пастве.

На столбцах местной газеты появился мой первый опыт журналистики, в котором я пытался заклеить японскую торговлю живым товаром. Этот опыт был встречен неодобрительно, но, после того как я написал передовицу о недостатках эсперанто, редактор признал меня и предложил мне постоянное сотрудничество. Больше всего я читал, и читал серьезно. Средняя библиотека плантатора могла содержать различный подбор прозаических и поэтических произведений Киплинга, но их главным содержанием в те дни были произведения

Губерта Уэльса и Джемса Блитса. Я не знаю, какие авторы заняли сегодня их места, но для меня Губерт Уэльс не был поучительным автором. Я положил себе за правило никогда не покупать романов, и ежедневному получению из Сингапура серьезной литературы я обязан своим здоровьем и тем, что я избежал увлечения восточной троицей – опиумом, пьянством и женщинами. Все три разбрасывали надо мной сеть своих искушений, но чтение спасло меня от худших последствий объединенного нападения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мое юношеское увлечение одиночеством вызвало во мне, в конце концов серьезную тревогу. Я настоятельно приставал к своему дяде с просьбой достать мне самостоятельную работу. Наконец я был послан открыть новую плантацию у подножья холмов. Место, которое в течение года должно было стать моим жительство, находилось в десяти милях от всякого европейского жилья. Ни один белый человек не жил до этого времени здесь. Селение, к которому примыкало мое поместье, было местопребыванием свергнутого султана, и, следовательно, не особенно дружески относившегося к англичанам. Мой дом так же представлял из себя развалившуюся хижину без веранды и, хотя он был лучше, чем обыкновенный малайский дом, ни в каком смысле не походил на европейское жилище. Опасная для жизни малярия, свирепствовавшая здесь больше, чем в других штатах, не увеличивала прелестей этого места. Моей единственной связью с цивилизацией был велосипед и начальник малайской полиции, который жил в двух милях от меня. Тем не менее я был счастлив, как погонщик с новым слоном. В течение дня мое время было совершенно занято. Мне надлежало сделать что-нибудь из ничего: поместье из джунглей, построить дом для самого себя, проложить дороги и сточные каналы там, где их не было. Были также меньшие проблемы администрирования, которые являлись для меня постоянным источником развлечения и забавы: малайские подрядчики, которые находили извинение для всякой оплошности, тамильские жены, которые практиковали полиандрию на строго практической основе — два дня для каждого из трех мужей и свободный день по воскресеньям; оскорбленный «Вульямэй», который жаловался, что «Рамазанси» украл его день; китайские лавочники, которые заключали сделки на жестких условиях с моим кладовщиком и бомбейские

ростовщики, которые выстраивались в кружок в день выдачи платы и держали моих кули в своих цепких лапах. Перед таким смешанным сборищем я являлся единственным представителем британской власти. Я творил суд без страха или пристрастия, и, если были жалобы на мою власть, они никогда не доходили до моих ушей. В течение этих первых четырех месяцев я был совершенно свободен от забот. Я усиленно работал над малайским языком. Я написал рассказы, которые заслужили похвалы Клемента Шортера и были опубликованы в журнале «Сфера». Я начал писать роман из малайской жизни — увь, незаконченный, и который, вероятно, никогда не будет закончен, — и продолжал мое чтение с похвальным прилежанием. Для развлечения имелись футбол, стрельба и рыбная ловля. Я расчистил клочок земли, приспособил футбольную площадку и посвятил малайцев в таинства футбола. Перед закатом солнца я на лету стрелял пунаи — маленьких малайских голубей. Как это ни странно, я подружился с низложенным султаном и, в особенности, с его женой, истинной правительницей королевской резиденции, старой высушенной леди с крашеными губами и с взглядом, способным вселить ужас в самое мужественное сердце. Ходили слухи, что она совершила все преступления, предусмотренные уложением о наказаниях, и много таких, которые не включены в этот перечень людских проступков. Однако она была королевой Викторией своего округа, и, хотя мы впоследствии сделались врагами, я не питаю к ней злобы.

В своем доме я пользовался совершенно незаслуженной репутацией меткого стрелка. Мое примитивное жилище было полно крыс, которые во время обеда бегали повсюду. Мой фокстерьер обращал их в бегство, в то время как я избивал их палкой. Таким способом было уничтожено их множество. Еще забавнее было расстреливать их из револьвера, и, конечно, это занятие увеличило мое умение стрелять. Затем настал великий день, который в глазах туземцев наделил меня силой чародея.

Все поместье, включая мое жилище, обслуживалось большим колодцем, круглым и глубоким, с большими щелями в надземной части между водою и поверхностью. Однажды утром, когда я завтракал в одиночестве, у дверей моей конторы послышались тараторившие голоса. Многоязычная болтовня сопровождалась хором плачущих женских голосов. Вне себя я бросился вон из помещения, чтобы выяснить причину такой утренней интермедии. Тамильский кули со стоном валялся на земле. Двести его соотечественников окружили

его с криками, объяснениями, мольбами. Целая толпа малайцев и все мои служащие-китайцы собрались вокруг, чтобы дать совет и посмотреть конец трагедии. Несчастный был укушен змеей. Урывками и сбиваясь, дико возбужденная толпа рассказала о происшедшем. Там была кобра, громадная кобра. Она находилась в колодце. Она устроила свое гнездо в щели. Это была самка. Там яйца и будут змееныши. К колодцу доступа не было. Армагам был укушен. Хозяин должен, сейчас же должен вырыть новый колодец. Я сделал два надреза на ноге укушенного, перевязал рану, дал бутылку джина и отправил его на телеге в госпиталь за двенадцать миль (он поправился).

Затем в сопровождении двух тамильских «кенгани» и надсмотрщика-малайца я отправился исследовать колодец. Мое ружье находилось еще в порту Диксон. Единственным моим оружием был револьвер, которым я стрелял крыс. В колодце все было тихо. Тамилец указал на дыру на глубине восьми футов, где кобра устроила себе гнездо, и длинным бамбуком надсмотрщик-малаец ударил по отверстию. Тогда с кинематографической быстротой началась жизнь. Послышалось предостерегающее шипенье. Черная шапочка показалась в дыре, поднялась сердитая головка и заставила моих спутников удрать со всех ног. Я внимательно прицелился, выстрелил и тоже отступил. В колодце послышался всплеск и затем все стихло. Я прострелил кобре голову. В своей смертельной борьбе она выпала из отверстия в воду. Жертва моего колдовства была выставлена на показ и устрашение. Моя репутация была установлена твердо, все пути были мне открыты.

Это было счастливым обстоятельством, потому что ближайший путь к Серембану и цивилизации лежит через поселок китайских шахтеров, пользовавшихся репутацией грабителей. Мой банковский клерк был задержан головорезами, которые, разочаровавшись в содержимом его сумки, отрезали ему палец в качестве наиболее удобного способа снять кольцо.

Эта опасность мне больше не грозила. Даже в поселке шахтеров было хорошо известно: во-первых, я могу одним выстрелом убить крысу или кобру; во-вторых, что я никогда не путешествую без револьвера и, в-третьих, что я никогда не держу при себе денег. Таким образом, я путешествовал спокойно. Признаюсь, однако, что ничто в жизни меня так не увлекало, как поездка на велосипеде через джунгли глухой

ночью. Эти поездки, повторявшиеся каждый раз, когда я отправлялся в главный город и оставался там обедать, наполняли меня чувством страха и в то же время были таинственно привлекательны. Так как я должен был приехать в свое поместье раньше шести часов утра, я пускался в обратный путь около полуночи. На протяжении шести миль не было ни единого жилья, я ехал среди леса гигантских деревьев, которые в лунном свете отбрасывали фантастические узоры и тени на тропинку. В отдалении, подобно горам царя Соломона, выделялись холмы Джелебу, таинственные, близкие, и в то же время враждебные. Перед лицом этого неизвестного мира, который обострял мои чувства, я мог, как в сказке, приложить ухо к земле и слышать людской топот за несколько миль. Я испытывал чувство страха, но в моем страхе была привлекательность. Я всегда был рад, когда добирался до дому. Но я никогда не боялся настолько, чтобы не принять приглашение на обед в Серембане или не вернуться домой через джунгли. Это было хорошей подготовкой для большевистской России. Привычка скоро побеждает страх. Мне случалось слышать рев тигра, призывающего свою самку, однажды чуть не наткнулся на черную пантеру. Но это были редкие случаи, и в конце концов, хотя я никогда окончательно не победил чувства жути, страха я не испытывал.

Теперь я стал искать новых приключений. Я уже сказал, что поддерживал хорошие отношения с низложенным султаном и его женой. Моя дипломатия принесла плоды, и незадолго перед праздником Рамазана я получил приглашение на «ронгенг» — род соревнования профессиональных танцовщиц, во время которого они танцуют и поют милейшие любовные песенки. Во время пения они вызывают собравшуюся местную молодежь соревноваться в танцах и экспромтах. Для европейца это не представляет особенно привлекательного зрелища. Танцуют не парами, а скользят бок о бок, причем мужчина старается подражать движениям танцовщицы. Однако для малайца этот танец является романтическим, связанным с непреодолимым половым влечением. Случается, что юноша в пылу страсти пытается броситься на одну из девушек. Тогда вмешивается стража, и нарушитель порядка силой удаляется с арены на весь остаток вечера. Его лишили милости, но ему завидуют.

Для поддержания европейского достоинства я сел между султаном и его энергичной супругой. Султан, старый и морщинистый, хранил достойное молчание. Его действия ограничивались предложением

мне сладкого лимонада и виски. Его супруга была более разговорчивой. Она рассказывала мне о распущенности молодого поколения, и в особенности молодых женщин. Меня забавлял разговор с ней. По местным отзывам, она в молодости была самой распущенной женщиной своего поколения. Ее любовники были многочисленны, как семена мангового дерева, но никто не осмеливался критиковать её поведение или предъявлять обычное малайское право ревнивого мужа или любовника. Даже теперь, с ее крашеными губами на сморщенном лице, она нравилась мужчинам. Она напоминала мне Гагулу из «Копи царя Соломона» и внушала мне такой же страх и уважение.

Однако в общем это был скучный вечер. Я не осмеливался даже повернуть голову, чтобы посмотреть на леди, которые стояли позади меня, закрытые покрывалами так, что были видны только их темные, загадочные глаза. Я рано ушел, решив отплатить за оказанное мне гостеприимство более пышным зрелищем. На следующее утро я пригласил из соседнего штата двух танцовщиц «ронггег», чья красота была известна даже в этой глухой деревне. Я освободил и расчистил площадку перед самым домом, устроил скамейки и миниатюрную сцену и разослал приглашения на следующую неделю. Жители селений и деревни, во главе с двором, пришли в большом количестве. При свете луны широкие покрывала малайцев приобретали новое и странное величие. Пальмы, тихие, как сама ночь, отбрасывали призрачные тени. Мириады звезд сияли на тёмно-голубом своде небес. Это была декорация балета, которой мог бы гордиться сам Бакст, и мои гости, отделавшись от первого ощущения, отдались очарованию чувственного зрелища. Чтобы произвести еще большее впечатление я пригласил главного начальника полиции, веселого ирландца, которого не без трепета посадил между султаном и его женой. Таким образом, я оказался свободным и мог руководить вечером. И тогда я увидел её. Она стояла среди женщин — лучезарное видение смуглой красоты. Покрывало в голубых и красных квадратах было накинуто на её голову, оставляя открытым только тончайший овал лица и бездонные, как сама ночь, глаза.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В жизни бывают моменты, которые оставляют в памяти неизгладимый след. Это и был такой момент, называемый французами «любовь с первого взгляда». Я пережил самое страшное из всех землетрясений — японское, но ни разу я не был так потрясен, как в тот вечер, когда я увидел Амаи, и любовь впервые овладела моим сердцем.

На моих глазах расстреливали царских министров, причем я видел, что мне уготована та же участь, если я не скажу всей правды. Суматрский ураган срывал крышу моего дома. Но ни один из этих катаклизмов не мог сравниться с тем, что я испытал, увидев Амаи и полюбив в первый раз. Мне было двадцать три года. Я провел четыре года во Франции и Германии. Я уже знал женщин, но у меня не было серьезных привязанностей. Я прожил шесть месяцев в полнейшей оторванности от моих соотечественников. Я свыше года не обменялся словом с белой женщиной. Погруженный в нездоровый романтизм, я созрел для искушения. Моя жизнь была достаточно ненормальна, чтобы я принял это искушение с трагической серьезностью. Оно и было серьезно по последствиям, которые имело для нас обоих, изменив течение наших жизней.

Остаток вечера я провел в лихорадке. Горячее желание покинуть моих гостей овладело мною. Я оставил султана и его жену на попечение начальника полиции и, перейдя на другую сторону арены, шагал взад и вперед, размышляя о хрупкой красоте малайской девушки, которая так внезапно нарушила монотонность моей жизни. Над её головой горел факел, который, казалось, светил только для нас, придавая ей сходство с жемчугом на темном фоне. И, конечно, она была прекрасна для малайки, её кожа была светлее кожи крестьянских женщин, работавших в поле. Вскоре я узнал причину этого.

Сгорая от нетерпения выяснить все, я вызвал Си-Воха, моего малайского старосту, привезенного из Сингапура, отношения которого с населением были не слишком хороши.

- Кто девушка, которая стоит позади султана? – прошептал я прерывисто.

Его лицо не изменилось. Он медленно обвел арену глазами, как бы следя за движениями танцующих. Он не удивился, и вопрос не вызвал с его стороны подозрения. Затем тоном, каким он говорил бы о какой-нибудь работе в поместье, он медленно ответил:

- Ворона не равна райской птице. Это Амаи – подопечная султана. Она замужем, но почти разведена со своим мужем. Когда развод будет оформлен, она выйдет замуж за двоюродного брата султана.

Я с нетерпением ожидал ухода последнего гостя. За тем с пылом, усилившимся от полученной информации, я отправился к моему другу, начальнику полиции. Он предостерег меня в еще более ясной форме, чем Си-Воха. В немногих фразах он объяснил, что я должен выбросить Амаи из головы теперь и навсегда. Иначе произойдет неприятность, серьезная неприятность. Туземные женщины все на один лад. Есть другие, более доступные и менее опасные. Совет был хорош. Я должен был бы принять его. Вместо этого я стал обдумывать как бы войти в контакт с моей богиней. Я доверился Си-Воху. Благодаря его содействию я заручился услугами одной старухи, которая имела отношение к резиденции султана. Мои успехи были незначительны, но я не успокаивался. Каждый день в пять часов Амаи имела обыкновение прогуливаться от своего дома до дворца, и каждый день в пять часов я останавливался на краю дороги и сторожил её. Мы не обменивались ни единым знаком. Я оставался неподвижным. Заговорить — значило разрушить все. Она никогда не поднимала покрывала, никогда не замедляла шага. И этими ежедневными двухминутными наблюдениями я прожил шесть недель. Однажды вечером, вскоре после того как развод её был оформлен, я отправился к своему обычному сторожевому посту. Был закат, и солнце сияло подобно раскаленному шару на высшей точке горы. Прохладный ветерок доносил из джунглей благоухание. Я прождал несколько минут, наслаждаясь красотой малайского заката. Дорога была пустынна. Я вглядывался в маленькую тропинку, ведущую от её дома к дороге. Наконец она появилась, закрытая покрывалом и обутая в маленькие зеленые туфельки. Пройдет ли она по-прежнему мимо меня без единого жеста, без единого взгляда. Казалось, она идет медленнее, чем всегда. Очутившись напротив меня, она приостановилась, откинула свое покрывало таким образом, что можно было увидеть цветок лотоса в волосах, и посмотрела мне прямо в глаза. Затем, как спугнутая лань, она повернулась и, ускорив шаги, скрылась в надвигающихся сумерках. Я вернулся домой, охваченный страстью. Я позвал Си-Воха и старуху. Необходимо устроить свидание, настоящее свидание.

Спустя два дня вернулась старуха. Она выглядела еще более зловеще, чем всегда. С бесчисленными просьбами о её безопасности, она сообщила мне, что все устроено. Свидание назначено на сегодняшнюю ночь. Я должен ожидать на опушке джунглей против девятого верстового столба в девять часов, и Амаи придет ко мне. Я должен быть пунктуальным, очень осторожным. Нужно держаться вдали от дороги.

Я осмотрительно сделал все необходимые приготовления: смазал револьвер и сунул в карман электрический фонарь. Потом, сгорая от возбуждения, пустился в это дикое приключение. Около мили нужно было пройти по узкой тропинке, проложенной в джунглях, которая вела к заброшенной шахте. Пришлось пересечь ручей по дрожащему бамбуковому мостику, что даже днем являлось для белого человека рискованным предприятием. На такое путешествие я не согласился бы и за плату. Ни одна женщина не соблазнит меня вновь проделать это. Страх придавал быстроту моим ногам, и, когда я вышел на тропинку, по которой должна была прийти Амаи, то оказалось, что я поспел за четверть часа до назначенного времени. Ожидание оказалось хуже, чем дорога. В тишине малайской ночи острота моего слуха усилилась во сто крат. Пронзительный крик ночной совы наполнял меня предчувствием. Гигантская ночная бабочка, привлеченная моими серебряными пуговицами, прицепилась к складкам моей одежды, вселив ужас в мое сердце. На небе не было ни луны, ни звезд. Присев по туземному на корточки, я ждал с револьвером в руке, в то время как минуты тянулись со смертельной медлительностью. Не сыграла ли со мной старуха злую шутку? Если так, она дорого заплатит за это завтра. Покинуло ли Амаи мужество в последнюю минуту? Для нее испытание в тысячу раз опаснее, чем для меня. Потом, когда отчаяние почти побуждало меня уйти, я услышал всплеск. Какое-то живое существо пробирается по болотистому полю. Затем тишина, сопровождаемая звуком шагов, и прежде чем я смог удостовериться, человек ли это или зверь, из темноты не дальше двух шагов от меня внезапно вынырнул силуэт. Я вскочил на ноги. Силуэт остановился. Она пришла. Это была Амаи. В один миг я привлек ее в свои объятия; она трепетала подобно траве под прикосновением первых лучей утреннего солнца. Потом, взяв ее за руку, я быстро повел ее через ночь по тропинке в джунглях, через тот самый мостик, обратно под гостеприимный кров моего домика. Она уже не покидала его до того момента, пока меня самого не отправили на судно в порт Светтенгам.

В остальном эта история – сплошная трагедия или сплошная комедия смотря по тому, романтичен или циничен читатель. После этой первой ночи Амаи осталась в моем доме. Ее пребывание было не только внешним доказательством ее любви, оно вызывалось также страхом перед сородичами. Короче, история с Амаи вызвала величайший скандал. Мой дом переживал своего рода осаду. Моя малайская Гагула пришла интервьюировать меня у моего порога. Она пришла льстить и ушла с угрозами. Она перечислила заслуги своего племянника, принца крови и очаровательного молодого человека, с которым я часто играл в футбол. Его смущение было велико. Ему нравятся европейцы, и я ему нравлюсь. Мы всесторонне обсуждали вопрос. Он предлагал мне самую прекрасную из гурий своего княжества. Но Амаи я должен возвратить. В ней течет королевская кровь. Это оскорбление для его тетки и, что еще хуже — это опасно для меня. Местные малайцы не так цивилизованны, как он. Могут произойти волнения, очень серьезные волнения. Он покачал головой и улыбнулся, совсем как мой начальник полиции; он с большим успехом мог разговаривать с ветром, чем пытаться сломить мое шотландское упорство. Я не желал ссориться с ним, а тем меньше задевать его гордость. История произвела некоторый шум в европейских кругах. Она дошла до ушей резидента, и я счел необходимым посоветоваться с юристом.

Я явился к господину К. — видному правительственному чиновнику, женатому на малайке и члену семьи, прославившейся службой на Востоке. Его неофициальный совет — официальный походил на брачные советы из «Пунша» — был продиктован дорого обошедшимся ему запасом восточной мудрости.

— Это вопрос сохранения лица, — сказал он. Нужно выиграть время. Скажите, что вы собираетесь перейти в магометанство.

Во время беседы с племянником Гагулы я сам подумал об этом совете. Когда выяснилось, что другого выхода нет, я сказал ему: «Я готов стать магометанином. Я написал архиепископу кентерберийскому, чтобы испросить необходимое разрешение».

Когда мужчина увлечен женщиной, то нет пределов той низости, на которую он готов. Другим мое поведение казалось низким и подлым, но не мне. Чтобы удержать Амаи, я был готов принять магометанство. Это не такой эпизод в моей жизни, которым я горжусь или который я оправдываю моей молодостью или неопытностью, но в то время это

было — в истинном смысле слова — убийственно серьезно. Это было не только увлечение. В моей душе было что-то похожее на страсть к борьбе. Это же чувство я испытывал во время футбола, предпочитая борьбу с более сильным противником легкой победе. Я противопоставил себя всему миру, и я решил рискнуть до конца. Принц признал себя удовлетворенным. Но не Гагула и деревня — Амаи и я оказались отверженными. Моя футбольная команда ушла от меня. Акбар, мой лучший хавбек, который номинально занимал пост военного министра Гагулы, удалился в джунгли. Меня предупредили, что он собирается впасть в «амок». Мой китайский повар покинул меня. Он боялся того, что может что-то приключиться с моей пищей.

А затем я заболел. День ото дня исключительно острая форма малярии опустошала мое тело и кровь. Днем и вечером моя температура поднималась с регулярностью будильника. Явился мой врач. Как и все остальные, добряк был захвачен каучуковым бумом.

Пределом его визитов была миля, а так как мое поместье было его самым дальним визитом, я не мог часто прибегать к его помощи. Он пичкал меня хинином, но без особой пользы для меня. Проходили месяцы, моя болезнь осложнилась постоянной рвотой. Я не мог принимать твердой пищи. В три месяца я потерял четверть своего веса. Я чувствовал себя подавленным и несчастным. Целый день я лежал в своем шезлонге, пытаюсь читать, проклиная служащих и «кенгани», которые приходили беспокоить меня вопросами по поводу работ на плантации. Я чувствовал себя лишним и всем в тягость.

Но от Амаи я не мог отказаться. Только это упорство и спасло меня от самоубийства.

В отношении Амаи я ничего не мог сказать, кроме похвалы. Она была неизлечимым оптимистом. Она никого не боялась и железной рукой управляла моим домом. Правда ее веселость иногда становилась невыносимой. Она любила шум, что для малайки означает любить граммофон. Для нее было небезопасно показываться на улице. Поэтому она целый день сидела дома и слушала: «Я возвращусь, когда деревья зацветут». Теперь я разбил бы пластинки или бросил бы их ей в голову, но в то время я был слишком слаб. Вместо этого я сделался мучеником. Моей единственной защитой от граммофона был рояль. Когда я не мог больше выдержать «цветущих деревьев» я предлагал ей сыграть на дряннейшем инструменте, который я взял у своего

родственника. Тогда Амаи пододвигала ко мне табуретку, набрасывала шаль на мои плечи и садилась около меня, а я со стучащими зубами и онемевшими пальцами пытался исполнить мотивы, слышанные мной в Вене и Берлине. Её музыкальные вкусы были совершенно примитивны. Без сомнения, ей понравились бы негритянские песенки и еще больше томные цыганские мотивы. Но в те дни «Дунайские волны» казались ей верхом совершенства и, если бы кто-нибудь из знаменитых исполнителей венских вальсов появился в моем бунгало, она тут же забыла бы меня.

Может быть, я несправедлив к ней. Она полностью обладала гордостью расы. Она презирала женщин, которые работали в поле. Двусмысленность ее собственного положения ее совершенно не беспокоила. Мысль о замужестве и переходе моем в магометанство никогда не приходила ей в голову. Она очень гордилась тем, что она любовница единственного белого в округе. Она была обладательницей единственных в поселке граммофона и пианино. Кроме того, она спасла мою жизнь. Подозревая, что меня отравляют, она давала мне есть только то, что сама приготавливала. А когда я все-таки не поправлялся, она послала Си-Воха за правительственным врачом.

Врач Доуден был чудаком, циничным, угрюмым ирландцем, с которым я познакомился в порту Диксон. Он был несчастлив на Востоке и давал исход своему мрачному настроению грубыми выходками, за что его не любили. Однако у него было золотое сердце, и, будучи сыном дублинского профессора классической литературы, он был мне духовно ближе всех других белых на Малакке. Лечить меня не входило в его обязанности, но соблюдать формальности было в его характере. Он тот час же пришел, посмотрел на меня и выразительно хрюкнул. И в этот вечер он отправился в бар Сенджей Уджонг клуба. Тогда каучуковый бум достиг своего апогея. Несколько плантаторов, в том числе и мой дядя, сильно нажились на ценных бумагах, и в клубе вино лилось рекой, как оно льется в моменты внезапной удачи. Мой дядя играл в покер с лимитом в сто долларов. У Доудена в натуре было что-то от большевика. Мой дядя только что перебил ставку. Доуден быстро охладил его пыл как игрока.

— Если вы не хотите на свой выигрыш купить гроб для белого, то заберите немедленно своего племянника.

Дядя был потрясен. Он немедленно принял меры. На следующее утро он приехал с двумя китайскими боями на своей машине. Молчаливые бои упаковали мои вещи. Дядя завернул меня в одеяла, вынес и положил в автомобиль. Амаи скрылась в задней комнате. Она, вероятно, догадывалась о том, что происходит, но не вышла. Мы не простились. Но когда машина завернула за угол, солнце заиграло на её серебристых туфельках, которые стояли на верхней ступеньке лестницы. Больше я её не видел и никогда не увижу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Теперь, хотя я путешествовал по морю и по суше, дальше, чем даже большинство шотландцев, я никогда не вспомню названия судна. Я только смутно помню день отъезда и маршрут моих путешествий. Может быть, это было следствием моей болезни; может быть, первые впечатления ранней юности запоминаются легче; может быть, — и так оно и было — первое возвращение на родину всегда дольше всего остается в памяти человека. Факт тот, что каждая минута этого длинного путешествия от бунгало моего дяди в Серембане до Шотландии запечатлена в моем мозгу так ясно, как если бы это было вчера. Дядя был очень щедр и послал меня на два месяца в Японию. Его врач сказал, что, когда я буду удален от источника заразы, я поправлюсь в какие-нибудь шесть недель. Но Доуден качал головой. Он посоветовал мне полечиться основательно. Мне дали денег и билет до Иокогамы. Морис Фостер, уоркестершайрский крикетист, проводил меня до Сингапура. Нед Кок заботился обо мне на борту парохода. Он ушел из стрелковой бригады и занялся каучуком на плантациях Малаи; его огромный рост и бурный темперамент подавляли меня. Я позволял командовать собой. Капитан судна, бородатый немец, был самым добрым. Возможно, что другие пассажиры выражали недовольствие по поводу проявлений моей морской болезни. Во всяком случае, он дал мне отдельную каюту на верхней палубе. Но само путешествие было кошмаром. Морская болезнь не проходила, и меня все время рвало. Одежда висела мешком на моем похудевшем теле. Пассажиры заключали между собой пари — доеду я живым до Японии или нет. В Шанхае я не мог сойти на берег. Зрение мое так испортилось, что я не мог читать. Я хотел умереть и приготовился к смерти. Весь день я лежал на лонгшезе и смотрел остановившимся взглядом на туманный берег и острова, поднимающиеся над морем. Судовой врач следил за

тем, чтобы я не свалился за борт. Но я не помышлял о самоубийстве, я только испытывал огромную усталость тела и души. Я мог оценить красоту внутреннего моря. Я мог писать плохие стихи – ужасные сонеты, посвященные Амаи, в которых все еще звучал прибой волн о заросший пальмами малайский берег вместе с сожалением об утраченной любви. Я мог, когда мы высадились в Иокогаме, ненавидеть японцев со всем предубеждением англичанина, который работал с китайцами. Но я не мог есть. Я не мог противостоять Неду Коку.

С военной точностью он уже решил мою судьбу. Он отправлялся в Англию через Канаду через десять дней. Если я хотел спасти свою несчастную шкуру, я должен был ехать с ним. В Канаде он задержится по делам на шесть недель. Эти шесть недель я должен пробыть в Скалистых горах. Я должен брать сернокислые ванны в Банфе. Лихорадка покинет меня, и я высажусь в Ливерпуле и буду возвращен моим родителям в том же состоянии здоровья и ангельской невинности, в которых я их покинул.

Мне этот план казался слишком сложным. Но Кок все устроил чрезвычайно просто. Он повел меня к токийскому врачу, который согласился с точкой зрения Кока на мое спасение. Он телеграфировал моему отцу и моему дяде по поводу необходимых средств для этого нового путешествия, и через три дня из обоих источников пришли суммы вдвое большие, чем нужно было. Он был идеальным организатором, и я не умаляю ни его достоинств, ни своей признательности. Если бы я в ту минуту был диктатором Англии, я возвел бы его в сан графа Лейстера и сделал бы председателем палаты лордов. Он вскоре нашел бы необходимые средства разбудить это сонное царство или, в случае неудачи, взвалил бы его, подобно Самсону, на свои широкие плечи и опустил бы его в Темзу.

Воздав должное моему спасителю, возвращаюсь к описанию своего путешествия. Все происходило точно по плану. Пересекая Тихий океан, я дрожал и мучился лихорадкой. Но в конце концов я начал принимать пищу безболезненно. Я даже мог с интересом следить за тем, как британский адмирал (давно умерший) играл на палубе в хоккей с тем свирепым юношеским пылом, который делает нас предметом и зависти, и насмешек со стороны иностранцев. Когда мы приехали в Ванкувер, меня представили Роберту Сервайсу и в первый раз за много

месяцев на моих щеках показался румянец. Я был робким юношей, еще не потерявшим способность краснеть, а Сервайс, который тогда был на вершине своей славы, был первым английским писателем, с которым я познакомился.

Он дал мне автобиографический экземпляр своих «Песен из Суордаф» и «Баллады Чихако». Ныне, вместе с остальными моими книгами они, может быть, украшают полки большевистской библиотеки, и еще вероятней — они были сожжены рукой московского палача как империалистические излияния, вредные для московского обоняния.

В курительной отеля я слышал бредни о спекулянтах недвижимостью, которые наживали миллионы в одну ночь, причиняя разорение, следы которого чувствуются до сего дня. Также я впервые слышал имя Макса Айткина, который победил миллионера Монреала и отправился в Англию искать новых побед. Я был тогда так искренне романтично настроен и имел достаточно здравого смысла, чтобы ставить Роберта Сервайса намного выше Макса Айткина.

Как бы то ни было, я читал книги Сервайса, выпивал с ним и вдыхал канадский воздух. Все это, вместе взятое, вылечило меня от страсти к Амаи и заставило обратить мои взоры на Запад.

Патриотизмом злоупотребляют больше, чем всеми другими чувствами. В лучшем случае, это выражение животного чувства самосохранения. В худшем — он запятнан материальными интересами и такими грязными соображениями, как деньги и карьера. В англичанине он проявляется в тупом презрении ко всему неанглийскому. Патриотизм шотландца более практичен. Его презрение к иностранцам включает англичан, но строго скрывается. Это скорее, расовая спесь, чем патриотизм. Шотландия тут почти ни при чем. Цель его — прославление и самоудовлетворение шотландца, в какую часть земного шара его ни привел бы карьеризм.

Но есть другая форма патриотизма, которую можно назвать любовью к родине. Это подлинная любовь, которая живет в каждом человеке к тому месту, где он родился и провел свое детство. Может быть, она вызывается тщеславием, желанием снова увидеть себя в ореоле юности. Она особенно сильна в том, кто вырос в прекрасной местности, но и уроженец Вигана чувствует ее. Всего сильнее она в жителе гор.

Банф с его великолепным фоном из сосен и елей был для меня первым дыханием возвращающейся жизни. Редко я испытывал такую тоску по родине, а здесь, в преддверии Шотландии, я чувствовал себя на полпути домой. Скалистые горы были выше Гремпионов, но они были похожи на Гремпионы. Боу Ривер заменяла Спей. Само селение носило название шотландского города, расположенного в 20 милях от места, где я провел свое отрочество. Я полюбил Банф. Я нанял лодку и обследовал реку (увы, я все еще был слишком слаб, чтобы удить рыбу), и я изучил холодные воды озер Луиза и Минневанка. Я разговаривал с аборигенами. Я нашел сочинения Паркмана и с жадностью прочел их. Клондайк все еще был у всех на устах. В каждом городском округе были несчастные жертвы золотой горячки. Это было романтическое время — в достаточной степени грязное, если всмотреться глубоко, но в роскоши первоклассного отеля никто этим не занимался. Автобусы еще не портили красоты дорог. Нет армии американских туристов, наполняющих воздух оглушительными возгласами восторга. Если верно, что человек создает свою атмосферу, то природа может помочь или помешать ему в том, а в Банфе природа была могущественной союзницей. Я купался в романтике крайнего Запада и чувствовал себя лучше. Мне предстояло купаться и в прямом смысле этого слова.

Мое здоровье было постоянной заботой Неда Кока. Он был в восторге от моего выздоровления и с полным основанием приписывал заслугу себе. К сожалению, он не умел вовремя остановиться. Он вечно строил новые планы и искал новые области применения своей энергии. В Банфе были знаменитые сернокислые купания — купания на открытом воздухе на высоте 1000 футов над уровнем моря. Я провел три года в нездоровом климате, почти на экваторе. Я страдал малярией в тяжелой форме, и если желание жить вернулось ко мне, то смерть еще не выпустила моего ослабевшего тела из своих цепких рук. Здравый смысл должен был предостеречь меня от купания на открытом воздухе. Но у меня было мало здравого смысла и мало воли. А Кок был экспериментатором. Он нашел союзника в лице отельного врача — молодого энтузиаста, на которого подействовала убежденность Кока и который хотел получить свою долю славы за великое открытие, заключающееся в том, что сера — могущественное средство против малярии. Может быть, я не питал большой веры. Во всяком случае, я искупался в банфском Иордане. Я простоял в пузырьках серы столько минут, сколько потребовали Кок и его ученый поклонник. Без

посторонней помощи, но со стучащими зубами я вернулся в отель; в течение 10 минут температура поднялась до 39 градусов, я лег в постель. Мои друзья наваливали на меня одеяло за одеялом. Через час температура поднялась еще на градус. Задыхаясь, почти в бреду я требовал хинину. По совету Кока врач дал мне пять таблеток хинина и пять аспирина. Затем они оба ушли, чтобы не мешать мне спать. К счастью, они оставили лекарство на ночном столике. Я сделал знак Гарри Стефенсону, который оставался со мной, и Гарри дал мне еще по 15 таблеток хинина и аспирина. В продолжение четырех часов я метался в бреду между жизнью и смертью. Затем меня прошиб пот. Постель моя промокла насквозь, промокли матрацы, и я лежал, как в луже. Обессиленный, я переменял постельное белье и заснул.

Дальнейшее мое путешествие на родину прошло без инцидентов. Я пробыл неделю в Квебеке, прочел «Золотую собаку», поднимался на вершину Авраама и грезил теми первыми грезами империи, которые впоследствии сделали меня ревностным последователем политики лорда Бивербрука. Семена, посеянные во время моего посещения Канады, принесли плоды в 1916 году, когда я первый из англичан официально отпраздновал в России имперский день.

Единственным фиаско было само возвращение. Если голубые небеса канадской осени немного восстановили мои силы, то ливерпульские туманы вызвали новый приступ малярии; вместе с болезнью пришел новый приступ малодушия, который всегда в критические моменты отравлял мою жизнь.

Я вернулся в лоно моей семьи, которая в это время отдыхала в горах.

Мать встретила меня, как матери всегда встречают своих первенцев, то есть благодаря Бога за мое спасение и грустя о том, что не оправдались ее заветные мечты. Мой отец, хотя по отношению к самому себе и был самым суровым моралистом, всегда был сам терпимым по отношению к другим. Я не услышал от него ни слова упрека. Но я все же держу сторону моей матери, происходившей из клана Грегора, и до самой ее смерти наш семейный мирок жил по заветам моей бабушки — женщины титана, которая на своих широких плечах вынесла целую армию детей и внуков.

Она была женщиной наполеоновского склада, представительницей старой гвардии хайландцев, чьи слова были законом и чьи малейшие капризы исполнялись беспрекословно. Она управляла этим кланом с

величием души, редким в наши дни, но дело ее клана было ее делом, и горе тому провинившемуся, чей проступок доходил до ее сведения не от самого провинившегося, а через других членов семьи. Она была суровой строгой пресвитерианкой и относилась к своим богослужениям с той же суровостью, с которой она управляла своей семьей. Она была нетерпима к церковной оппозиции. Однажды старейшины той конгрегации, которой она руководила, осмелились избрать в качестве пастора неугодного ей кандидата. Решение ее было сурово. Она покинула церковь, где были погребены ее предки, и в полумиле построила на свой собственный счет новую церковь и новый дом для своего кандидата. Гнев ее кончился только со смертью пастора. Тогда ее раскаяние было так же великодушно, как мелок гнев. Ее церковь была присоединена к старой церкви и превращена в открытую библиотеку и концертный зал. Дом был куплен за счет прихода и она сама возвратила семье скамью, на которой она слушала так много проповедей. Теперь ее останки покоятся на берегу Спей, позади тех массивных гранитных скал, живым воплощением которых она была в жизни.

Она была великая женщина, но, подобно большинству пресвитериан, она преклонялась перед материальным успехом. К моменту моего возвращения она получила огромную прибыль от своих плантаций в Малайских штатах. В Эдинбурге ее окрестили королевой каучука, и эта лесть ударила ей в голову, как молодое вино. Она видела себя делающей погоду на бирже. Ее материальный успех был наградой за ее дальновидность и деловитость. Она считала обычным самым необычным ажиотажем и, не слушая предостережений своих маклеров, продолжала скупать каучуковые акции во время падения цен. В течение немногих лет ее состояние уменьшилось до размеров, несоизмеримых с расходами. Однако в этот момент звезда ее восходила. Плантаторы не славятся своими способностями, но все плантаторы нажили себе деньги на каучуковом буме. Я со всем своим образованием не сумел использовать возможностей. В ее глазах это было мерилom моей деловитости. Я был дураком.

Но это было не худшее. Вести о моих моральных прегрешениях дошли до нее еще до моего приезда. Ходили сплетни. Мой дядя обвинялся в том, что он не заботился обо мне, и если он не желал защищаться, то другие родственники в Малайских штатах взяли это на себя. Тень на лице моей бабушки при нашей встрече была тенью Амаи. Каждый день

мне давали почувствовать мое нравственное падение. Меня таскали в церковь. Если проповедь не была направлена против меня, моя бабушка истолковывала ее в этом смысле. Образ женщины в красном вызывался в каждом удобном и неудобном случае. Я был слишком слаб, чтобы ловить рыбу или охотиться. Вместо этого я катался с бабушкой на автомобиле. Каждая поездка служила поводом для лекции. Каждый эпизод моего детства был средством морального воздействия. Я должен был поднимать глаза к холмам вплоть до того, что даже мои любимые Гремпианы превратились в зачумленные места и язву самобичевания. До сих пор я ненавижу правый берег Спей, потому что в тот год бабушка жила на этом берегу.

Этот октябрь месяц, проведенный в Хайланде, уничтожил все то хорошее, что дала мне Канада, и, разбитый душой и телом, я вернулся в Южную Англию, чтобы снова обратиться к помощи врачей. Я был у двух специалистов по малярии на Гарлейстрит. Их диагнозы были неутешительны. Мое сердце было серьезно задето. Моя печень и селезенка увеличены. Мое пищеварение расстроено. Процесс выздоровления будет медленным, очень медленным. Мне нельзя возвращаться в тропики. Я не должен подниматься на горы. О спорте не может быть и речи. Даже гольф был запрещен. Мне нужно беречься, очень беречься.

Я вернулся домой к моему отцу в Беркшайр и освобожденный от моральных воздействий бабушки начал сейчас же поправляться. Несмотря на английскую зиму и частые приступы малярии я прибавил в весе. Я выбросил все лекарства, ограничиваясь ежедневно рюмкой коньяка. Через три месяца я снова играл в футбол.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мое частичное выздоровление не разрешало вопроса о моем существовании. Малярия ослабила мою силу воли и вызвала болезненное состояние. Если болезненное настроение у молодого человека до некоторой степени можно признать нормальным, то недостаток силы воли представляет более серьезную опасность и нелегко поддается излечению. Я не питал никаких честолюбивых замыслов. В своих смутных планах я хотел быть писателем. В доме отца мне была отведена отдельная комната, и в ней я провел зиму, предаваясь сочинению очерков на сюжеты из жизни на Востоке и

рассказов, полных мрачных картин с трагическим концом. Я завязал переписку с разными литературными посредниками. Спустя месяцев шесть мне удалось поместить в печати один рассказ и две статьи. Мой гонорар не покрывал моих почтовых издержек.

И вот в одно майское утро меня позвал отец. Это не был запугивающий приказ. Слова его не выражали упрека. Он говорил со мной, как, надеюсь, и я буду говорить со своим сыном, когда придет его черед, скорее, внушая, чем приказывая и старательно щадя мои чувства, заботясь только о моем благополучии, хотя бы это было связано с большим самопожертвованием и расходами с его стороны. Он указывал, на что уже многие указывали раньше, что литература только добрый костыль и не может заменить пары ног, что я, по-видимому, не преуспевал в ней, а упроченное положение – ключ к счастливой жизни. В 23 года было поздно выступать соискателем на экзаменах на большинство казенных мест. Но существовала еще консульская служба. Эта область благодаря моему знанию языков сулила мне все выгоды и могла бы удовлетворить мои литературные замыслы. Разве Брет Гарт и Оливер Вендель Холмс не состояли на американской консульской службе?

Медленной и размеренной манерой отец описывал мне привлекательные стороны жизни, о которой он сам не имел никакого представления. Затем подобно доброй фее он извлек ящичек с сюрпризом, письмо от Джона Морлея, в котором тот сообщал, что похлопочет о зачислении меня в число кандидатов на ближайшую экзаменационную сессию. В прошлом мой дед, стойкий консерватор и один из ранних борцов за утверждение Британской империи, выступал против Морлея на выборах в Арбресе, и таков уж спортивный дух английской политической жизни, что двадцать лет спустя великий человек дал себе труд позаботиться о внуке потерпевшего поражение на выборах противника.

Это новое проявление отцовской доброты сломало мое сопротивление. Без сомнения, его манера обращения с непокорным и потворствующим своим прихотям отпрыском была слишком мягкой. Если с точки зрения материальных выгод моя жизнь сложилась неудачно, то мой отец мог себя утешать тем, что в стаде из шести овец я оказался единственной паршивой и что для всех нас он остался не

только мудрым советником, но другом и товарищем, от которого не было надобности скрывать даже самых постыдных тайн.

Прочитав письмо Морлея, я оглянулся в зеркало своей протекшей жизни и то, что увидел, не дало мне удовлетворения. Для своих родителей я представлял убыточное помещение капитала. До сих пор я не приносил дохода. Теперь пора было начать. К безграничному удовлетворению отца, я милостиво согласился дать членам гражданской правительственной комиссии труд проверить мои экзаменационные работы.

Но до моего вступления за ограду Берлингтон-хауза предстояло выполнить некоторые формальности. Почти сразу пришлось мне предстать на осмотр комиссии инквизиторов Министерства иностранных дел. Надев свой самый темный костюм, я отправился в Лондон, добрался до Даунинг-стрит, и был отведен в длинную комнату в первом этаже здания Министерства иностранных дел, где от 40 до 50 кандидатов дожидались своей очереди, каждый по-своему выражая своё волнение. Процедура была простая, но утомительная. В конце комнаты находилась широкая дверь, у которой стоял курьер Министерства иностранных дел. С интервалами в десять минут дверь открывалась, и безупречно одетый молодой человек с листком бумаги в руке шептал что-то курьеру, и тот, прочищая голос, громоподобно возвещал собравшимся овечкам имя очередной жертвы.

По мере того как подходила моя очередь, комната почти опустела и мои нервы заговорили. Я мучился, предполагая, что произошла какая-нибудь ошибка и меня забыли. Я старался подыскать какое-нибудь глупое объяснение. Только страх, что моя обувь может заскрипеть, помешал мне подойти к курьеру на цыпочках, чтобы изложить свои сомнения. И вот, когда я уже потерял всякую надежду, одетый в сюртук курьер возвысил свой голос и под потолком отдалось: «Мистер Брюс Локхарт». С краской на лице и влажными руками я переступил порог своей судьбы и вошел во внутренность храма. Из головы все вылетело. Мои тщательно зазубренные ответы были забыты.

К счастью, инквизиционное испытание оказалось менее страшным, чем ожидалось. В узкой продольной комнате за длинным столом восседали шесть старших чиновников. На время я задержался перед ними, как премированный бычок на выставке скота под испытующими взорами шести пар глаз в очках и моноклях. Затем меня попросили

занять место на другом конце стола. Снова наступила пауза, во время которой инквизиторы рылись в бумагах. Они извлекли мою биографию, которую всякий кандидат как опросный лист страховой компании должен представить до явки на экзамен. Затем с учтивостью Стэнли, обращаясь к Ливингстону, председатель улыбнулся мне приветливо и сказал: «Мистер Локкарт, полагаю», и, прежде чем я опомнился, меня стали расспрашивать о моих опытах с каучуковыми плантациями. Я представляю себе, что большинство инквизиторов были лично заинтересованы в операциях с каучуком. Во всяком случае, я подвергся быстрому перекрестному допросу относительно ценности различных акций. Так как мои познания в этой области были больше, чем у моих экзаменаторов, я бойко и авторитетно стал объяснять, какие опасности и возможности сулит малайский эльдорадо. Надеюсь, что они вняли моему совету. Он был внушен с осторожностью, опирающейся на опыт моих слишком оптимистически настроенных родственников.

И вот, когда я уже совсем пришел в себя, неожиданный удар поверг меня на землю. До сих пор я разыгрывал роль учителя перед кучкой внимательных, восхищенных школьников. Теперь роли вдруг переменились. Среди приятного и к общему удовлетворению протекавшего разговора, словно по тихой долине, подул ледяной ветер, исходивший от маленького коренастого человека с морщинистым лбом и серожелезного цвета усами:

— Вы не можете сказать, мистер Локкарт, почему вы покинули этот земной рай?

Мои колени задрожали. Неужели всеведущее Министерство иностранных дел раскрыло тайну приключения с Амаи? В моих свидетельствах этому инциденту было дано благовидное толкование. В биографии своей я об этом умолчал. Говоривший был лорд Тиррель, тогда еще просто мистер Тиррель, и я инстинктом, редко меня обманывавшим, почуял в нем возможного врага. С усилием я собрался с мыслями.

— У меня была малярия в сильнейшей форме, — ответил я и затем слабо добавил: — Но я опять играю в регби. Это добавление оказалось удачным. Спортсмен с моноклем и худощавой фигурой атлета пришел мне на выручку.

— Вы не родственник кембриджского регбиста и крикетиста? — спросил он.

Мой брат, дважды интернациональный игрок по крикету и регби, находился тогда на вершине своей славы атлета.

— Он мой младший брат, — ответил я просто. Этими словами я открыл себе путь и получил официальное благословение.

Все это было хорошо. Оставалось однако более серьезное препятствие - письменный экзамен. Чем более взвешивал я свои шансы, тем менее оставался доволен. В этом году было только четыре вакансии. Число зарегистрированных кандидатов перешло за шестьдесят. Почти все они готовились к экзаменам в течение ряда лет. Некоторые были в числе первых двадцати, выдержавших в прошлом году. До полдюжины получили первоклассные свидетельства в Оксфорде и Кембридже. Я же не занимался никакой учебой целых три года. Оставалось только десять недель для подготовки к экзаменам, которые были трудны не только благодаря конкуренции, но включали в число обязательных предметов право и экономику. По праву я не читал ни строчки. Политическая экономия для меня была тайной и сокровенной наукой. Поистине, перспективы вряд ли стоили затраты усилий.

Мой отец, однако, был рьяный оптимист. Я перебрался в Лондон и поступил на лучшие по тому времени курсы по натаскиванию к экзаменам. Знакомство с ними повергло меня в еще большее уныние. Целую неделю я посещал лекции с твердым терпением и аккуратностью. Другие кандидаты заканчивали подготовку, когда я только приступал, а лекции по политической экономии и праву, без сомнения, превосходно излагаемые, но рассчитанные явно на подготовленных слушателей, были для меня просто тратой времени.

Отчаяние заставило меня действовать, и я принял быстрое решение. Я написал своему отцу и объяснил, что должен оставить курсы, предлагая испробовать другие средства и нанять частных репетиторов по праву и политической экономии. Отец согласился на дополнительные расходы. Так как за меня плата была внесена вперед, заправила курсов не возражали.

Мой репетитор по праву был прирожденным учителем. Репетитор по политической экономии был немецкий гений, который преждевременно состарился от нюхательного табака и виски. Мы

потрошили вместе Маршала и Никольсона, и, так как мы проходили курс на немецком языке, я одним выстрелом убивал сразу двух зайцев.

Мой план кампании предусматривал три часа ежедневных занятий с моими репетиторами, остальная работа шла по моему усмотрению. Однако тут бывали отвлекающие моменты. В Лондон приехал развлечься мой дядя, наживший десятилетним упорным трудом состояние. Он влюбился в восхитительную уроженку Южной Америки, выезжавшую в свет с пожилым спутником. Он подыскивал подходящего человека, чтобы отвлекать внимание этой спутницы, и самым подходящим оказался я. Он заставил меня бросить мою скромную квартиру на Бэйсуотер и перетащил к себе в отель. Каждый вечер мы обедали вчетвером, шли в театр, а затем ужинали в ресторане. Это вряд ли было хорошей подготовкой для плохо подготовленного кандидата, но мой дядя со своим крайним эгоизмом, характерным для большинства удачных дельцов, не подозревал о том, какой вред причиняет он мне. Наоборот, он каждое утро гонял меня к моим репетиторам и повторял, что, если я провалюсь, он лишит наследства. Я смеялся и продолжал пить его шампанское. Впоследствии он дважды женился, и шансы мои на наследство потерпели крушение отчасти из-за моего легкомыслия, но главным образом благодаря появлению на свет четырех цветущих кузенов, которые по своим годам могли бы быть моими детьми. В промежуточные годы он тысячекратно вознаградил меня за мое усердие, и если бы не мое беспечное мотовство, общая сумма его щедрот давала бы мне пятьсот фунтов стерлингов дохода в год.

Пока я в таком духе подготавливался, наступила первая роковая неделя августа, когда экзаменующие чиновники, отличающиеся странным образом недостатком сообразительности, раскрывают двери Берлингтон-хауза перед молодыми людьми, надеждой нации. Я даю подробное объяснение всей процедуры для пользы тех педагогов, которые признают никчемность всяких экзаменов. На примере со мной они найдут подтверждение своим теориям.

Когда в понедельник утром я занял свое место в хвосте вспотевших кандидатов, мои шансы на успех были настолько слабы, что я лично не беспокоился. Невыгодная сторона моей неподготовленности бросалась в глаза. Но зато, с другой стороны, у меня было два преимущества. Я больше знал свет, был более светским человеком,

чем мои конкуренты, и не располагая, как я думал, никакими шансами, я не нервничал. Может быть, у меня был еще шанс — огромная доля удачи. Лето в том году было страшно жаркое, какого в Англии не было давно, а я любил жару. В том же году в первый раз были включены в число экзаменационных предметов немецкое и французское сочинения, нововведение, ускользнувшее от бдительности репетиторов, заставившее кандидатов полагаться только на свои слабые ресурсы. В числе тем для французского сочинения — часть киплингского рассказа «Восток есть Восток, а Запад остается Западом». Я ухватился за нее, собрав весь свой малайский, опыт, и излагая целые страницы из Лоти, которого знал наизусть. Я рад был такому экзамену, чувствуя себя совсем легко перед новой авантюрой. Затруднение у меня вызвал лист с вопросами по политической экономии. Их было десять, из коих достаточно было ответить на шесть. К несчастью, мои познания ограничивались только четырьмя. Я исписал целые страницы по поводу одного из вопросов, который я знал менее других, нацарапал короткие, необязывающие ответы на три остальных и затем добавил вежливое замечание о том, что два часа слишком короткое время для выполнения задания подобного содержания.

В четверг вечером, закончив свои письменные испытания, я простился со своими репетиторами, которые занимались со мной все ночи во время экзаменов. Расставаясь, мой ментор-немец протянул мне запечатанный конверт.

— Вскройте его в день объявления результатов испытаний, — сказал он. — В конверт вложено мое предсказание относительно счастливых кандидатов. Я редко ошибаюсь.

Едва он ушел, я вскрыл конверт. Он поместил меня на четвертом месте. Чтобы отпраздновать шутку, которую поистине можно было назвать «колоссаль», я отправился пообедать в Карлтон-клуб, а затем в театр.

Оставался только устный экзамен, назначенный на следующий день, и я считал себя вправе немного развлечься. Однако устный экзамен едва меня не погубил. Экзамен по немецкому языку происходил в десять часов утра. Я не знаю, приходится ли винить мое последнее ночное времяпрепровождение, но экзаменатор сбил меня с толку. Он был чересчур вкрадчив и мил. Не успел я опомниться, как он втянул меня в разговор о Малайе. От этой исходной точки он перешел к вопросам

(себе в назидание) о различных способах добывания сока каучуконосных деревьев. Даже по-английски это слишком техническая и трудная тема для обыкновенного разговора. На иностранном языке она была просто невозможна, и, хотя мои познания по-немецки были солидны, я чувствовал, что по немецкому языку провалился. Я вышел из комнаты, ругая себя за свою бестолковость, и решил не попадаться больше подобным образом. Когда я вышел наружу, я впал в сомнения. Мой французский экзамен — завершение недельной пытки — должен был начаться не ранее пяти часов дня. Все мои друзья отправились в Шотландию или на континент. Как мне было заполнить долгий перерыв между одиннадцатью и пятью часами? Я поколебался, а затем смело перешел улицу. Напротив Берлингтон-хауза находился «Бристоль-бар», излюбленное местопребывание иностранок, съехавшихся в Лондон в довоенное время. Подкрепившись для храбрости хересом и горькой, я свел знакомство с двумя зрелыми, но весьма бойкими землячками мадам Помпадур. Я их угостил завтраком, вином и был компенсирован французской беседой. На час я пошел пройтись по Грин-парку и вернулся в три тридцать, чтобы еще выпить и поговорить по-французски. В четыре с четвертью я уже весьма бегло говорил, и произношение мое стало почти безупречным. Без пяти минут пять я пересек улицу и пошел на французский экзамен.

Снова, как арестант под стражей, я ожидал в длинном коридоре, пока откроется экзаменационная камера. На сей раз, однако, всякие признаки нервности исчезли, и я вступил в комнату с храбростью испытанного ветерана. Профессор в пенсне с кротким выражением лица, с отвислыми усами, взглянул на меня и сложил концы пальцев вместе.

— Можете вы мне сказать, как называется французский дредноут, спущенный недавно в Бресте? — спросил он.

Я отрицательно покачал головой и улыбнулся.

— Нет, сэр, — сказал я отчетливо, я не знаю и не беспокоюсь о том. В моем распоряжении только полчаса времени, чтобы доказать вам, что знаю французский язык не хуже вас. Поговорим о другом.

Тут я сделал удачный ход. Он говорил с легким английским акцентом, и, прежде чем он успел прервать меня, я разбил его защиту.

— Вы профессор С, — сказал я. — На прошлой неделе я видел вашу книгу «О фонетике».

Своей выходкой я нарушил тайну анонимности, под которой якобы выступают все экзаменаторы гражданского ведомства. Профессор быстро остановил меня, не подтверждая и не отрицая моих слов. Дело было сделано. Разговор перешел на фонетику, в которой я был знаток, а он только новичок, и с этого момента я был спасен. Прошел давно установленный срок, а профессор все еще продолжал разговор. Я задел его конек и, когда наконец я расстался с ним, я знал, что, хотя по-немецки у меня вышло плохо, зато французское устное испытание я сдал блестяще.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В тот же вечер я отправился в Шотландию в горы и провел там великолепно следующие четыре недели, удя рыбу в Спей и охотясь на тетеревов в имении моей бабушки. По мере приближения сентября я стал испытывать муки беспокойства. Я подготовил моих родителей к тому что им придется разочароваться. В своем пессимистическом состоянии я не делал никаких попыток избавить их от беспокойства за мое будущее. Особенно моя бабушка продолжала смотреть на меня, как на козла отпущения, который не имел никакого права на все хорошее в жизни. Если я наливал второй стакан портвейна за к обедом, я был уверен, что встречу на себе ее упрекающий взор. Меня окружала атмосфера явного неодобрения, и, примирившись с неизбежностью возвращения на каучуковые плантации Востока, я стремился извлечь сколько мог удовольствий из этой последней представляющейся возможности легко пожить. С таким настроением принимает осужденный сытный завтрак перед казнью.

2 сентября, в тот благословенный день, когда я появился на свет, я отправился в соседний город сыграть партию в гольф. Не успел я расположиться на третьем поле, как меня встревожил дикий крик. Я отвлекся от мяча и увидел двух своих младших братьев, кативших на велосипедах наперерез по склону нашей горной дороги. Норман, который впоследствии погиб славной смертью под Лоосом, исчез в канаве. Переднее колесо его велосипеда погнулось, но его лицо сияло от возбуждения. Ликуя, он потрясал в воздухе какой-то бумагой.

— Ты выдержал, — крикнул он запыхавшись, — ты первый.

Я взял бумагу из его рук. Это была правда. В ней черным по белому стояло: Первый — Р. Г. Брюс Локкарт. Я занялся изучением листа с отметками. Я был первым на семнадцать баллов. У первых четырех кандидатов было пятьдесят баллов. У меня вышло плохо по немецкому языку, который я знал лучше всех предметов. Одну отметку я получил по математике. По праву я был на втором месте и на первом — по политической экономии. По французскому языку я получил на тридцать пять баллов больше, чем другие кандидаты. Я получил девяносто девять баллов из ста по французскому устному экзамену. Это сделали помпадурши. Я не знаю, живы ли они еще. Я никогда не узнал, как их звали. Но за тот ущерб, который я причинил могуществу, величию и владениям Британской империи своими действиями в качестве должностного лица, они, и только они, должны нести полную ответственность.

Я бросил свою игру и вернулся домой, чтобы объявить новость родителям. Они недавно отпраздновали свою серебряную свадьбу, и большинство моих многочисленных родственников находилось в сборе по соседству. Мы устроили поистине великолепную встречу. Никогда ни до того, ни после я не чувствовал себя столь добродетельным. Конверт без марок с надписью: «Служба его величества» произвел молниеносно метаморфозу в моей жизни, и к вечеру я из разряда ни на что негодных людей перешел в Валгаллу героев. Моя бабушка прижала меня к своей пышной груди и с непогрешимостью истинно великих людей заявила, что она всегда верила в мой успех. Она послала за своей сумочкой, за очками, и затем выписала мне чек на сотню фунтов. Ее пример оказался заразительным, и я получил в тот день до двухсот фунтов в подарок. Несколько дней спустя, не тронув этих денег, я отправился в Лондон, чтобы приступить к своим официальным обязанностям в Министерстве иностранных дел.

В тот год Министерство иностранных дел существенно отличалось от теперешнего министерства. Оно соединяло тогда простор с изяществом, служба в нем шла легко. Теперь это кроличий садок, набитый машинистками в очках и серьезными весьма дурно одетыми молодыми людьми. В 1911 году в нем еще находились престарелые джентльмены, писавшие из-за причуды гусиными перьями. Известный стандарт почерка и тщательное соблюдение полей требовались еще от молодых чиновников. В остальных отношениях это было спокойное, не

лишенное приятности времяпрепровождение, подкрепляемое регулярностью службы и соответствующим перерывом на завтрак. Если служебные часы были длиннее сравнения Пальмерстона о фонтанах на Трафальгарсквер, что «бьют от 10 часов утра до 4 часов дня», то это не было утомительно для тела. Да эти часы и не отдавались исключительно работе. В департаменте, куда я был назначен, процветал настольный крикет под искусным руководством Гюи Лекока, теперь председателя федерации британских промышленников.

Война и деятельность лорда Керзона уничтожили эту тихую заводь в стремительном потоке жизни. Коридоры, где играли в футбол, теперь уставлены тяжелыми шкафами с архивами. Штаты удвоились. Бумаги развелось столько, что сознательный служащий должен работать до поздней ночи, чтобы выполнить дневное задание. В Министерстве иностранных дел теперь работают дольше, чем в большинстве торговых фирм. Оно стало действенным и более демократичным.

В мое время оно обладало высокоразвитым чувством сознания собственного превосходства. Это было убежище мандаринов, державшихся надменно и обособленно от более плебейских министерств Уайтхолла. Допускалось до некоторой степени равенство с Министерством финансов. В конечном итоге даже посольские оклады находились под контролем Министерства финансов. Мы по справедливости славимся своим практическим смыслом. Нет англичанина, который не положил бы в карман свою социальную спесь, если это пойдет на пользу его карману. Министерство торговли, с другой стороны, рассматривалось подобно стрелковому тирису в публичной школе, как прибежище для бездельников.

На младших вице-консулов, главная обязанность которых заключалась в содействии укреплению британской торговли за границей, смотрели как на ненужных пришельцев. В отношении социального положения они как бы пребывали в чистилище между раем первого отделения и адом второго.

В то время процедура в отношении младших вице-консулов была такая. До занятия заграничного поста требовалось пробыть три месяца в консульском и коммерческом департаментах Министерства иностранных дел. Если не считать, что пребывание здесь дало мне возможность познакомиться со многими служащими министерства, то

это была просто трата времени. Ввиду такого казенного отношения к торговой деятельности, эти департаменты были самыми бездеятельными в министерстве. Старшие чиновники, работавшие в них, были люди, потерявшие всякое честолюбие и оставившие надежду на дальнейшее повышение. Это была последняя ступень к почетной отставке и пенсии.

В качестве первого в новом списке вице-консулов я был назначен отбывать свой стаж в консульский департамент. Моим шефом был лорд Дюферин, добрый и благородный человек, который выкуривал бесчисленное количество папирос и казался больным на вид, будучи таковым в действительности. От своих подчиненных он требовал хороших манер и исполнительности. Единственная его страсть была — красные чернила. Мои первые две недели пребывания в министерстве были сущим несчастьем, сравнимым только с первыми двумя неделями пребывания в школе. Никто со мной не заговаривал. Я ежедневно являлся в 11 часов утра в туго накрахмаленном воротничке, в установленной короткой черной визитке и в полосатых брюках. Я регистрировал письма, поступавшие в небольших количествах от пострадавших английских подданных за границей. Случалось, я набрасывал черновики требований об уплате сумм, выданных авансом британскими консулами потерпевшим кораблекрушение морякам. Однажды я испытал маленькое волнение. Поступило письмо, адресованное Его Величеству, начинавшееся словами: «Мой дорогой король». Оно исходило от молодой девушки-англичанки 17 лет, поступившей на службу к одному русскому помещику в Поволжье. От железнодорожной станции она находилась далеко, и хозяин весьма грубо и неприлично приставал к ней. Этот патетический крик из дикой страны, донесшийся до меня, заставил мое горло сжаться от волнения и негодования. Я написал решительную записку, одобренную с похвальной поспешностью. Телеграф заработал. Требовалось вмешательство посла Его Величества, и через тридцать шесть часов маленькая леди была освобождена и отправлена на свою родину — в Ирландию. Впервые я ощутил биение пульса Империи. Я отведал власти и почувствовал себя должным образом в гордо приподнятом настроении.

В общем, однако, здесь было мало работы, и я пребывал в строгом одиночестве. Каждый день я завтракал в ресторане — я не мог завтракать вместе с Кэем, своим коллегой по департаменту, так как у

нас перерывы на завтрак не совпадали. Случалось, в коридорах я проходил мимо молчаливо великих и великомолчаливых фигур, принадлежавших к составу министерской иерархии. Украдкой я изучал их походку, их манеры, длинную гребущую походку сэра Эдуарда Грея, автоматически энергичную сэра Эр Кроу, грациозно элегантную сэра Малькольма и тяжеловесную поступь сэра Виктора Уэлслея. Это были смутные, внушающие страх тени в моем существовании, внушавшие правильное представление о моей собственной незначительности.

По мере того как я ближе знакомился с Гюи Лекоком, мое положение становилось легче. Мы вместе завтракали. Наряду с сэром Джорджем Бьюкененом и Гарольдом Никольсоном он был одним из немногих уроженцев Веллингтона в Министерстве иностранных дел. Когда мои братья выступали от Мальборса, я взял его посмотреть матч в регби между Веллингтоном и Мальборсом. Мы вместе играли в гольф. Я был допущен к игре в настольный крикет и стал мастером в этой области. От него я услышал исторические анекдоты, ходившие по министерству о лорде Берти и других столпах минувших дней. В оплату, уступая своей склонности к откровенности, я рассказал ему историю своей жизни. Наша дружба росла столь быстро, что через несколько недель я был в состоянии заставить его слушать восточные очерки, написанные мною и отвергнутые английскими издателями. Нет сомнения, что он это занятие нашел более забавным, чем писание консульских записок.

Такое литературное времяпрепровождение, притом, разумеется, в рабочее время, привело к странному обороту моей судьбе. При обычных условиях меня по окончании шестинедельного стажа в консульском департаменте должны были перевести в коммерческий департамент, где мне пришлось бы находиться под опекой сэра Ольджернона Лоу, строгого формалиста, которого боялась вся молодежь. Тут как раз в нашем департаменте произошла перемена. Лорд Дюферин захворал, и его временно заменял Дон Грегори, бывший тогда младшим помощником. В это время случился агадирский инцидент, политическим департаментам пришлось работать усиленно, и наш штат убавили, чтобы помочь там. Однажды к концу дня, когда я читал вслух особенно трогательную историю о католическом миссионере на Востоке Гай Лекоку, вошел Дон Грегори. Слово «католик» привлекло его внимание

— Что такое? — спросил он своей обычной озабоченной манерой.

Гай объяснил.

— У нас в министерстве находится литературный талант, — сказал он.

— Он нам читает рассказ о католическом миссионере.

Грегори взял мою рукопись. На следующий день он пригласил меня к обеду. Я познакомился с миссис Грегори, и она мне понравилась. Я рассказывал ей о своей жизни на Востоке и дал ей еще рукописей для чтения. Я подарил ей два японских портрета, купленных в Японии, по поводу которых я написал сентиментальный рассказ. Через несколько дней я опять получил приглашение на обед. В моем положении в департаменте произошла перемена. Грегори стал мне давать больше работы. Скоро я заделался его частным секретарем. Однажды он позвал меня.

— Нам не хватает работников, — сказал он. — Вы ничего не выиграете, перейдя в коммерческий департамент или уехав скорей за границу. Я устрою, чтобы вы остались на некоторое время здесь помочь нам. Когда придет время ехать вам за границу, я позабочусь, чтобы вы от этого ничего не потеряли при выборе вашего будущего поста.

Разумеется, я согласился. Я тогда еще принадлежал к епископальной церкви, хотя уже питал сильные симпатии к католицизму. Однако этого было достаточно. Отзывчивый добросердечный Дон Грегори любил католиков и, что еще важнее, он, видимо, любил меня, и я ему обязан до конца своей жизни. В качестве заведующего департаментом он не имел себе равных, и от него я научился многому, что пошло мне на пользу в будущем. Он посвятил меня в официальную жизнь за границей. Он мне много говорил о Румынии, где занимал пост, и о Польше, судьбами которой сильно интересовался. Он усиленно развивал во мне интерес к России, которую я тогда считал самым беспокойным местом в Европе. И вот однажды вечером перед Рождеством он позвал меня в свой кабинет и показал мне депешу. В ней наш посол в С-Петербурге сообщал, что русское правительство изъявило согласие на мое назначение в качестве вице-консула в Москву.

— Через две недели вы отправитесь, — сказал он с улыбкой.

Москва. Перед глазами моими промелькнула Россия в описании Сэтона Мерримена — единственное, что я о ней знал. Приключения, опасности, романы представлялись в моем уме. Но одна мысль

доминировала: Москва находилась в Европе. Я только на три дня пути был отдален от родины. Шесть недель назад, если бы не мои неудачные восточные рассказы, тысячи шансов против одного, что меня подобно другим новым вице-консулам услали бы в Колон или Панаму, или в лучшем случае в Чикаго, или Питсбург. Я рассыпался в благодарностях и в тот же вечер поехал сообщить добрые новости своим родителям и готовиться к отъезду.

Тут случилось еще одно приключение перед отъездом. Мои родители по случаю моего отъезда устроили вечер, на который собрались все мои, вернее их, друзья из округи. Одна семья, явившаяся в полном составе, привезла с собой молодую красивую девушку-австралийку, которой я прежде никогда не видал. Я сразу был побежден. В моем распоряжении было только две недели для сватовства. Через десять дней мы были помолвлены. В самом начале нового года я уехал в Россию, а она вернулась в Австралию. Мы повенчались в следующем году, во время моего первого отпуска.

Книга II. БЛЕСК МОСКВЫ

*«ЛЮДИ ПРОХОДЯТ. У кого-то есть глаза. Кто-то видит их»
С французского.*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мое прибытие в Москву совпало с приездом британской парламентской делегации, которая по приглашению русского правительства прибыла в С-Петербург и Москву в январе того же 1912 года. Это была импозантная группа со спикером Палаты общин во главе. Лорд Эмтхилл, лорд Дерби и лорд Уэрдел были представителями от пэров, генерал сэр Джемс Уолф Мэррей от армии, лорд Чарльз Бересфорд от флота и четыре епископа представляли церковь. Были тут и другие лица, а весь состав делегации доходил до восьмидесяти человек. В качестве переводчика прикомандирован был к ней неподражаемый и незаменимый Морис Бэринг. Пока делегация добралась до Москвы, многие из ее членов сдали в пути и вернулись домой. Петербургское гостеприимство оказалось не под силу им. Теперь оставшихся членов парламента ждали еще большие испытания

в лице радушных москвичей, испытания, которые в полной мере должен был разделить и я.

По приезде на Брестский вокзал меня встретил Монтгомери Гров, мой новый шеф. Он был в полной парадной форме и собирался ехать в балет на гала-представление в честь британских гостей. Объяснив носильщику, что делать с моим багажом, он впихнул меня в сани, повез в отель «Метрополь», сунул мне в руку пачку пригласительных карточек и, сдав меня отельному швейцару, умчался выполнять свои обязанности.

Немного ошеломленный, но полный любопытства я приступил к осмотру окружающей обстановки. Отель был набит до отказа, и отведенный мне номер находился в верхнем этаже. Большинство моих соседей были женщины, раскрашенные и пышно разодетые, которые, убедившись после исчерпывающих телефонных расспросов в моей невинности и в скромном состоянии моего кошелька, потеряли всякий интерес к новому пришельцу, во всяком случае, если бы они и заинтересовались, вице-консулы были не в состоянии соперничать с русскими купцами того времени.

Первое, что запечатлелось у меня, когда я прогуливался по залу ресторана, это запах мехов, толстые женщины и крупные упитанные мужчины; зрелище привлекательного раболепства у подчиненных и добродушного чванства со стороны посетителей; большое богатство и грубое невежество, притом невежество достаточно экзотического свойства, чтобы внушить отвращение. Я вступил в царство, где единственным богом были деньги. Однако бог рублей оказался более расточительным, в большей степени мотом и менее суровым, чем бог долларов.

Самый ресторан сверкал огнями и цветами. Длинный высокий зал со всех сторон был обведен балконом. Вдоль балкона весело освещенные окна и раскрытые двери, ведущие в отдельные кабинеты, где укрытые от любопытных взоров распущенные юнцы и развращенные старички сорили рублями и лили шампанское ради цыганских песен и любви. Я неправ по отношению к моим любимым цыганам. Их мораль была лучше, чем большинства посетителей. Свое они хранили для себя. Продажная любовь, на которую я намекаю, была австрийского, польского или еврейского происхождения.

Ресторан сам по себе представлял лабиринт маленьких столиков. Он был набит офицерами в дурно сшитой форме, русскими купцами с надушенными бородами, германскими коммивояжерами болезненной комплекции. И за каждым столом были женщины, на каждом столе шампанское, скверное шампанское по 25 шиллингов бутылка. В конце зала находилась отгороженная эстрада, где оркестр в ярко-красных костюмах играл венский вальс с таким жаром, что заглушал хлопанье пробок, стук тарелок и под конец так гремел, что не слышно было разговора. А за маленьким пюпитром виднелось мефистофельское лицо Кончика. Кончик, дирижер оркестра, Кончик, король всех ресторанных скрипачей, чех Кончик, так как по странному закону природы всякий дирижер в России — иностранец.

Когда я выпил свою первую рюмку водки и впервые отведал икры, как полагается, с теплым калачом, я понял, что нахожусь в новом мире, где первобытные черты и черты упадничества уживались рядом. Если бы передо мной явился призрак и предсказал бы, что я через семь лет буду снова находиться в этом зале, что я буду в одиночестве, оторван от всех своих друзей и окружен большевиками, что на месте, где теперь находился Кончик, Троцкий будет в моем присутствии обличать союзников, я презрительно бы рассмеялся. И, однако, в 1918 году по приглашению Троцкого я присутствовал здесь на первом заседании большевистского Центрального Исполнительного Комитета и впервые и единственный раз обменялся рукопожатием со Сталиным.

В этот момент, однако, все мое внимание было устремлено на Кончика. Шумные звуки вальса «Дунайские волны» смолкли. Из кабинета заказали «Я вам не говорю» — романс, который когда-то распевала Панина, величайшая цыганская певица. При жалобных минорных аккордах зал замер, а Кончик с глазами, почти затерявшимися на его полном лице, заставлял петь и рыдать свою скрипку, заключительные звуки ее были шепотом отчаяния и неудовлетворенной любви.

Бедный Кончик. Последний раз я видел его четыре года тому назад в Праге. Он играл в маленьком ресторане, посещаемом бездушными дипломатами и шумной чешской буржуазией. Его сбережения унесла революция. Последним его достоянием была его скрипка. Упоминание о России вызвало слезы на его глазах.

В первую ночь свою в Москве, хотя я был сам себе хозяин, я принял похвальное решение (что делаю, увы, тщетно, при всякой перемене

обстановки) и, правда, с естественной неохотой отправился спать в 11 часов. Москва мне очень понравилась. Чистый сверкающий снег, сухой треск мороза, звон колокольчиков и странная тишина покрытых снегом улиц заставляли биться мой пульс. Музыка Кончика дала мне новое ощущение, скрывая от меня отвратительные стороны моей новой жизни, которая подвергла мое здоровье и характер испытаниям. Чтобы быть строго правдивым, мой ранний уход из ресторана был вызван не всецело вновь приобретенным чувством долга. Не располагая никакими познаниями о России, я считал, что плотное одеяние будет необходимо для защиты от холода. Я поэтому надел толстое шерстяное белье. Так как зимой обычная температура в русской комнате приближается к температуре турецкой бани, я невыносимо страдал. После этого первого вечера я снял себя эту помеху и никогда больше к ней не прибежал.

Следующие три дня я провел в сутолоке развлечений. Я даже не заглянул в консульство. Вместо этого я следовал скромно по пятам делегации, завтракая то с одними то с другими представителями, посещал монастыри и бега, присутствовал на парадных спектаклях в театрах пожимая руки длиннородым генералам и обмениваясь напыщенными комплиментами по-французски с женами московских купцов.

На третий день к этой веренице празднеств присоединился грандиозный обед, устроенный богачами Харитоненко, сахарными королями Москвы. Я опишу его подробнее, потому что он дает занятную картину довоенной Москвы, картину, которая больше не повторится.

Дом Харитоненко был огромный дворец, расположенный на другом берегу реки, как раз напротив Кремля.

Для встречи с британской делегацией были приглашены все власти, вся знать, все московские миллионеры, и, когда я прибыл, было тесно, словно на лестницах театра в очереди. Весь дом был сказочно убран цветами, доставленными из Ниццы. Казалось, что оркестры играли во всех передних.

Когда наконец я поднялся наверх, я затерялся в толпе людей, из коих не знал ни одного. Я сомневаюсь даже, поздоровался ли я с хозяином и хозяйкой. На длинных узких столах были расставлены водка и самые восхитительные закуски, горячие и холодные, которые подавались

десятками служителей стоявшим гостям. Я выпил рюмку водки и отведал несколько незнакомых блюд. Они были превосходны. Один говоривший по-английски русский сжалился над моим одиночеством, и я еще выпил и закусил. Давно уже прошел назначенный для обеда час, но никто, кажется, не беспокоился, и меня поразило то, что, может быть, в этой своеобразной стране обедают стоя. Я снова выпил водки и съел вторую порцию оленьего языка. Затем, когда мой аппетит был утолен, вдоль столов прошел лакей и вручил мне карточку с обозначением моего места за столом. Немного минут спустя огромная процессия потянулась в столовую. Я не хочу преувеличивать. Скажу по совести, я не в состоянии припомнить числа блюд или разнообразных сортов вин, подававшихся к ним. Но обед затянулся до одиннадцати часов и обременил бы желудок гиганта. Моими непосредственными соседями были мисс Мекк, дочь железнодорожного магната, и флага-лейтенант Каховский, русский морской офицер, прикомандированный к лорду Чарльзу Бересфорду.

Мисс фон Мекк превосходно говорила по-английски, и под действием безыскусственной живой теплоты ее речи моя робость скоро растаяла. Не прошло и половины обеда, а она дала уже молниеносный обзор англо-русских отношений, суммарное изложение особенностей английского и русского характера, общую характеристику всех находившихся в зале и детальный отчет о всех ее личных желаниях и стремлениях как осуществившихся, так и невыполненных.

Каховский казался расстроенным и не в своей тарелке. Во время обеда его вызвали из комнаты, и он более не возвращался. На следующий день я узнал, что он подошел к телефону переговорить со своей любовницей, женой одного русского губернатора, проживавшей в С-Петербурге. Отношения их с некоторого времени испортились, и она с драматическим инстинктом выбрала момент, чтобы сказать ему, что между ними все кончено. Каховский тогда извлек револьвер и, держа еще телефонную трубку в руке, всадил себе пулю в лоб. Это было весьма печально, совсем по-русски. Событие произвело очень тяжелое впечатление на лорда Чарльза Бересфорда и подало немного опасный пример молодому и необыкновенно впечатлительному вице-консулу.

Обед дотянули до конца, и мы снова поднялись наверх в другой обширный зал, где была устроена сцена. Здесь более часа Гельцер, Мордкин и Балашова восхищали нас балетным дивертисментом, а

Сибор, первый скрипач оркестра Большого театра, играл нам ноктюрны Шопена.

Во что должен был обойтись такой вечер, мне неизвестно. Для меня он закончился только к утру. После музыкального дивертисмента мы танцевали. Для меня это был эксперимент не из удачных, и странно, что русские тогда были плохие бальные танцоры. Крепко ухватившись за дружески расположенную мисс фон Мекк, я нанес еще раз визит в столовую, где шел непрерывный ужин. Здесь я застал сына хозяина дома, толстощекого молодого человека, которому не было и двадцати лет, но который уже в этом возрасте выказывал признаки ожирения — доказательство привольной жизни. С краской на лице он сообщил нам, что, как только гости разъедутся, мы отправимся послушать цыган. Мы устроили маленький заговор, собрали еще до полдюжины родственно настроенных душ и в четыре часа утра на тройках, частных тройках, запряженных великолепные арабскими лошадьми, пустились в длинный путь к Стрельне, царству Марии Николаевны.

Я представляю себе еще и сейчас эти тройки, стоящие перед домом: меховые полости кучеров, головы которых кажутся маленькими в меховых шапках, выступающих и огромных складок шуб, подобных костюму Гаргантюа; красивых лошадей, кусающих удила, под нами покрытая льдом река, сверкающая, словно серебряная нить при луне. Прямо перед нами призрачные кремлевские башни словно белые часовые, охраняющие звездный ночной стан.

Мы заняли свои места, по двое в каждом санях. Кучера гикнули на лошадей, и мы тронулись. Шесть добрых километров мы пронеслись с бешеной скоростью по пустынным улицам, по Тверской, мимо Брестского вокзала, мимо известного ресторана «Яр», прямо в Петровский парк. Мороз щипал щеки, у кучеров на бородах выросли сосульки, и мы наконец остановились перед маленьким стеклянным зданием, носившим название «Стрельна».

Как во сне, я с остальной компанией прошел по пальмовому дворику, представляющему главную часть здания, в обширный кабинет с деревянными сосновыми стенами, где в открытой печи потрескивал огонек. Владелец ресторана, потирая руки, поклонился. Главный распорядитель поклонился, не потирая рук. Вереница служителей в белых фартуках поклонилась еще ниже и двинулась молчаливо исполнять свои разнообразные обязанности. В несколько секунд

комнаты были подготовлены для великого ритуала. Мы, посетители, уселись за большим столом поближе к огню. Впереди нас было открытое пространство, а позади полукругом были расставлены кресла для цыган. Лакей подал шампанское, и тогда явилась Мария Николаевна в сопровождении восьми цыган — четырех мужчин с гитарами и четырех девиц, гибких и стройных. Как мужчины, так и женщины были в традиционных цыганских костюмах, мужчины в белых шелковых русских рубашках и цветных брюках, девицы в цветных шелковых платьях и с красными шелковыми платками на головах.

Когда я впервые в эту ночь увидел Марию Николаевну, она была уже толстая, грузная женщина лет сорока. Ее лицо было в морщинах, а в широких серых глазах была задумчивая печаль. В состоянии покоя она казалась старой одинокой женщиной, но стоило ей заговорить, как морщины на лице разглаживались в улыбку, и можно было догадываться об огромном запасе энергии, которым она обладала. Циник, пожалуй, скажет, что жизненной ее задачей было привлекать глупых, преимущественно богатых молодых людей, петь перед ними и заставлять их выпивать целые моря шампанского, пока их богатство или богатство их отцов не перейдет в ее карман. Здравый смысл, может, окажется на стороне циника, но ничего циничного в отношении к жизни у Марии Николаевны не было. Она была актрисой, в своем роде великой, вознаграждавшей полностью за те деньги, что получала, а доброта ее и щедрость по отношению к тем, кто были ее друзьями, исходили прямо от сердца.

В ту ночь я первый раз слышал ее пение, и память о густых низких нотах, составлявших секрет лучших цыганских певиц, будет жить у меня до смерти. В эту ночь я выпил первую свою «чарочку» в ответ на ее пение. Для новичка это весьма тяжелое испытание. Большой бокал из-под шампанского наполняется до краев. Цыганка ставит его на блюдо и, обратившись лицом к гостю, который должен будет выпить «чарочку», поет следующий куплет:

Как цветок душистый
Аромат разносит,
Так бокал пенистый
Тост заздравный просит.

Выпьем мы за Рому,
Рому дорогого,
А пока не выпьем,
Не нальем другого.

Последние четыре строчки с усиливающимся темпераментом поет весь хор. Певица тогда подходит к гостю, которого она чествует, и протягивает ему блюдо. Он берет стакан, низко кланяется, выпрямляется, затем единым духом выпивает бокал и ставит его на блюдо вверх дном, чтобы показать, что не оставил ни капли.

Это интимный ритуал. Берется только христианское имя гостя, а так как у русских нет имени Роберт, Мария Николаевна окрестила меня Романом, его русским эквивалентом. Романом или Ромочкой я остался навсегда для своих русских друзей.

Искусство Марии Николаевны, однако, как я обнаружил, уже тогда относилось к более высокому уровню, чем простое пение одних застольных песен. Когда она пела соло своим голосом, то страстным, то влекущим, то спадающим до безмерной печали, мое сердце растоплялось. Цыганская музыка действительно более отравляющая, более опасная, чем опиум или женщины, или напитки, и, хотя шампанское составляет необходимую принадлежность увеселения, в ее призыве слышится грусть, неудержимо привлекательная, почти непреодолимая для славянской и кельтской рас. Много лучше всяких слов выражает она скрытые и подавленные желания человеческого рода. Она вызывает меланхолию полулирического, получувственного свойства. В ней часть от безграничного простора русской степи. Она крайняя противоположность всему англосаксонскому. Она неудержимо разрывает все препятствия. Она приводит человека к ростовщикам или доводит до преступления. Несомненно, это самая примитивная из всех форм музыки, в ее призыве (да простит мне дух Марии Николаевны это святотатственное сравнение) есть что-то роднящее ее с негритянским культом. Она в то же время весьма дорогая. Это она должна нести ответственность за главную массу моих долгов. Однако, будь у меня завтра тысячи и желание промотать эти деньги, то не найдется ни в Нью Йорке, ни в Париже, ни в Берлине, ни в Лондоне таких развлечений, которые я предпочел бы цыганским вечерам в «Стрельне» в Москве или в Вилла-Роде в С.-Петербурге. Это единственная форма развлечения, которая никогда не надоедала и которая, если бы я поддался искушению, никогда не перестала бы меня очаровывать.

Было бы глупо утверждать, что я сразу оценил цыганскую музыку с того первого вечера или, правильнее, с того утра в «Стрельне». Не понимая ни слова по-русски, я по правде был немного ошеломлен.

Я не был настолько хорошо знаком со своими спутниками, чтобы позволить им распустить вожжи моего кельтского темперамента, к тому же жара в комнате и сладкое шампанское вызвали головную боль. Поэтому я не тужил, когда в шесть часов утра компания распалась, и мы разъехались по домам. Тут я понял врожденную хитрость русского человека. И в Петербурге, и в Москве места своего развлечения он устроил далеко за городом. Это ни для каких-нибудь дурных или развратных целей, а единственно для того, чтобы на обратном пути успеть оправиться от последствий своего кутежа. В России не в ходу отрезвляющие средства. Зимний сухой, морозный воздух заменяет всякое лекарство. Пока я доехал до отеля, я был уже в состоянии повторить снова всю вечернюю программу.

Россия тех первых трех дней моей московской жизни сгинула навеки. Я не знаю, что произошло с мисс Мекк. В 1930 году ее отец, старик лет семидесяти, был расстрелян большевиками, как опасный контрреволюционер. Старшая дочь живет сейчас в квартире из двух комнат без прислуги в Мюнхене. В 1930 году она приезжала в Англию, чтобы заявить протест против покупки английским правительством дома ее отца лорду Томсону, которого она принимала в России. Этот дом теперь является местопребыванием Британского посольства в Москве. Он сначала был конфискован большевиками, а затем продан правительству Ее Величества.

На другой день делегация, к своему собственному и всех других облегчению, выехала в Англию. Но им предстояло еще одно приключение до выезда с русской территории. Когда поезд, который увозил их назад к умеренно здоровым условиям жизни, поздно вечером прибыл в Смоленск, на платформе поджидала делегация русского духовенства с местным епископом во главе. Они явились с хлебом и солью приветствовать английских епископов и обнаружили занавешенные окна в темных вагонах. Несчастные англичане спали, отдыхая от последствий десятидневных непрерывных празднеств. Русские, однако, проявляли настойчивость. Они мерзли из-за желания увидеть английского епископа, и им хотелось видеть английского епископа хотя бы в ночной рубашке.

Наконец поездной кондуктор, боясь собственного духовенства больше, чем перспектив гнева иностранцев, разбудил Мориса Бэринга. Великий человек оказался на высоте положения, и развязка была скорой. Высунув голову из окна, он обратился к духовенству на своем чистейшем русском:

«Идите с миром, — крикнул он, — епископы спят». И затем в качестве окончательного довода добавил доверительно, но веско: «Они пьяны».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Если экзотической пышности этих первых трех дней было достаточно, чтобы вскружить голову любому молодому человеку, то отъезд британской делегации скоро привел меня в нормальное состояние. Первый взгляд на британское консульство нанес сокрушительный удар по моим иллюзиям. Оно было расположено в квартире консула на жалкой боковой улочке и состояло из одной комнаты. Там не было ни курьера, ни швейцара. Двери открывала прислуга консула, а в ее отсутствие я сам. Монгомери Гров был терпимым начальником, но был женат, имел троих детей, не обладал личными средствами и, занимая связанный с большими расходами пост, получал позорно низкое жалованье. Он был беднее большинства членов местной британской колонии, которая преимущественно состояла из ланкаширцев, связанных с хлопчатобумажной промышленностью. К счастью, работа оказалась не очень трудной. Каждое утро с десяти до часу я сидел в маленькой комнате, которая являлась канцелярией консульства. Единственная обстановка состояла из двух письменных столов, библиотечного шкафа, сейфа, карты России и трех стульев. Если в комнате находилось больше одного посетителя, Монгомери Гров брал стул из своей гостиной. Я сидел спиной к своему начальнику, клеил марки и стучал на машинке. В течение первых недель я тратил почти все свое время на перевод экономических отчетов из местной немецкой газеты и снимал копии со стереотипной русской анкеты на продление «перми де сежур» (разрешение на пребывание), которая требовалась от всякого иностранца в России и которая выдавалась русским паспортным столом. У нас, конечно, не было делопроизводителя. Всю необходимую русскую переписку вел Монгомери Гров. Не прошло и шести недель моего пребывания в

консульстве, как толстый русский купец сунул мне в руку чаевые в тот момент, когда я открывал ему входную дверь. Не желая его ш обижать, я положил в карман полученные от него двадцать копеек.

Я хорошо знаком с официальной жизнью в Малайских штатах. Даже самый юный чиновник имеет там свою «прислугу» — клерков и одетых в форму курьеров. Они сидят в роскошных служебных помещениях и поддерживают свое достоинство. Окружающий их деловой мир относится к ним с уважением. В Москве представитель Британской империи жил в обстановке, которой стыдился бы малайский санитарный инспектор. Монгомери Гров, который в прошлом был блестящим и представительным офицером индусского кавалерийского полка, должен был остро переживать свое положение. Он не мог принимать у себя богатых московских купцов, впрочем, он и не пытался делать это. Он выполнял свой долг не жалуясь, был столпом местной англиканской церкви и в общем искусно лавировал в бурных водах местных британских интересов и зависти.

Для меня самого абсолютная незначимость моего собственного положения являлась полезным уроком смирения, и лишь только я оправился от первого удара, я примирился с ним и даже научился извлекать из него развлечения. Мне, разумеется, пришлось выехать из гостиницы. В те времена вице-консул с жалованьем в размере трехсот фунтов в год не мог позволить себе жить в «Метрополе», и неделя, которую я там провел, обошлась мне дороже моего жалованья за первый месяц. Кроме того, для меня было важно научиться русскому языку. Дело в том, что из-за отсутствия переводчика Монгомери Гров не мог уйти в отпуск до того, как я не овладею языком. Поэтому я переехал со всем своим имуществом в лоно русской семьи. Здесь, должен признаться, мне чрезвычайно повезло. Ежегодно около полдюжины английских офицеров приезжают в Москву для изучения русского языка, чтобы сдать экзамены на переводчика. Идя навстречу их нуждам, некоторое число русских семейств специализировалось в преподавании русского языка. Большинство имело неопрятные квартиры людей среднего класса, где не приходилось особенно рассчитывать на комфорт или высокий культурный уровень. К счастью, для меня единственная семья, где имелась вакансия, были Эртели, и к Эртелям я, божьей милостью, отправился.

Госпожа Эртель, глава семьи, была вдовой Александра Эртеля, известного русского литератора и друга Толстого. Она была полной маленькой женщиной лет пятидесяти, немного суетливая, но прирожденный преподаватель и очень интересовалась литературой и политикой. У нее была просторная квартира с прекрасной библиотекой на Воздвиженке. Моими сожителями были ее дочь, черноглазая темпераментная девушка, более похожая на итальянку, чем на русскую, племянница, высокая, красивая, по типу англичанка, студент армянин Рубен Иванович (его фамилию я никак не мог запомнить) и чрезвычайно старая дама, известная под именем «бабушка», очень молчаливая и появлявшаяся только за столом, в эту новую и скромную атмосферу я погрузился с моим обычным энтузиазмом и умением приспособливаться. За редким исключением вечера мои принадлежали мне, и я посвятил их исключительно занятиям русским языком. Я ежедневно занимался с госпожой Эртель и ее дочерью и под их умелым руководством делал быстрые успехи. Со своей стороны, они относились ко мне, как к члену семьи, и хотя я чувствовал иногда, что я им в тягость, мы ни разу не сказали друг другу резкого слова.

Это был приятный и полезный период моей русской жизни. Еще задолго до того, как я овладел русским языком настолько, чтобы принимать участие в общем разговоре, я заподозрил, что **Эртели резко настроены против царского режима** и что их симпатии на стороне кадетов и социалистов-революционеров. Когда мои знания русского улучшились (за четыре месяца я научился говорить довольно бегло), подозрение это подтвердилось, и сознание того, что я живу в антицаристской среде делало мою жизнь увлекательной, придало новый вкус моим занятиям по языку. Но, когда за вечерним чаем я был представлен женщине, муж которой был расстрелян во время революции 1905 года, я почти испугался. Я рассказал об этом эпизоде Монгомери Грову, который серьезно покачал головой и рекомендовал соблюдать осторожность. Однако ничего неприятного со мной не приключилось во все время пребывания в этом обществе. Позднее я убедился в том, что **вся московская интеллигенция разделяет взгляды Эртелей.**

И действительно, Эртели были типичными представителями интеллигенции. Когда к десяти часам вечера собирались они за столом вокруг самовара, то готовы были сидеть до глубокой ночи и обсуждать вопрос о том, как спасти мир при помощи революции. Но когда

наступало утро действия, они крепко спали в своих кроватях. Все это было очень безвредно, безнадежно и очень по-русски. Если бы не война, и не извечная плохая организация русских военных сил, царь все еще сидел бы на троне. Я бы не хотел создать неправильного впечатления. Мои русские друзья не были под наваждением революции. Политические разговоры приберегались для специальных случаев, как, например, для печальных политических годовщин или для возмутительных политических приговоров русских судов. В остальное время беседы носили оживленный и поучительный характер.

В доме бывало много писателей — старые друзья покойного Эртеля. Молодые люди с пьесами для постановки и романами для издания. Художники, музыканты актеры и актрисы. Все они производили на меня большое впечатление, и я им поклонялся. У Эртелей я впервые встретился с госпожой Ольгой Книппер, вдовой Чехова и одной из лучших московских драматических актрис. С госпожой Эртель я впервые увидел чеховские пьесы в постановке Московского Художественного театра, этого строгого, торжественного театра, где аплодисменты запрещены и где в случае опоздания приходится пропустить целый акт.

В этот период жизнь моя была раздвоена: одна половина — русская и неофициальная и другая — официальная и преимущественно английская. Предпочтение я отдавал русской и неофициальной. Иногда я обедал в домах у московских англичан. Реже я присутствовал на банкетах в германском консульстве. Я нанес несколько официальных визитов моим коллегам по консульству и раз или два в неделю посещал Британский клуб в гостинице «Националь». Из русских богачей, с которыми я встречался во время пребывания в Москве британской делегации, я никого не видел. Скоро я обнаружил, что так называемого света в Москве не существует. **Имелось незначительное число знати, которая держалась особняком.** Богатые купцы составляли особую группу. Интеллигенция была доступна, но только для тех, которые были введены в ее круги. Вне своих деловых отношений англичане и русские жили строго обособленно. Надо сказать, что многие **местные англичане смотрели на русских, как на добродушных, но безнравственных дикарей, которых небезопасно вводить в свой домашний круг.** Мне было забавно видеть госпожу Зимину — московскую миллионершу — за завтраком и партией

бриджа со своими тремя мужьями: двумя бывшими и одним настоящим. Это, несомненно, являлось признаком терпимости, в то время выходящей за пределы западной цивилизации. Жены англичан в благочестивом ужасе воздевали руки.

Мое знакомство с английской колонией нельзя считать очень удачным. Почти что первыми англичанами, которых я встретил, были братья Чарноки. Оба были ланкаширцами и связаны с хлопчатобумажной промышленностью. В то время Гарри, младший брат, был директором большой хлопчатобумажной фабрики в Орехово-Зуеве Владимирской губернии.

Орехово-Зуево являлось одним из наиболее беспокойных промышленных центров, и там Чарнок в качестве противоядия водке и политической агитации ввел футбол. Организованная им заводская команда была в то время чемпионом Москвы.

Обо мне в кругах английской колонии ходили слухи, что я — блестящий футболист, вероятно, потому, что меня спутали с моим братом. Не справляясь о том, какой вид этой игры я практикую — круглым или овальным мячом, Чарноки попросили меня вступить в состав «морозовцев», как называлась их заводская команда. Несколько часов позже я узнал, что в Москве имеется английская команда, в которой, ожидалось, я буду играть. Председатель клуба сделал все, что в его силах, чтобы убедить меня изменить решение, но, давши Чарнокам слово играть у них, я не был склонен отказаться от него.

Вначале на меня немного сердились, но я никогда не пожалел о принятом решении. Позднее, когда я ближе познакомился с этими северянами, я понял, какие они прекрасные ребята. А Чарноки с тех пор сделались моими верными друзьями, и я всегда считал мой футбольный опыт с русским пролетариатом самой ценной частью моего русского воспитания. Я боюсь, что опыт этот принес мне больше пользы, чем моему клубу. С трудом я справлялся с порученным местом в команде. Несмотря на это, матчи были очень интересны и вызывали огромный энтузиазм. В Орехове нам приходилось играть перед толпой в десять-пятнадцать тысяч человек. За исключением проигрышей иностранным командам, мы редко проигрывали. Разумеется, опыт Чарноков увенчался полным успехом. Если бы он был заимствован другими фабриками, то влияние его на характер русских рабочих оказалось бы очень значительным. В моей карьере русского

футболиста имел место лишь один интересный эпизод. Это произошло в Москве, где наша заводская команда встретилась с германскими чемпионами. Из побуждений корректности русские футболисты предложили немцу быть рефери. Немцы были значительно сильнее наших игроков и использовали это свое преимущество для некорректной игры. В особенности один немец играл возмутительно грубо против молодого семнадцатилетнего английского студента, племянника Чарноков и блестящего футболиста, игравшего в нападении рядом со мной левым крайним. После того как немец сшиб его с ног в пятый или шестой раз, я разозлился и обругал его в выражениях, которые действительно никогда не употребил бы в Англии. Рефери немедленно остановил меня. «Будьте поосторожнее, — обратился он ко мне на прекрасном английском языке. — Я слышал, что вы сказали. Если вы еще раз позволите себе употребить такие выражения, я вас удалю с поля». Выражения, которые я употребил, не были так уж ужасны. Это было обращение к Всевышнему с просьбой поразить немца и отправить его в самые глубокие недра преисподней. Но в тот момент я все же содрогнулся. Как молния, мелькнули у меня перед глазами заголовки в английской прессе: «Британский вице-консул удален с поля за сквернословие», и я тут же подло и пространно извинился. После игры я сообщил о своих опасениях судье.

— Если бы я знал, кто вы, — заметил он со смехом, — я удалил бы вас с поля без предупреждения.

В течение этих месяцев подготовительной работы на мою жизнь влияло еще кое-что. Это дружба с Джорджем Боуэном, молодым артиллеристом, который изучал русский язык за счет военного министерства. В общем, я был невысокого мнения о военных переводчиках. Однако Боуэн являлся исключением. Это был светловолосый маленький человек, очень серьезный и умный. Он обладал спокойным характером, который редко ему изменял. Мы очень подружились и, по крайней мере, раз в неделю обедали вместе, причем во время этих обедов находили отдохновение от нашей работы, сопоставляя мнения о наших русских учителях. Он был прилежным работником, и, поскольку мы превратили наши обеды в своего рода гастрономическое соревнование в знании русского языка (кто первый спотыкался на каком-нибудь слове в меню, тот платил за обед), эти обеды не наносили ущерба нашим русским занятиям.

В июне для нас обоих истек шестимесячный срок пребывания в Москве. В это время мы уже умели с известной беглостью изъясняться между собой на ломаном русском языке. С характерной скромностью мы не производили этих упражнений на улицах, а приберегали их для уединения парков и лесов. Мы жили очень скромно и лишь изредка позволяли себе выходить из рамок строгой экономии, которой научил меня Боуэн.

Однако случались и прорывы. В особенности одно отступление от этого режима чуть ли не нанесло ему непоправимого удара. В июле мое начальство с семьей перебралось на дачу - своеобразный летний домик за городом, куда отправляются все русские, за исключением самых бедных, чтобы избежать удушливой жары московского лета. И семья Эртелей выехала за город, оставив меня одного в квартире. Боуэн проводил отпуск на даче со своим русским семейством. Я был одинок и несчастен, но непоколебим в своем новоявленном аскетизме. Однажды днем Боуэн вошел ко мне. Небо было цвета чернил. С юга приближалась гроза, и зной, растопивший асфальт, стал невыносимым. С красным лицом Джордж кинул свою шляпу на кровать и бросился в кресло.

— Я сыт по горло, — сказал он. — Это дачное существование разбило меня. Пятеро взрослых и трое детей в четырех расшатанных комнатухах. Стены как из бумаги. Клопы не дают спать. Целый день у меня в комнате рвет большую собаку. Василий Васильевич храпит, а сегодня я застал Марию Петровну в момент, когда она шпилькой подбирала капусту с тарелки. Мне осточертел пуританизм. Сегодня я хочу веселиться.

В этот момент разразилась гроза, и в течение трех четвертей часа, молнии плясали вокруг голубых и позолоченных куполов Кремля. На затопленных улицах прекратилось движение трамваев, и они стояли, похожие на корабли со спущенными якорями. Гром сотрясал дом до основания.

Мы заперли окна и, сняв пиджаки, лежали не двигаясь в креслах. Пот ручьями струился по лицу Джорджа. У меня болела голова. Мучительно прошел час. Неожиданно солнце выглянуло из-за туч. Мы быстро открыли окна. Приятной прохладой повеяло из монастырского сада, расположенного напротив нашего дома. Деревья, которые час назад были сухими и покрытыми пылью, окрасились в ярко зеленый

цвет. На улицах возобновилось обычное движение. Двинулись трамваи и вместе с ними и мы.

Мы наметили наш план действий. Джордж останется ночевать у меня. Мы пообедаем в «Эрмитаже». Потом мы отправимся в «Аквариум». Решено расходов не жалеть.

С нашими чековыми книжками в руках мы направились к Мюру и Мерилизу - московскому Харродсу, и предъявили наши чеки. Каждый был на 25 фунтов, что представляло для меня месячный заработок, а для Джорджа и того больше. С волнением мы следили за выражением лица кассира. До сих пор мы никогда не брали больше десяти фунтов. Он немедленно, без всяких колебаний оплатил наши чеки. В те времена кредит британских чиновников был неограничен.

Счастливые и в самом легкомысленном виде мы отправились в прекрасный летний сад «Эрмитаж». В бассейне мы выбрали для себя стерлядь. Мы отобедали, как это обычно делают молодые люди, беспечно, нелепо пробуя все незнакомые русские блюда и запивая все это таким количеством водки и шампанского, которое вряд ли было полезно нам. Наша расточительность привлекла к нам внимание со стороны одетых в белое официантов, в то время как еврей-скрипач Криш играл в нашу честь весь имеющийся у него английский репертуар. Обед продолжался очень долго, и мы закончили его парой хороших сигар и коньяком «Наполеон» по десять рублей стакан. Коньяк оказался неважным, конечно, Наполеон его никогда не пил. Но глупцы должны учиться на опыте. На меня урок подействовал, и с этого дня коньяк «Наполеон» меня никогда больше не прельщал.

Настоящее приключение произошло несколько часов позже в «Аквариуме». Этот обширный увеселительный парк содержался негром по имени Томас — британским подданным, с которым консульство было не в ладах из-за приглашения молодых английских девушек в качестве шансонеток. В этом парке он содержал приличную оперетту, не менее приличную открытую сцену и значительно менее приличную веранду с кафе-шантан и неизбежной анфиладой отдельных кабинетов для кутежей с цыганами.

Мы вошли в кафе-шантан довольно поздно, заняли лучшую ложу и уселись в ожидании того, что даже нам, в нашем приподнятом настроении показалось скучным. Быстрая смена на эстраде бесталанных танцоров и певцов, которые показывались в течение

нескольких минут, после чего кланялись, переодевались и присаживались к столикам, скоро нам надоел и даже «Макаронный человек», который пил невероятное количество шампанского в невероятно короткий срок, не сумел приподнять того мрачного настроения, которое начало быстро овладевать нами. Затем внезапно были притушены огни в зале. Оркестр заиграл английскую мелодию. Занавес поднялся на сцену вышла молодая англичанка, изумительно свежая и прекрасная. Она спела и протанцевала свой номер. Публика приняла ее горячо. То же сделали двое молодых, сразу посвежевших джентльменов. Голос у нее был резкий и грубый. Произношение самое простонародное, но она танцевала лучше англичанок-танцовщиц, которых видела Москва. Мы подозвали старшего официанта. Потребовали чернил и бумаги, и после стыдливого раздумья — для нас обоих это являлось первым опытом - послали ей совместную записку, приглашая ее присоединиться к нам. Она пришла. Вне сцены она показалась нам менее прекрасной. Певица оказалась ни остроумной, ни развратной. На сцене она работала с 14 лет и принимала жизнь философски. Но она была англичанка, и история ее жизни взволновала нас. Я полагаю, что наши застенчивость и неловкость ее забавляли.

Нам не удалось без помехи продлить нашу беседу. Официант принес записку и передал ее нашей гостье. Она прочла ее, просила извинить ее и вышла. За дверь мы услышали громкий разговор — преобладал мужской голос. Затем слышались звуки борьбы и заключительного «пропади ты». Дверь открылась и захлопнулась с силой, и с красным лицом к нам вернулась наша ланкаширская леди. «Что случилось?» — «Да пустяки. Тут один жокей-англичанин, шальной парень, всегда пьяный, который превратил мою жизнь в ад». Мы выразили ей сочувствие, заказали еще шампанского, и в пять минут инцидент был забыт.

Но ненадолго мы забыли о нем. Через час дверь вновь открылась. На этот раз появился сам Томас в сопровождении городского. За дверь стояла толпа лакеев и служанок с испуганными лицами. Негр почесывал затылок. Произошел несчастный случай. Идите, мисс. Жокей застрелился.

Сразу протрезвев мы заплатили по счету и последовали за девушкой в неопрятные меблированные комнаты, где произошла трагедия. Мы приготовились к худшему — скандал, возможное бесчестие и наше

вероятное привлечение в качестве свидетелей. Для нас обоих дело представлялось чрезвычайно серьезным. При этих обстоятельствах самым лучшим было довериться Томасу. Он посмеялся над нашими страхами.

— Я все устрою, мистер Локкарт, — сказал он, — не беспокойтесь, полиция вас не потревожит, так же как и мисс. Они привыкли к таким трагедиям, а эта уже давно назревала.

Он был прав. Верно по отношению к тому, кто не был политически подозрителен, а тем более к тому, кто занимал официальный пост, русская полиция проявляла чрезвычайную предупредительность, обычно подкрепляемую взятками. Однако должно было пройти несколько дней, прежде чем наши страхи рассеялись. На следующее или, вернее, в то же утро я проснулся с мрачными предчувствиями и слышал, как Джордж Боуэн, плескаясь в ванной, взывал к небу и спрашивал, кто тот безумец, который сказал: «Радость приходит вместе с утром».

В лето 1912 года мне посчастливилось дважды увидеть царя — случай редкий для Москвы, так как царь всея Руси редко посещал прежнюю столицу. С этим городом у него связано слишком много трагических воспоминаний, а ужасы Ходынки, когда во время празднеств, связанных с его восшествием на престол, были раздавлены тысячи крестьян, еще свежи в его памяти. К тому же Москва в качестве центра радикализма является для императрицы проклятым местом. В первый раз царь приехал, чтобы открыть памятник своему отцу, императору Александру III. Это была строго официальная церемония, на которой присутствовала лишь знать, военные и гражданские власти и ограниченное число купцов. Это посещение царя запечатлелось у меня в памяти по двум причинам. Во-первых, потому, что за несколько недель до этого московская полиция надоедала нам и всему консульскому корпусу идиотскими вопросами **относительно политической благонадежности наших граждан, живущих поблизости от маршрута следования царя**, и во-вторых, потому, что, следуя через Кремль, царь остановился на том месте, где был убит великий князь Сергей, преклонил колени на булыжной мостовой, прочел молитву. Интересно было бы узнать, о чем думал этот последний из тех, кому можно было бы позавидовать — коленопреклоненный монарх, находясь на том самом месте, которое

было обогрено кровью его брата. Борис Савинков, организовавший убийство великого князя, был тогда в изгнании. Он вернулся в 1917 году и стал военным министром правительства Керенского, с тем чтобы еще раз уйти в изгнание при приходе к власти большевиков. Еще раз он вернулся для выполнения рокового и до сих пор нераскрытого задания, когда попытал счастья с нынешними повителями России только для того, чтобы быть выброшенным или выброситься из кремлевского окна рядом с тем местом, где великий князь подвергся своей участи.

Второй приезд царя имел место по случаю столетия Бородинского боя и освобождения России от наполеоновского ига. На этот раз торжества носили национальный характер, и на меня значительное впечатление произвели верноподданнические демонстрации. Никогда я не видел лучших военных частей, чем казацкие, составлявшие личную охрану царя. Вполне простительно, что довоенные иностранные атташе переоценивали военную мощь России. Между тем, настоящим символом русской силы была слабая бородатая фигурка со странным задумчивым взглядом, ехавшая верхом во главе своих войск, слабые плечи которой, казалось, были неспособны выдержать облекавшее их, как саван, бремя самодержавия. Даже в те дни, когда в умах большинства революция была еще далека, царь внушал больше жалости и симпатии, чем восторга. Царский визит был испытанием, которое в любую минуту могло превратиться в трагедию; что касается Москвы, каждый вздыхал с облегчением, когда царский поезд покидал город.

Когда пришла осень, я приобрел нового друга, который должен был оказать мне ряд услуг в период моего московского ученичества. Это был Михаил Ликиардопуло, талантливый секретарь Московского Художественного театра. «Лики» был странным, любящим существом. На одну треть грек, на одну треть русский и на одну треть англичанин. Его секретарские обязанности давали ему твердое жалованье. Его настоящей работой в жизни были переводы. Он обладал литературным чутьем, прекрасным русским прозаическим стилем и совершенно изумительным знанием в совершенстве восьми или девяти европейских языков. Он знал большинство крупных европейских писателей и перевел лучшие их произведения на русский язык. Через него я впервые встретился с Г. Уэллсом, Робертом Россом, Литтоном Строги, Гренуилем Баркером, Гордоном Крейгом, не говоря

о многочисленных почитателях литературы, приехавших в Москву на поклон храму русского искусства. В свободное время он работал в одной из передовых московских газет в качестве балетного критика. Он знал всех в литературном, артистическом и театральном мире Москвы, и благодаря ему передо мной открылись двери, которые иначе остались бы для меня закрытыми.

Бедный «Лики». Во время войны он заведовал под моим наблюдением нашим отделом пропаганды, и заведовал очень хорошо. Его темперамент был слишком непостоянен, чтобы придавать какую-либо ценность его политическим суждениям. Русское поражение так его угнетало, что он был близок к самоубийству. Самая незначительная победа бросала его в другую крайность. К концу 1915 года, убедившись в окончательном поражении России, он совершил чрезвычайно рискованную поездку в Германию по нашему заданию, путешествуя в качестве греческого торговца табаком и привез оттуда массу ценных сведений и новый оптимизм. Революция окончательно разрушила все его чаяния, и еще до большевистского переворота он бежал в Стокгольм, а оттуда в Англию. Как и многие русские либералы, он сделался ярким реакционером и потратил много энергии на антисемитские статьи для английской прессы. Он был прирожденным журналистом, живущим только сегодняшним днем, но благородство характера и доброта по отношению к друзьям были исключительны, и из всех моих русских друзей я больше всего жалею о нем. Он умер в Лондоне в 1924 году.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

К концу первого года моего пребывания в России я вернулся в Англию, чтобы жениться. Оглядываясь назад на это событие, с точки зрения человека средних лет, разочарованного и утратившего иллюзии, я нахожу свое поведение в высшей степени достойным порицания. Я не обладал ни деньгами, ни положением, и мои перспективы не шли дальше унылой и бесплодной карьеры на наихудше оплачиваемой в мире службе. Моя жена была австралийкой по фамилии Турнер. Ее дедушка был в свое время самым богатым человеком в Квинсленде. После смерти отца на них обрушился ряд несчастий, и мать могла давать ей на жизнь не больше ста-двухсот фунтов в год. Сама жена моя была хрупкого здоровья и воспитывалась в Англии и Швейцарии. Все

ее друзья были богатые или зажиточные люди. Сама она привыкла к роскоши в жизни. Просить девушку, которая воспитывалась в таком духе и которой к тому же шел лишь двадцать первый год, разделить со мной жизнь в бедности, да еще в придачу в таком полуцивилизованном городе, как Москва, было безграничной дерзостью. Нужно отдать справедливость ее смелости: она очень быстро приспособилась к жизни, с которой были связаны многие лишения. Мой брак был сделкой, выгоды от которой были только на моей стороне.

Что представлял я собой в то время? Молодой человек 25 лет широкоплечий, горбоносый, с поджарой коренастой фигурой и смешной походкой. Характер молодого человека представлял собой любопытную смесь локкартовской осторожности и аскетизма с макгрегоровской беспечностью и снисхождением к себе. До сих пор Макгрегоры одерживали верх над Локкартами, и, быть может, его основной ошибкой являлась общая всем кельтам тенденция — смешивать беспутство с романтизмом. Такие достоинства, как обладание хорошей памятью, способность к языкам и большая работоспособность, в значительной степени ослаблялись ленивой терпимостью, которая всегда ищет легчайший выход из затруднения, и роковой склонностью жертвовать будущим во имя дешевых аплодисментов настоящего. Короче, не привлекательный и не оформившийся молодой человек, чье самомнение носило почти болезненный характер. Если бы кто-нибудь сказал ему, что через пять лет в критический момент истории его страны он будет главой важной Британской миссии, то бы улыбнулся, склонил голову набок и скромно покраснел.

Таким я был в конце 1912 года. Однако с заключением брака моя жизнь изменилась, и я сделал серьезные усилия вести себя в соответствии с требованиями моего нового положения. Результат оказался самым благоприятным. Моя ночная жизнь была брошена и заменена кругом скучных светских обязанностей. Сношения с британской колонией стали обязательными, и, поскольку нас принимали, мы в свою очередь стали принимать. Я с новым рвением принялся за работу. Я продолжал занятия русским языком; пока моя жена не изучила языка, мне приходилось смотреть за нашей маленькой квартирой, давать распоряжения прислуге и надзирать за хозяйством. Я читал вдвое больше, чем когда был холостяком. Мое

знание русского языка было терпимым, и, таким образом, передо мной открылось все богатство русской литературы... Вместе с тем я начал пописывать в английских газетах не столько из внутренней потребности, сколько из-за нужды. Гонорары нужны были как дополнительный источник скромных доходов, которыми мы располагали, и после небольшой практики я пришел к выводу, что они не так трудно даются. Я переписал и продал рассказы, написанные мной на Малакке. Я стал почти регулярным сотрудником «Манчестер гардиан» и «Морнинг пост»; обе эти газеты интересовались тогда очерками о русской жизни; кроме того, я пристроил несколько более серьезных статей и рассказов на страницах многочисленных британских журналов, процветавших в те времена. Эти литературные труды я печатал под псевдонимом (в то время дипломатам и консулам запрещалось писать), и за первый же год моей работы в качестве журналиста заработал около 200 фунтов. К тому моменту, когда война прекратила мою литературную деятельность, я имел постоянный заработок в размере 25—30 фунтов в месяц.

Мой брак не помешал дружбе с русскими. Напротив, он укрепил ее. «Лики» был в нашей квартире постоянным гостем и платил за наше гостеприимство тем, что привел нас в соприкосновение с широким кругом своих литературных и артистических знакомых. Через полтора года после моего приезда в Москву я знал большинство передовых московских интеллигентов.

Этот контакт, требующий постоянных разговоров на политические темы, возбудил во мне интерес к международным делам. Через Чарноков и других англичан, связанных с хлопчатобумажной промышленностью, я мог ощущать биение пульса промышленной жизни. Для того чтобы стать настоящим работником контрразведки, оставалось завоевать лишь знать, купечество. С Британским посольством в С.-Петербурге мы фактически в сношениях не состояли. Германский генеральный консул встречается со своим послом раз в месяц. Французский генеральный консул может рассчитывать закончить свою карьеру посланником. Но между обоими британскими службами имеется непроходимая пропасть, через которую до сего дня еще не переброшен мост. Политические отчеты из Москвы не поощрялись. Запросы по коммерческим делам определенно отвергались. В архивах Московского консульства имеется или имелось

письмо от некоего британского посла, которое мы вытаскивали в веселые минуты. Письмо это гласило следующее:

«Уважаемый Прошу запомнить, что я здесь вовсе не для того, чтобы Вы беспокоили меня вопросами, относительно торговли».

Ненадлежащая обстановка в Московском консульстве была предметом беспокойства не только со стороны злополучных консульских чиновников. На него обращали внимание посетители-англичане, которые сразу замечали, что из всех великих держав лишь Великобритания не была представлена в Москве генеральным консульством. Они обычно высказывали свое возмущение, возвращались в Англию, но ничего не предпринимали. Было только одно исключение. Однажды в зимний вечер 1913 года, в момент, когда я был в консульстве один, раздался звонок. Я соскочил и впустил пожилого, хорошо одетого бородатого господина, который протянул мне свою визитную карточку. Его фамилия была Теннант, и, хотя я в то время этого не знал, он оказался родственником господина Асквита, тогдашнего премьера. Я пригласил его в нашу мрачную маленькую комнату.

- Могу я видеть консула или вице-консула? — спросил он.

- Консул вышел, — ответил я. — Перед вами вице-консул.

Он тяжело дышал. Подъем по лестнице на третий этаж, по-видимому, его утомил.

— И это все Британское консульство? — спросил он наконец.

Я ответил утвердительно. Его глаза сверкнули. Затем с ворчанием он заметил:

— Скорее похоже на ватерклозет, чем на консульство.

Он пригласил меня позавтракать с ним на следующий день. За завтраком он задал мне ряд вопросов на ту же тему. Он ничего не обещал, но после его отъезда у меня было такое ощущение, что на этот раз последуют перемены.

Однако недели превратились в месяцы, и постепенно стала угасать надежда. Когда наступило лето, мы сняли вместе с Гровами дачу — обширный деревянный дом в Косино, рядом с озером, на котором имелись гребные лодки и где можно было ловить щук и окуней. Этот

рискованный эксперимент начался с трагедии. Моя жена приобрела себе игрушку — породистого французского бульдога Пипо, которого впоследствии нарисовал Коровин. Разумеется, она взяла его с собой на дачу. Хотя на городской квартире он вел себя безукоризненно, его первая ночь на даче оказалась сплошным несчастьем. По-видимому, поездка в поезде вредно подействовала на его здоровье, и во время обеда он настолько забылся, что испортил новый ковер в столовой — последнее приобретение семейства Гров. Мужчины в этих случаях беспомощны, и в продолжение всего обеда Гров и я не поднимали глаз от тарелок. Несмотря на это неприятное начало наша совместная жизнь на даче обернулась лучше, чем это можно было ожидать. Утром гнев госпожи Гров прошел. Со слезами на глазах жена попросила прощения за свою собаку. Сам Пипо щедро рассыпался в извинениях. И Пипо остался.

С Пипо мы имели еще одно приключение, которое могло для него окончиться трагически, а для нас оказалось связанным с неприятными последствиями. Рядом с озером находится «святое» озеро, в котором купались, надеясь исцелиться, многочисленные паломники. Однажды вечером жена, прогуливаясь, прошла мимо озера и с естественным чувством скромности обратилась в бегство от массы голых тел, ищущих помощи в этих водах. Однако Пипо, будучи животным с сильно развитым стадным чувством, в одно мгновение очутился среди паломников, дико плескаясь в воде. Над озером поднялся крик. В первую минуту жена подумала, что паломники играют с собакой и спокойно продолжала свой путь. Крик, однако, перешел в сердитый гул, и собака с визгом выбежала на тропинку, преследуемая двумя десятками голых фигур. Жена подобрала юбки и побежала. К счастью, дача была рядом. Опять-таки по счастливой случайности я оказался дома. В течение пяти минут я уговаривал собравшихся у ворот голых людей, и в конце концов мои аргументы, подкрепленные серебряными рублями, оказали действие. Еще больше рублей пришлось потратить на оплату священника, который должен был совершить над озером обряд очищения. В общем, приключение оказалось более накладным, чем забавным. Вначале я опасался, что оскорбленные купальщики выместят свою злобу на собаке; в течение нескольких дней Пипо держали на привязи. Но здесь я оказался несправедливым по отношению к русским. Заключив мир, они не затаили злобы, и, хотя ничто впоследствии не могло заставить собаку

подойти к озеру ближе, чем на сто саженой, если бы она это и сделала, то ей не угрожала бы опасность.

Три года спустя отсутствие денег заставило нас продать собаку. Какой в конечном счете оказалась ее судьба - не знаю. Она была аристократкой и потому, вероятно, ненавидела революцию. Я боюсь, что по примеру дога Максима Горького она была съедена голодающим населением.

В это лето Москву посетил сэр Генри Уильсон. Вместе с ним и полковником Ноксом, нашим военным атташе я обедал в «Эрмитаже». Даже в эти дни сэр Генри полностью сознавал опасности европейской ситуации и суммировал со свойственной ему широтой взглядов все возможности. Определяя относительную силу европейских держав, он проанализировал все мельчайшие детали. По его мнению, французская армия была равна германской. Если бы случилась война, то русская армия должна была бы явиться той гирей, которая склонила бы весы в пользу Франции. Сэр Генри оказался не единственным экспертом, чей прогноз был опровергнут в процессе бури, разразившейся в 1914 году.

В начале июля визит Теннанта дал наконец о себе знать. Это произвело впечатление разорвавшейся бомбы, как говорят, на Флит-стрит. Московское консульство возводилось в ранг генерального консульства и значительно увеличивались кредиты, отпущенные на его содержание. Гров получал перевод в Варшаву, а на его место назначался Чарльз Клайв Бейли, бывший консул Её Величества в Нью-Йорке и потомок славного в истории Индии рода. Я пролил сочувственные слезы по поводу отъезда Гровов (они были очень милы с нами) и с новыми надеждами и помыслами приготовился приветствовать своего нового начальника.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Чарльзу К. Бэйли² шел тогда 52й год. Это был крупный цветущий мужчина с мешками под глазами. Глаза его умели и лукаво подмигивать, и гневно сверкать. Оставшиеся волосы были светлые. Его туловище было, казалось, слишком тяжело для его ног, и, когда он кашлял или смеялся, жилы вздувались на его лбу. Так как он постоянно

² Чарльз Клайв Бейли, генеральный консул Великобритании в Москве. (Прим. ред.)

смеялся по поводу рассказываемых им самим историй, а их у него было неиссякаемое множество (за два года он при мне не повторил ни одной), то я все время ждал, что его хватит удар. Он носил монокль и был проникнут сознанием собственной значимости.

Он не говорил ни по-французски, ни по-немецки. Но, около десяти лет прослужив под начальством сэра Томаса Сандерсона в Нью-Йорке, он отлично был знаком со всем тем, что относится к деятельности консульского учреждения. В нем сочеталось то, что американцы называют балагурством с достоинством, никто не мог себе позволить вольности с ним.

Еще важнее было то, что он был человек состоятельный и не жалел собственных денег для поддержания своего престижа генерального консула. Он нанял себе большую квартиру на самой фешенебельной улице Москвы и снял вблизи ее на первом этаже нового дома соответственное помещение для генерального консульства. Он нанял опытного письмоводителя, двух машинисток и в качестве комиссионера Александра Нечаева, в прошлом чиновника русской гражданской службы, которому были хорошо знакомы как легальные, так и нелегальные пути проникновения через канцелярский формализм русской бюрократии. Мы обрели новый престиж как в глазах русских, так и наших коллег. Об этом заботился и Александр. Он пожаловал Бэйли титулом превосходительства, и не прошло и месяца со дня приезда последнего, как военные и гражданские власти в Москве знали, благодаря стараниям преданного Александра, что новый британский генеральный консул был человеком, которому благоволили. Но иногда Александр слишком увлекался, и однажды, когда его поймали на том, что он пользуется консульской печатью для собственных нужд, Бейли вы шел из себя. Потребовался весь мой такт и мое заступничество, чтобы старый мошенник не был немедленно уволен. В конце концов Бейли должен был согласиться со мной, что нельзя так легко рассчитывать человека, который может раздобыть визу во внеслужебное время или спальное место на С.-Петербург, когда все билеты за несколько дней вперед распроданы.

На службе и вне ее Бейли делал все возможное, чтобы сыграть ту роль, которую для него наметил Александр. Он всю жизнь прожил хорошо и умел принимать гостей.

В этом ему помогала его жена, урожденная Рикардо. Это была милая маленькая женщина, очень застенчивая, типичная англичанка, но очень гостеприимная и всегда готовая сделать все, что в ее силах, в интересах ее мужа. Русские приходили и наматывали себе все на ус. Они кушали обеды Бейли. Очень любили беилевские коктейли, которые они впервые ввели в Москве. Они готовы были принять его за то, за что его выдавал Александр. И на меня падал отблеск нового великолепия. На службе Бейли заставлял меня много работать. Не зная языка, он во многом зависел от моей информации. С другой стороны, он научил меня, как нужно управлять канцелярией, как нужно обращаться с людьми разных положений и как действовать лаской или угрозой на те или иные отделы нашего Министерства иностранных дел. Обычно он говорил: «Если вы не можете чего-либо добиться любезностью, действуйте грубостью». Он следовал принципу не разводить китайских церемоний и в случае необходимости делал неприятности как посольству, так и министерству. К моему удивлению, такой образ действий лишь укреплял его авторитет. Его акции поднимались. Он отправился в С.-Петербург повидаться с послом и возвратился с полномочиями совершить инспекторскую поездку по остальным консульствам в России. Несмотря на желчный характер (в молодости он перенес на Золотом берегу желтуху), он оказался прекрасным начальником, и ему я обязан всеми теми достижениями, которыми я обладал в качестве консульского чиновника. Вне службы он был мне, как отец родной, и я с ним никогда не расставался. В его доме я встречал массу людей, которых я бы никогда не узнал, и дружба с которыми оказала мне неоценимые услуги во время войны. Под руководством Бейли я превратился из застенчивого и малосведущего юноши в самоуверенного и квалифицированного администратора.

Весной 1914 года, в то время, когда я исполнял обязанности генерального консула, заменяя уехавшего в служебную командировку Бейли, со мной приключился интересный случай. В субботу вечером мне позвонил по телефону пристав Тверской части. Двое англичан — морской врач и унтер-офицер — оказались арестованными за кражу в магазине. Пристав, человек с круглой головой, угреватым лицом и усами, подстриженными по-военному, был любезен, но упрям. Обоих посадили за решетку. Они были пойманы с поличным. Когда я приехал к нему, он пил чай и как будто не очень обрадовали мне. Однако по моей просьбе он послал за протоколом. Согласно собственным

показаниям, арестованные возвращались из Китая, куда были командированы в Англию через Сибирь. Во время остановки в Москве они отправились в магазин, выбрали несколько новых платков, две-три пары носков, деревянный кустарный портсигар и положили все это в карман. Как раз в тот момент, когда они собирались заплатить, сыщик, дежуривший в магазине, схватил их. Это было вполне правдоподобно. Однако показания сыщика и вызванного для производства ареста городского были чрезвычайно неблагоприятны. Сыщик клялся, что своими глазами видел, как унтер-офицер отправил к себе в карман портсигар жестом профессионального карманника.

Единственным для них благоприятным обстоятельством было то, что в момент ареста они имели при себе 80 фунтов, в то время как стоимость якобы украденного ими не превышала трех фунтов. Я красноречиво использовал это несоответствие и указал также, что здесь, быть может, произошло недоразумение, вытекающее из незнания языка.

Мое красноречие пропало даром. Пристав снисходительно улыбнулся.

— Вы выполняете ваш долг, господин консул, я — свой. Это скверное дело, — сказал он.

Мне не оставалось ничего другого, как ретироваться. В этот момент в комнату ворвался красивый юноша.

— Отец, — крикнул он возбужденно, — мы выиграли. Затем он увидел меня, смущенно остановился, затем бросился ко мне и горячо пожал руку.

— Господин Локкарт, Вы помните меня, — сказал он, — я играл против Вас в прошлом году. Я средний полузащитник «Униона».

Лицо его просияло. Затем он обратился к отцу:

— Папа, это господин Локкарт, который играл с морозовцами — лучшей командой в России. Он должен выпить с нами чаю.

Пристав нахмурился, затем улыбнулся.

— Простите меня, — сказал он, — за делами я позабыл про чай.

Он позвонил, велел принести несколько стаканов чаю, водки, и мы, усевшись и чокнувшись, выслушали, как мальчик описывает матч. Пристав слушал в молчаливом восторге. Очевидно, он страстно любил

сына. Я тоже сидел, надеясь на неожиданную развязку моего дела. Закончив свой рассказ, мальчик повернулся ко мне и спросил:

- А что Вы здесь делаете, господин Локкарт?

Отец покраснел.

— Господин Локкарт беседует со мной по официальному делу, а ты ступай.

После ухода юноши воцарилось молчание. Затем пристав откашлялся и сказал:

— Господин консул, я обдумал этот случай. Я убежден что Вы правы, и что британский морской врач с 50 фунтами в кармане не будет красть платков. Самое не приятное в этом деле то, что предметы были найдены у них в карманах. Если бы только они находились в карма не унтер-офицера, а доктора мы бы вызвали как свидетеля, дело значительно упростилось бы.

Он почесал свою лысую голову. Затем позвонил.

— Пришлите мне городского, который составлял протокол по делу англичан.

Появился городской, крепкий простодушный парень, с сознанием того, что он хорошо выполнил свое дело, и ожидающий похвалы.

— Вы составляли этот протокол? — спросил пристав.

— Так точно.

— Краденое Вы нашли в карманах обоих?

— Так точно.

— Ты в этом уверен?

— Так точно, — ответил городской.

— Подумай еще раз, — прорычал пристав громовым голосом. Городской вздрогнул, но дал тот же ответ. Даже для русского он был не слишком сообразителен.

Пристав возобновил атаку.

— Ты думаешь, что морской врач, офицер английского флота может украсть пару платков?

Городовой потянул носом.

— Так точно, то есть никак нет, — пробормотал городовой.

Дурак, — проворчал пристав, — что ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что нашел все предметы в кармане унтер-офицера и ничего в карманах врача.

Это было сказано очень медленно и непринужденно, причем каждое слово подчеркивалось ударом широкой линейки по столу.

На этот раз городовой понял.

— Так точно, — хрипло пробормотал он.

Пристав порвал протокол.

— Скорей составь новый протокол, и чтобы я больше не ловил тебя на небрежности.

Он повернулся ко мне и засмеялся.

— Это все, что я могу сделать — сказал он, — дело будет передано суду. Предупреждаю Вас, предстоят трудности с сыщиком, у которого упрямая башка и который получает проценты за поимку воров. Во всяком случае, сейчас имеется свидетель защиты. Остальное зависит от Вас. Врача я могу сейчас же отпустить.

Футбол имеет свою пользу. Я его горячо поблагодарил, попросил прислать врача мне на квартиру и бросился искать Александра Виленкина, юрисконсульта генерального консульства.

В тот же вечер мы разработали план действий. Врач объяснил, что они намеревались заплатить, и Виленкин, который знал Англию почти так же хорошо, как Россию, ясно увидел, какой линии ему следует держаться. Показания врача имеют значение, но в качестве основного свидетеля защиты должен выступить я. Таков был намеченный Виленкиным план кампании.

Я сначала возражал. Весьма сомнительно, удобно ли британскому консульскому чиновнику выступать в таком деле. Во всяком случае, я не видел, в чем может выразиться моя помощь.

— Предоставьте это мне, мой дорогой Локкарт, — сказал Виленкин своим еврейским акцентом. Я так и сделал.

Виленкин происходил из богатой еврейской семьи и славился тем, что лучше всех в Москве одевался. В деле защиты двух англичан вопрос об одежде играл не последнюю роль.

Во вторник мы все явились к судье. Виленкин и я надели по этому случаю черные визитки, полосатые брюки, монокли и цилиндры. Наше появление произвело сенсацию.

Слушание дела началось скверно. Показания сыщика возымели действие. Унтер-офицер, грязный, небритый после трех дней тюрьмы, произвел неблагоприятное впечатление. Однако речь Виленкина оказалась шедевром.

Он строил свою защиту на том, что задержанные имели при себе крупную сумму денег, он подчеркнул все неправдоподобие того, что два столь замечательных члена морских сил Ее Величества рискнули бы своей карьерой ради нескольких носовых платков и пары носков. Всем известно, что англичане чистоплотны. Они моются. Они почитают чистое белье. Что удивительного в том, что они решили использовать остановку в Москве и позволили тебе роскошь ванны и чистого носового платка Сыщик перестарался. Дело имеет глубокое политическое значение. Англия и Россия теперь друзья — почти союзники. В один прекрасный день, — как скоро, никто не знает - они, возможно, будут сражаться бок о бок. Взвесил ли судья то тяжелое впечатление, которое произведет несправедливое решение на нынешнее благоприятное состояние англо-русских отношений. Другие страны, другие нравы. И в качестве доказательства того, что английские обычаи непохожи на русские, он пригласил в суд очень занятого человека — и. о. британского генерального консула.

Я вышел вперед со всем достоинством, на которое был способен и принес присягу.

— Обычное ли это в Англии явление, что порядочные люди заходят в магазин, выбирают на прилавке товары, кладут в карман выбранное и лишь после этого производят расчет? — задал вопрос Виленкин.

— Да

— Случалось ли Вам поступать также?

— Да, — ответил я, не моргнув.

Унтер-офицер покинул суд с незапятнанной репутацией. Но в этот вечер все газеты вышли со следующим заголовком: «Британский генеральный консул присягнул, что в Англии покупатели кладут товары в карман раньше, чем заплатят за них».

Однако моя репутация пережила этот сарказм. Я не много узнал свою Москву.

Для Виленкина это не являлось трудным достижением. Считавшийся всеми щеголем в мирное время, он во время войны показал себя иудейским львом. И действительно он был самым храбрым евреем, какого я когда-либо видел. Он был одним из первых, ушедших на войну добровольцев. Благодаря физической храбрости и недюжинному уму он был вскоре произведен в прапорщики. За отличие в бою он получил Георгия. С моноклем и гладко выбритый в мирное время, он отрастил себе на войне великолепную бороду и усы. Когда произошла первая революция, он отдался душой и сердцем задаче убедить своих солдат продолжать войну. Его ораторский талант выдвинул его на пост товарища председателя армейского комитета, и это он привел в С.-Петербург военные части, подавившие первую большевистскую попытку переворота в июле 1917 года. После большевистской революции 7 ноября 1917 года он примкнул к Савинкову и участвовал почти во всех заговорах против нового режима. Его пренебрежение опасностью доходило до безрассудной смелости, и я несколько раз предупреждал его о том риске, которому он подвергается. В июле 1918 года он был арестован в Москве как контрреволюционер. Он оказался в числе первых жертв официального террора, когда в порядке репрессий против покушения на жизнь Ленина 1 сентября 1918 года большевики расстреляли семьсот своих политических врагов.

В течение весны и начала зимы 1914 года моя жизнь протекала деятельно и интересно. Я имел достаточно работы, чтобы не нуждаться. Мой интерес к России и ко всему русскому перешел почти в манию, и моя честолюбивая мечта сделаться самым осведомленным консульским чиновником в России была на пороге осуществления. Я гордился тем, что австрийский генеральный консул попросил наш годичный отчет (в основном написанный мной) для списывания его и выдачи в качестве своего. В прошлом он всегда оказывал эту честь своему германскому коллеге. Однако, если я проявлял признаки слишком большой самостоятельности, Бейли всегда призывал меня к

порядку. Такова уж моя судьба, что мной всегда кто-нибудь помыкает. Мои удовольствия были очень ограничены — немного тенниса, случайная партия на бильярде и воскресный отдых на даче. Все же я не считал себя несчастным. Моя семейная жизнь была спокойна и безоблачна. Хотя я был последним человеком, за которого женщина должна была выйти замуж, брак принес мне много хорошего.

В июне 1914 года мне пришлось опять до отказа повозиться с официальными приемами. Адмирал Битти и избранная верхушка командного состава Первой эскадры линейных крейсеров нанесли официальный визит Москве. Моложавая внешность самого юного из адмиралов со времени Нельсона чуть ли не заставила меня совершить служебную оплошность. В парадном мундире и шляпе с плюмажем я по поручению Бейли отправился на вокзал встретить поезд и приветствовать Битти. Это была моя первая встреча с флотскими, и я мало был знаком со знаками отличия различных чинов морской службы. На платформе я встретил градоначальника, губернатора, командующего войсками и других русских должностных лиц, которым я должен был представить адмирала. Поезд подошел, и из специального вагона вышел оживленный молодой человек, выглядевший не старше меня самого и которого я, разумеется, принял за флаг-адъютанта Битти. Я продолжал ожидать выхода великого человека, и в течение этого времени произошла неудобная пауза. Паузе положил конец мой предполагаемый флаг-адъютант.

— Здравствуйте, — сказал он, — я — Битти. Представьте меня и скажите, с кем я здороваюсь.

Мне стало жарко и холодно. Когда я ему впоследствии рассказал о своем смущении, он рассмеялся и принял это как комплимент.

В свою защиту я должен сказать, что русские были также поражены юношеским видом Битти.

Визит этот имел огромный успех. Сопровождавшие Битти офицеры, в том числе адмиралы Хальсей, Брок и некоторые другие, имена которых стали во время войны общеизвестными, внесли свежую струю в московскую жизнь. Их гладко выбритые румяные лица внесли в знойную атмосферу московского лета нечто новое и необычное. Квадратная челюсть Битти и надетая набекрень фуражка предоставили обильную пищу московским карикатуристам, которые были весьма довольны представившемуся случаю противопоставить достоинства

английского флота недостаткам своего собственного. Триумф достиг апогея во время выступления Битти на банкете, который давал ему город в Сокольниках, в большой палатке. После скучных речей ряда ораторов английский адмирал встал и голосом, которого не мог бы заглушить шторм, сказал речь, взволновавшую до крайности тяжелых на подъем москвичей. До тех пор они никогда не видели адмирала, у которого не было бы бороды до колен. Военная мощь Великобритании быть может незначительна, но британский флот на недосыгаемой высоте. Теперь я часто удивляюсь, почему лорд Битти не занялся политикой. Такой голос, как его, разбудил бы даже пребывающих в спячке членов Палаты лордов. Это было блестящее выступление, и визит в огромной степени содействовал поднятию английского престижа.

После этого наступила трагедия с быстротой орла, бросающегося с поднебесья на свою добычу безжалостная по своим последствиям. 28 июля был убит эрцгерцог Франц-Фердинанд, и если Лондон чувствовал себя в без опасности, то Москва с первой же минуты учуяла что взошла алая заря войны. Именно в это время и в моей семье произошла трагедия. В июне моя жена ожидала ребенка. Я собирался отправить её домой и даже написал своей бабушке, надеясь, что она согласится обеспечить необходимую финансовую помощь. Ответ получился сухой и решительный. Сама она рожала своего первого ребенка под переселенческой фурой в Новой Зеландии. В этих случаях место женщины около её мужа.

Врач, рекомендованный жене, был немец по фамилии Шмит, приятный симпатичный старик, давно переживший свои лучшие дни. У меня были сомнения и мне хотелось договориться с русским врачом. Однако англичанки, проживавшие в Москве, были крайне предубеждены против русских врачей. Шмит знал английский язык, и жена остановилась на нем.

Роды начались 20 июня и продолжались всю ночь. Несмотря на свою неопытность, я скоро понял, что роды трудные. Это была одна из самых знойных ночей, какие я пережил в Москве или где бы то ни было, и в течение бесконечных часов я стоял у открытого окна, курил папиросу за папиросой и старался не терять хладнокровия. В три часа утра Шмит вошел в комнату.

— Трудно, очень трудно, — вздохнул он, — нужен еще один врач.

Он дал мне номер, и я бросился к телефону. Казалось, прошло много часов. Я опять возобновил свое стояние у окна, прислушиваясь к стуку дροжек на мостовых. После нескольких ложных тревог доктор приехал. Это был молодой человек, чьи уверенные движения внушали доверие. Затем он скрылся в спальнoй, и снова воцарилась мертвая тишина. В пять часов все было кончено. Наша кухарка Катя прошла через комнату, вытирая платком глаза. Вышел и молодой врач.

— Мать жива, — сказал он серьезно, — но девочка не выживет.

Быстро он рассказал мне подробности. Роды были трудные. Жена страшно ослабела, и пришлось прибегнуть к помощи инструментов. Если бы его пригласили раньше...

— Ребенок умер, — прошептал я. Он утвердительно кивнул. Как во сне, я распорядился подать врачам кофе и печенье и, как во сне, я проводил их к выходу. Затем я сел и стал ожидать утра. В семь часов моя теща позвала меня в комнату, которая должна была стать детской. Ребенок лежал в люльке. Они одели его в те платица, которые для него вышивала жена в течение месяцев. Он выглядел так свежо, что было трудно представить себе его мертвым. Чепчик, надетый на головку, скрывал роковое повреждение черепа.

Машинально я приступил к дневной работе. Я позвонил Бэйли, чтобы сказать ему, что случилось. Я позвонил пастору, чтобы договориться с ним о похоронах, и днем направился на Садовую заказать гробик. Когда я проходил мимо Эрмитажа, ко мне подошла проститутка. Я прошел, но она последовала за мной. Молчаливо я протянул ей пять рублей. На минуту наши глаза встретились. Затем она повернулась и убежала. Она, вероятно, приняла меня за сумасшедшего.

Двумя днями позже я совершил длинную «прогулку» на немецкое кладбище с гробиком на коленях. Солнце беспощадно светило с безоблачного неба, но я не ощущал жары. Рядом хоронили 70 летнего англичанина. Я стоял среди чужих мне людей в тот момент, когда пастор читал отходную, и оба гроба — человека, который прожил свою жизнь, и безымянного ребенка — были опущены в общую могилу.

В течение всего знойного июля, когда жена лежала больная и сначала опасность угрожала ее жизни, а за тем рассудку, я усиленно трудился в генеральном консульстве, желая заглушить работой свои мысли. Дни проходили за днями и чувствовалось, что напряженное ожидание

русских усиливается и постепенно переходит в грозный ропот. Почему Англия не выступает? Наступил август. Десятки людей ежедневно справлялись по телефону о причинах этого и, не получая ответа, ворчали и грозили. В течение длинных дней военные части в полном боевом снаряжении с песнями маршировали по улицам, оставляя за собой облака пыли. Сердце России пылало войной. 5 августа, в среду утром, я совершил свою обычную прогулку из дома в генеральное консульство. На углу улицы, расположенной против нашего помещения, стояла толпа демонстрантов, мешавшая мне войти. Пел хор, и возбужденные голоса вызывали генерального консула. Внезапно кто-то в толпе узнал меня. «Дорогу британскому вице-консулу!» — крикнул он. Сильные руки подняли меня и перенесли через головы толпы в генеральное консульство в то время, как тысячи голосов гремели «Да здравствует Англия!». Бородатый студент расцеловал меня в обе щеки. Англия объявила войну Германии. Еще один день проволоочки, и демонстранты стали бы бить наши окна.

Книга III. ВОЙНА И МИР

События принесли нам великую эпоху, но великий момент нашел мелкое поколение.

ГЁТЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мои воспоминания об этих первых месяцах войны, проведенных в Москве, замечательно живы, хотя сегодня, в свете последующих событий, они напоминают скорее странный сон, чем действительность. Слишком велик контраст между 1914-м и 1932 годом. Мне приходится закрывать глаза, чтобы восстанавливать в памяти энтузиазм тех далеких дней. Снова я вижу эти трогательные сцены на вокзале: войска, серые от пыли и тесно размещенные в теплушках; огромная толпа народу на платформе, серьезные бородатые отцы, жены и матери, бодро улыбающиеся сквозь слезы и приносящие подарки, цветы и папиросы; толстые священники, благословляющие счастливых воинов. Толпа бросается вперед для последнего рукопожатия, последнего поцелуя. Вот раздается пронзительный свисток паровоза, затем после нескольких неудачных попыток перегруженный поезд, как

бы нехотя отходящий, медленно уползает со станции и исчезает в сером полусвете московской ночи. Молчаливо и с опущенными головами толпа остается без движения, пока последний слабый отзвук песни людей, которым не суждено более вернуться, окончательно замирает вдали. Потом под присмотром жандармов все спокойно выходят на улицы.

Я ухожу, преисполненный надежды, которая заглушает голос рассудка. Такой России я никогда не знал, Россия, вдохновлённая патриотизмом, корни которого, казалось, уходили глубоко в почву. Кроме того, это была трезвая Россия. Продажа водки была прекращена, и волнующее религиозное чувство заменило пьянство, которое в минувших войнах было характерным при отъездах русских солдат.

Среди буржуазии был тот же энтузиазм. Жены богатых купцов соперничали друг с другом в пожертвованиях на госпитали. В государственных театрах давались торжественные спектакли в пользу Красного Креста. Был как бы пир национального чувства. Каждую ночь в опере и балете оркестр императорских театров играл национальные гимны России, Англии, Франции и Бельгии, выслушивавшиеся стоя, в порыве экзальтированного патриотизма. Затем, особенно когда число союзных гимнов приняло размеры крикетного счета, порыв рассеялся, и толстопузые москвичи стали вслух брюзжать по поводу того, что приходилось стоять около часу. Но в эти великие недели 1914 года русскому патриотизму было чем питаться. В самом деле, война началась выступлением русских войск, при опубликовании сообщении о продвижении русских войск Москва во всё горло выражала свою радость. Если в тот момент и были пессимисты, они не возвышали свой голос.

Революция не казалась даже отдаленной возможностью, ибо с первого дня войны каждый либерально настроенный русский надеялся, что победа принесёт с собой конституционные реформы.

Правда, в С.-Петербурге крупные русские успехи вызвали скрытые насмешки по поводу неудач франко-британских операций. В гостиных шептались о трусости англичан, а германофилы острили о решении Англии сражаться до последней капли русской крови. В Москве, однако, клеветников не слышно было, радость по поводу русских побед умерялась сочувствием Франции и Англии.

В самом деле, что касается России, то сердцем Антанты была Москва. Всякий раз, когда Бейли или я появлялись в публичном месте, мы были предметом оваций. В «Летучей мыши» Никита Балиев выходил на авансцену и, указав на нас, говорил: «Сегодня вечером среди нас находятся представители нашего союзника Англии». Оркестр играл английский гимн, и вся публика вставала и аплодировала. Мы делали вид, что нам неприятно это необычайное внимание, клялись друг другу, что больше не пойдём, но приходили так часто, как позволяла скромность. Нет границ тщеславию даже великих людей, а Бейли и я были лишь двумя совершенно обычными смертными.

10 сентября мы прибыли в парадной форме на торжественный спектакль по случаю взятия Львова. Я пришел с грустью в сердце. Германские силы были на Марне, и судьбы Парижа были брошены на весы. Мои братья были во Франции, а я принимал здесь участие в чествовании русской победы. В театре офицерские мундиры составляли блестящую рамку для драгоценностей и дорогих нарядов женщин. Шел «Орленок» Ростана в русском переводе. Бейли и я сидели в ложе около сцены, прямо против ложи, занятой французским генеральным консулом. Во время первого акта французского консула вызвали из ложи. Он отсутствовал некоторое время. Вернулся, видимо, взволнованным. Занавес опустился, но свет не зажигался. В одно мгновение атмосфера стала напряженной. Русские одержали новую победу. Они взяли 100 000 пленных. Они взяли Перемышль. В темной зале неистовствовали слухи. Затем зажглись огни рампы, музыканты заняли свои места, и молодая 18-летняя девушка, дочь председателя Французской торговой палаты, вышла на сцену. В своем белом платье, с лицом, свободным от всякой косметики, золотоволосая, она очень напоминала архангела Гавриила. В дрожащих руках она держала листок бумаги. Присутствующие замерли в выжидательном молчании. Затем, трепеща от волнения, девушка начала говорить: «Следующая официальная телеграмма только что получена из французской Главной квартиры». Она остановилась, как будто язык ее прилип к горлу. Слезы покатались по ее лицу. Затем, резко повышая голос, она прочла сообщение: «Счастлив объявить Вам о победе по всему фронту. Жоффри».

Огни заблистали. Девушка убежала со сцены, и под громкие аплодисменты оркестр загремел «Марсельезу»; мужчины целовались, женщины улыбались и плакали в одно и то же время. Затем, когда

оркестр прервал музыку, произошло чудо. С галерей слышался топот марширующих ног и 400 французских резервистов дружно подхватили припев. На следующий день они отправлялись на французский фронт и пели «Марсельезу» со всей страстностью латинского темперамента. Картина получалась эпическая. Это был последний случай, когда Россия чувствовала полную уверенность в исходе войны.

Взятие Львова затушевало страшное поражение под Танненбергом. Но Танненберг должен был повториться, и если русские могли держаться против австрийцев почти до самого конца, то уже тогда было ясно, что они не могут устоять против немцев. Фактически Танненберг был прелюдией русской революции. Он был для Ленина вестником надежды. За него ухватилась тайная армия агитаторов на заводах и в деревнях; гибель головки русского командования внесла колебания в боевой дух народа, который по своей природе и вследствие суровости русского климата всегда был неспособен к какому-либо длительному усилию.

Разумеется, переход от оптимизма к пессимизму совершился не сразу, и, хотя на русском фронте не было такой неподвижности, как на французском, все же были длительные периоды монотонной бездеятельности.

Упадок духа фактически был постепенным, и, когда выяснилось, что война стала затяжной, жизнь стабилизировалась. В Москве, которая была далека от линии фронта, буржуазия не унывала. Правда, было мало попыток к экономии и пожертвованиям. Не было движения общественного мнения против рвачей, а «окопавшиеся» могли найти приют в организациях Красного Креста без опасности прослыть трусами. Театры и места развлечения процветали, как в мирное время, и в то время как пролетариат и крестьянство были лишены водки, подобные ограничения не были наложены на имущие классы. Для пополнения их частных запасов вина требовалось разрешение, но, так как жизнь вздорожала, а русские чиновники получали маленькое жалованье, разрешение было легко получить. В ресторанах разница была в том, что спиртные напитки наливали из чайника, а не из бутылки. Когда же контроль стал менее строгим, исчезла и необходимость в чайниках.

С другой стороны, огромное и исключительно важное дело обеспечения армии нужной сетью госпиталей и заводов проводилось

так называемыми общественными организациями, представленными Союзом городов и Союзом земств. Без этой помощи русская военная машина оказалась бы испорченной гораздо раньше, чем это имело место. Но вместо стимулирования этого патриотического усилия и поощрения общественных организаций во всех областях их деятельности, русское правительство делало все возможное, чтобы препятствовать и понижать их активность. Нужно сказать, что общественные организации обладали политическим честолюбием, были настроены либерально и явились поэтому угрозой самодержавию. **Вероятно, и Союз городов, и Союз земств контролировались либералами, на которых С.-Петербург смотрел с большим недоверием.** К тому же их главной квартирой была Москва, которая никогда не пользовалась расположением императора.

Но как бы то ни было, в начале войны их энтузиазм был единодушным, а политические домогательства, которые появились впоследствии, были прямым результатом политики постоянных булавочных уколов. Трагедией России было то, что царь находился под влиянием женщины, которая была во власти одного стремления — передать самодержавие непоколебленным своему сыну, и никогда не оказывала доверия общественным организациям. Тот факт, что Москва постепенно оказалась вовлеченной во внутреннюю политическую борьбу сильнее, чем в войну, был следствием преимущественно этой фатальной тупости царя. И хотя его лояльность по отношению к союзникам осталась незапятнанной до конца, несостоятельное стремление ограничить лояльность своего собственного народа стоило ему впоследствии трона.

Лично для меня эта первая зима 1914/15 года была периодом грусти, облегчавшейся лишь непрерывной усердной работой. Моя жена медленно поправлялась от своей болезни. Ее нервы были расстроены, и она должна была отправиться в русскую санаторию, опыт, который принес ей мало пользы и которого я никогда не сделал бы, если бы был лучше осведомлен о русских санаториях. Мы оставили свою прежнюю квартиру и на время поисков новой заняли меблированную квартиру одних наших друзей, отправившихся в Англию. Мои дни, а часто и ночи были полностью поглощены консульской работой, которая более чем утроилась во время войны. В частности, блокада и многочисленные постановления о контроле ввоза и вывоза требовали огромной счетной работы, которую я делал почти один. Москва тоже превратилась в

важный политический центр, а так как Бейли почти полностью возложил на меня получение политической информации, время мое было совершенно занято. Другой трудностью моего положения было безденежье. Роды моей жены стоили дорого. В новых условиях положение наше изменилось, наши социальные обязанности возросли. Деловые круги, а **Москва была главным торговым городом России**, процветали от щедро раздаваемых выгодных военных поставок; жизнь вздорожала, и мы оказались в несравненно худшем положении сравнительно с русскими и с нашей собственной английской колонией. Более того, война автоматически привела к концу мои заработки журналиста. Мне не разрешали писать о войне. Английские же газеты интересовались только ею.

Приятным нарушением монотонности нашего существования в то время было посещение Гуго Вальполя который прибыл в Москву вскоре после начала войны и который оставался с нами в течение нескольких месяцев. Он был частым посетителем нашего дома, и его непоколебимый оптимизм был благодеянием для моей жены. В то время он уже написал несколько книг, в том числе «Силу», и уже упрочил свой успех. При этом он был совершенно неиспорченным, обладал еще способностью краснеть и производил на меня впечатление скорее большого и неуклюжего школьника, полного кротости и энтузиазма, чем прославленного писателя, мысли которого воспринимались с благоговением и уважением. Мы, за исключением Бейли, сердечно приняли его, и он отвечал на нашу дружбу неизменной симпатией и благожелательством. У Бейли он имел меньше успеха. Бейли был тогда болезненным, циничным и властным человеком. Он не верил энтузиастам. Еще меньше любил он споры. Гуго, энтузиазм которого по поводу русских успехов не имел границ, любил рассуждать и имел свои собственные суждения. Он раздражал Бейли, и я думаю, что чувство раздражения было взаимным.

Когда Гуго покинул нас, он отправился на фронт в качестве санитаря при Красном Кресте. Впоследствии он стал главой Бюро британской пропаганды в С.-Петербурге. С самого начала он решил использовать возможно лучше свое пребывание в России. Несомненно, оно принесло ему пользу. Его приключения на фронте породили «Темный лес». Его опыт в С.-Петербурге вдохновил его на «Тайный город».

Мой дневник показывает, что в то время я мало выходил из дому и все свободное время посвящал чтению. В течение двух последних недель января 1915 года я прочел «Войну и мир» по-русски. Иногда я ходил на балет или в цирк с Вальполем. Я был с Гуго, когда впервые встретился с Горьким в «Летучей мышь» Никиты Балиева. В эти дни «Летучая мышь» была излюбленным местом литературной и артистической Москвы. Ее представления начинались не раньше окончания театральных представлений, и многие артисты и артистки появлялись там, чтобы поужинать, а также чтобы посмотреть представление. В начале своего существования «Летучая мышь» была своего рода клубом Московского Художественного театра, а сам Балиев был членом труппы, но оказался как артист не на высоте этой строгой школы. Теперь его труппа так же хорошо известна в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, как раньше она была известна в России, но, по моему мнению, представления потеряли много в смысле приятной интимности прежних московских дней, ибо тогда не было оторванности между артистами и публикой. **Кстати, Балиев — армянин и происходит из ранее богатой семьи.**

Горький произвел на меня сильное впечатление как своей скромностью, так и своим талантом. У него необыкновенно выразительные глаза, и в них сразу можно было прочесть сочувствие человеческим страданиям, которое является преобладающей чертой его характера и которое в конце концов привело его после длительного периода оппозиции в объятия большевиков. Теперь Горький пишет против буржуазии и против умеренных социалистов с гораздо большим ядом, чем самый свирепый чекист Москвы, но, несмотря на эти литературные выпады, я отказываюсь допустить, что он утратил свое основное доброжелательство, которое в прошлом он никогда не забывал проявлять в любом случае, который возбуждал его сострадание. Ни один человек, когда-либо видевший Горького с детьми, с животными и с молодыми писателями, не поверит, что он может причинить зло или страдания хоть одному человеку.

С Шаляпиным я также впервые встретился в «Летучей мышь». За час до этого я видел его в опере «Борис», в которой он участвовал и в которой являл королевское величие с манерами крупного аристократа и с руками, как у венецианского дожа. Однако все это было театральным трюком, поразительным примером того драматического таланта, по поводу которого Станиславский всегда говорил, что Шаляпин был бы

величайшим в мире актером, если бы он решил оставить пение и перейти в драму. Вне сцены он был мужиком, с мужицким аппетитом и большими крепкими руками сына земли. Горький рассказывал забавную историю о Шаляпине. В молодости они оба бродили по Поволжью в поисках работы, в Казани странствующий импресарио искал местные таланты для пополнения хора. Ему нужны были тенор и бас. Два бедно одетых кандидата вошли в его убогую контору; им устроили экзамен. Импресарио выбрал тенора, но забраковал баса. Тенором был Горький, басом был Шаляпин.

Москва, где антигерманские настроения были всегда сильнее, чем в С.-Петербурге, кишела слухами о германских интригах в высших сферах. В начале моего дневника за февраль 1915 года помещено следующее: «Сегодня телефонировал один офицер и спросил, когда же Англия избавит Россию от немки. Это, несомненно, относилось к императрице; мое собственное замечание было следующим: «Вот уже третий раз на этой неделе мне задают подобные вопросы». Теперь это случалось гораздо чаще, чем в предшествующие месяцы. Как раз к этому времени относится наиболее популярный московский военный анекдот. Царевич сидит и плачет в коридоре Зимнего дворца. Генерал, покидающий дворец после аудиенции, останавливается и гладит мальчика по голове.

— Что случилось, мальчик?

Царевич отвечает, улыбаясь сквозь слезы:

— Когда бьют русских, плачет папа. Когда бьют немцев, плачет мама. Когда же мне плакать?

Подобные рассказы ходят по всей стране и вредно отражаются на настроениях рабочих и крестьян. Москва жила анекдотами и слухами, и, хотя мания выискивания шпионов никогда не достигала таких размеров, как в Англии или во Франции, все же было немало преследований евреев и русских немецкого происхождения. Однако не все анекдоты были направлены против самодержавия. Кайзеру тоже доставалось от остроумия московских юмористов. Некоторые из этих анекдотов слишком грубы, чтобы их можно было передать, другие известны. Все же один, я думаю, будет новинкой для английского читателя. Зимой 1915 года кайзер посетил Лодзь и, чтобы привлечь к себе местное население, произнес речь. Разумеется, его аудитория состояла преимущественно из евреев. Он ссылаясь в своей речи

сначала на всемогущего Всевышнего, затем на самого себя и, наконец, на самого себя и на Бога. Когда речь была закончена, наиболее влиятельные из евреев собрались в углу, обсуждая положение.

— Этот человек нам подходит, — сказал главный раввин, — в первый раз вижу христианина, который отрицает святую троицу.

Сколь странными и неправдоподобными кажутся эти анекдоты сегодня! Тогда же они, однако, были ходким товаром любого сплетника и главным времяпрепровождением всякого салона.

ГЛАВА ВТОРЯ

Я говорил, что Бейли был болезненным человеком. Недостаток моциона (неизбежное зло московской зимы) и усиленная работа подорвали его здоровье, и в апреле 1915 года он осуществил свое намерение возвратиться в Англию и подвергнуться операции, которая уже давно была ему необходима. Со свойственной ему добротой он настоял на предоставлении мне недельного отпуска перед своим отъездом. Это был мой последний праздник в России, и я наслаждался каждой его минутой. Покинув Москву, все еще скованную зимой, **я прибыл в Киев, колыбель русской истории** и священный город православной церкви. Когда я проснулся после ночи, проведенной в поезде, я увидел зеленые поля и прекрасные белые домики, сверкающие в теплых солнечных лучах. Мой спутник, возвращающийся на фронт офицер, приветствовал меня с улыбкой. «Вы полюбите Киев. Вы найдете в нем лучшие настроения, чем в Москве, не говоря уже о Петербурге». Я был в отличном настроении и потому был готов верить каждому. Но он действительно оказался прав. В Киеве несмотря на обилие раненых, военный дух был сильнее чем в Москве. В самом деле, вплоть до самой революции, чем ближе к фронту, тем более оптимистическим было преобладающее настроение. Все лучшее России (разумеется, также и некоторые худшие элементы) было в траншеях. **Тыл, но не фронт разлагал страну.**

Подъезжая к Киеву, мы остановились на довольно значительное время на промежуточной станции. Поезд, перевозящий австрийских пленных, стоял на соседнем пути. Пленные, по-видимому, неохранные, вылезли из своих теплушек и разлеглись на шпалах, наслаждаясь первым теплом южного солнца, пока не возобновился их длинный путь в Сибирь. Бедные ребята. Они выглядели

изголодавшимися и были очень плохо одеты. В Москве известие о взятии в плен стольких-то тысяч человек всегда вызывало во мне горячее ликование. Здесь, лицом к лицу с самими несчастными, я мог думать только об одном. Американский генеральный консул Снодгрэс, который защищал германские интересы в России, в ярких красках описал мне ужасные условия, господствовавшие в русских концентрационных лагерях. С глубоким состраданием в сердце я спрашивал себя, многие ли из этих бедных, которые радуются, что они попали в плен, и не знают, какая судьба ждет их впереди, вернутся к себе на родину. Пока я стоял у открытого окна, словно посетитель зоологического сада, рассматривающий невиданного зверя, один из пленных начал петь интермеццо из «Сельской чести». Это был кроат; весна согрела его сердце, возбудила в его памяти родину — Далмацию. Он не обращал никакого внимания на русских — пассажиров поезда. Он пел для собственного удовольствия, и он пел так, как будто сердце его готово было разорваться. Я не узнал, кто он такой. Вероятно, это был тенор из Загребской оперы. Но действие его голоса на этой крошечной станции, с лежащими за ней зелеными полями и фруктовыми садами было волшебным. Его товарищи перестали играть камушками, лежавшими на линии. Русские из нашего поезда встали со своих мест, стоя у окон в молчаливом восторге. Затем, когда он кончил, и австрийцы, и русские единодушно принялись ему аплодировать в то время, как из вагонов на пленных посыпался град папирос, яблок и сладостей. Певец с важностью поклонился и отвернулся. Затем раздался свисток, и мы тронулись в путь.

Я прибыл в Киев в полдень в Страстную Пятницу и провел вечер, бродя по городу и обозревая церкви, которых в Киеве почти так же много, как и в Москве. Затем, чувствуя себя усталым и одиноким, я лег в постель в девять часов. На другой день я встал рано. Солнце освещало комнату, и я принял решение наилучшим образом использовать свою временную свободу. Я уподобляюсь американцам по своей страсти к осмотрам, и осмотрел Киев со всей тщательностью типично американского туриста. После Москвы было приятно увидеть горы и настоящую реку. Погода была прекрасная, улицы полны русскими, делавшими предпраздничные покупки в еврейских лавках. **Несмотря на большое количество церквей, Киев в большей степени еврейский, чем христианский город.** Все вокруг как бы улыбалось. Новости с австрийского фронта, для которого Киев является базой, все еще были

хороши. Перемышль пал всего несколько недель тому назад, и оптимизм окружающих делал меня счастливым.

После завтрака я нанял дрожки и отправился на Владимирскую горку, где оставил извозчика и взобрался на гору, чтобы посмотреть открывающийся оттуда вид. В Англии или в Америке частный предприниматель выстроил бы здесь гостиницу или санаторий. Русские воздвигли статую святого Владимира, которая стоит возвышаясь над Днепром, с большим крестом в руке. **Днепр — величественная река, гораздо более величественная, чем Волга, и совершенно непохожая ни на одну из ранее виденных мною рек.** После более чем трехлетнего пребывания на равнине без гор и моря, он показался мне более красивым, чем, может быть, показался бы теперь.

Затем я отправился вниз к цепному мосту, чтобы посмотреть на город с равнины. Как это ни странно, вокруг Киева, выстроенного на группе холмов, простирается такая же плоская равнина, как и вокруг Москвы. Пароходы с белыми крышами уже ходили по Днепру. Деревья только что распустились. Сирень цвела, и по сторонам дороги пестрели лютики. Расположенный на высоком берегу реки Киев напомнил мне Квебек, и если Квебек красивей по своему расположению, то Киев превосходит его красотой своих строений.

Вечером я пришел в святую Софию ко всенощной. В Москве мои посещения церквей имели место только по таким официальным случаям, как рождение или тезоименитство императора. Я всегда бывал в форме и стоял среди избранных на отгороженном месте, достаточно далеко от более незаметных молящихся. Здесь, в Киеве, я был в такой густой толпе, что некоторые люди падали обморок. Несмотря на это я остался до конца, приняв участие в крестном ходе и был вовлечен в волнующий подъем духа обширных масс крестьян и паломников.

Паломников, замечательно красочных издали, было огромное количество, и в пасхальный понедельник я пошел посмотреть на них в знаменитую Киево-Печерскую лавру, которая наряду с Троице-Сергиевой лаврой под Москвой, является наиболее чтимым из святых мест России. Солнце грело так сильно, что я был вынужден вернуться обратно и снять пиджак. Когда я прибыл в собор, служба уже началась, и на монастырском дворе стояли тысячи солдат. Паломники, старые

бородатые мужчины с бесцветными глазами и совершенно ссохшиеся старые женщины, закусывали во дворе. В самой церкви я нашел пожилого мудреца, с удовлетворением жевавшего в углу корку черного хлеба. Он казался в высшей степени счастливым. Из церкви я отправился в подземелья, холодные и не производящие впечатления подземные ходы, где лежали кости забытых святых. Перед каждым гробом находилась кружка для сбора пожертвований, около которой сидел священник, и когда хромящие паломники неловко засовывали туда свои копейки, священник наклонялся над мощами умершего святого и пел «Молись Богу за нас». Дрожа от холода, вышел я на солнечный свет и сел на траву над обрывом! Там три слепых нищих, сидя в трех шагах друг от друга, с большим или меньшим успехом читали вслух Евангелие. Один молодой человек, не старше 25 лет, был одет в солдатскую форму. Если он потерял зрение на войне, каким образом он столь скоро усвоил брайлевскую азбуку. Если нет, то почему на нем солдатская форма? Я не решился нарушить его душевный покой, задав нетактичный вопрос, и предпочел смотреть на него как на живого представителя той святой России, которая в эти великие дни войны вызвала волнуемые симпатии моих сограждан.

Немного дальше, на берегу, цыган с попугаем предсказывал солдатам судьбу. Попутай был хорошо выдрессирован и мог сосчитать сдачу до 30 копеек. Предсказателей и священников было так много, что, неудивительно, многие солдаты и паломники уходили с пустыми карманами. То, что оставалось, перепало старому арфисту, который под собственный аккомпанемент распевал гнусавым голосом кавказские народные песни. Все было очень мирно, очень безобидно и очень благонаравно. И паломники, и солдаты стояли удовлетворенные, вознагражденные полностью за свои издержки.

В Киеве у меня не было приключений: однако об этой неделе у меня осталось более живое воспоминание, чем о каком-либо другом эпизоде за время войны. Может быть, благодаря чарам солнечного света, контрасту с напряженностью моей московской жизни, пребывание в Киеве оставило во мне столь яркое воспоминание. Разумеется, продолжительное возбуждение может стать таким же монотонным, как самое спокойное прозябание, и в последующие три года только самые яркие моменты оставались в моей памяти.

Погода изменилась, и дождь лил как из ведра, когда я уезжал из Киева. Вокзал был унылой пустыней, я посмотрел назад через железнодорожный мост и был благодарен городу, который блистал своими самыми веселыми красками специально для меня. Однако мне было тяжело от мысли, что я покидаю юг, солнечный свет и улыбающихся, веселых украинцев для холодного и жестокого севера. Я был несправедлив к Москве и великороссам. **После переворота Киев стал центром самых крайних жестокостей революции, а украинцы - исполнителями наиболее грубых жестокостей.**

На обратном пути я имел незначительное приключение, которым обязан беспечности русских или их равнодушию к принятым на западе условиям. Со мной в купе ехала дама. Она была очаровательна и в течение первого же часа рассказала мне всю свою жизнь. Она была известной певицей и, собрав значительное состояние, вышла замуж за гвардейского офицера. После шести лет супружеской жизни, он выстрелил в нее в припадке ревности. Пуля попала ей в шею. После этого она лишилась возможности петь. В ее обществе часы шли незаметно, и было поздно, когда я лег спать. Ничего романтического, однако, в нашей поездке не было. Хотя она прекрасно выглядела для своего возраста, ей было уже за шестьдесят.

Вскоре после моего возвращения в Москву Бейли уехал в Англию в отпуск по болезни, и в возрасте 27 лет я вступил в должность, которая вскоре приобрела значение одного из самых важных заграничных постов.

Его отъезд меня не обрадовал и не огорчил. Я заменял его и раньше, когда он отлучался для инспекторских поездок. Я думал, что он вернется обратно примерно через месяц. В его отсутствие дела шли как всегда.

События, однако, должны были продлить время моей ответственной работы. Я вернулся из Киева в Москву, полную слухов и разочарований. Дела на германском фронте шли плохо. Русское наступление на австрийцев было сломлено. Недавно начались мощные контратаки, и беженцы стали стекаться в города, до крайности переполняя их. От моих знакомых (социалистов) я получил тревожные донесения относительно недовольства и беспорядков в деревнях среди призывников. Раненые не желали возвращаться обратно. Крестьяне возмущались тем, что их сыновей отрывали от полей. Мои друзья —

англичане в провинциальных текстильных предприятиях - все более и более беспокоились по поводу социалистической агитации среди рабочих. Она была в такой же мере направлена против войны, как и против правительства. В Москве произошел голодный бунт, и помощник градоначальника был избит. Сандецкий, командующий московским военным округом, суровый старый патриот, ненавидевший немцев, был снят со своей должности и на его место был назначен генерал-губернатором князь Юсупов, отец молодого князя, впоследствии принимавшего участие в убийстве Распутина. **Единственной причиной увольнения Сандецкого был, по слухам, его излишний патриотизм. Императрица, которая была неутомима в своих попечениях о раненых, дарила русским солдатам иконы, а австрийским и германским пленным деньги. Не знаю, насколько это верно, но мне передавали, что Сандецкий протестовал в высших сферах против поблажек военнопленным и впал в немилость.** Атмосфера стала нездоровой. Уверенность в русском оружии уступила место уверенности в непобедимости немцев, и в различных слоях московского населения стала проявляться резкая злоба против германофильской политики, приписывавшейся русскому правительству. Пресловутый русский «паровой каток», выдуманный англичанами (кстати сказать, одно из самых неудачных сравнений) испортился.

Ясно, положение требовало действия, и я поставил перед собой и выполнил две задачи, над которыми я работал еще до отъезда Бейли. Одна состояла в длинном докладе о беспорядках на фабриках, с изложением из первоисточника целей социалистов. Вторая — политический доклад о положении в Москве. Он был выдержан в пессимистическом тоне и указывал на возможность серьезных волнений в ближайшем будущем. Затем с некоторым страхом я послал их послу. Я получил личное благодарственное письмо с просьбой, чтобы политические доклады превратились в регулярную часть моей работы.

Мои предсказания о беспорядках получили полное подтверждение в ближайшие две недели. 10 июня большой антигерманский бунт вспыхнул в Москве, и в течение четырех дней город был во власти толпы. Каждый магазин, каждая фабрика, каждый частный дом, принадлежащий немцу или лицу, имеющему германскую фамилию, были разграблены и опустошены. Загородный дом Кноппа, крупного

русско-германского миллионера, который больше всех содействовал созданию в России хлопчатобумажной промышленности, импортируя английские машины и привлекая английских директоров, был сожжен до основания. Толпа, обезумевшая от вина, которое она раздобыла при разгроме винных магазинов, принадлежавших лицам, имевшим германские фамилии, не знала пощады. Я получил сведения, что среди жертв были и русские подданные, а в некоторых случаях лица, которые несмотря на немецкие фамилии не знали ни слова по-немецки. На фабрике Цинделя, в наихудшем промышленном районе, директор, говоривший по-немецки, стрелял в толпу и был убит на месте. Я вышел на улицу, чтобы видеть бунт своими глазами. В течение первых 24 часов полиция не могла или не желала что-либо предпринимать. Пожары возникли во многих частях города, и, если бы был ветер, мог бы повториться пожар 1812 года. Я остановился на Кузнецком Мосту и стал наблюдать, как хулиганы грабили самый большой московский магазин роялей. Бехштейны, Блютнеры, большие и маленькие рояли, пианино летели одно за другим из различных этажей на землю, где огромный костер довершал разрушение. Треск падающих деревянных предметов, свирепые языки пламени и хриплый вой толпы сливались в оглушительный грохот, который прекратился не сразу даже после того, как вызвали войска.

На третий день, после непродолжительной стрельбы, власти оказались в состоянии восстановить порядок. Не впервые после 1905 года толпа почувствовала свою силу. Она вошла во вкус.

Во время бунта погибло много имущества, принадлежавшего английским подданным; я тогда же немедленно отправился к полицмейстеру и князю Юсупову, генерал-губернатору, дабы заявить официальный протест. Я нашел несчастного полицмейстера в полной прострации. Он понимал, что его будут считать ответственным, как оно в самом деле и было. Он был смещен в 24 часа. Князь Юсупов, один из самых богатых помещиков России, был в ином положении. Он был в резкой оппозиции тому, что он называл германофильской «квашней» в С.-Петербурге, и он был склонен считать, что бунт окажет хорошее действие на пассивное правительство.

Вскоре после этого князь Юсупов ушел в отпуск и не вернулся на свой пост. Интересно объяснение его увольнения, или, как он сам говорил, его отказа вернуться. После бунта он пригласил к обеду генерала

Климовича, нового полицмейстера, и графа Муравьева, губернатора Московской губернии. Через два дня **Джунковский**, товарищ министра внутренних дел и глава тайной полиции, вызвал Муравьева по телефону из Петербурга и сказал ему:

— Два дня тому назад Вы обедали с Юсуповым.

— Да.

— Вам подали стерлядь и шо-фруа из куропаток.

— Да.

— Вы сравнивали московских и петербургских женщин?

— Да.

— Вы пили «Мутон-Ротшильд» 1884 года.

— Да, — сказал удивленный Муравьев, — но откуда же, черт возьми, Вы все это знаете?

— А как же, — ответил Джунковский, — Климович только что прислал мне подробный доклад.

Муравьев передал историю Юсупову, который сердито воскликнул, что он не привык к тому, чтобы за ним шпионил его помощник, и заявил, что он не вернется в Москву, пока Климовича не уберут.

Климович остался, а Юсупов больше не возвратился. Возникновение московского бунта покрыто тайной, но я всегда считал, что московский генерал-губернатор достоин порицания за то, что он вначале допустил антигерманскую демонстрацию, которую, очевидно, считал полезной, и не вмешался сразу, когда положение приняло опасный оборот.

Следствием этого печального события, было приглашение от посла прибыть к нему в Петербург. Оглядываясь назад, на минувшие годы, мне трудно восстановить в памяти то волнение, которое охватило меня, когда я получил это послание. Вице-консулов, даже временно исполняющих должность генерального консула, не каждый день вызывают к послу для консультации. В течение одной тягостной минуты я взвесил, не было ли ошибочным в каком-либо отношении ведение мною дел или не являюсь ли я в какой-либо мере ответственным за то, что случилось. Я решил вопрос в свою пользу и укрепил свою растущую самоуверенность. Осторожности ради я посетил Михаила Челнокова, московского городского голову, и моих

лучших друзей в России, чтобы собрать последнюю политическую информацию. Затем, уложив свой чемодан, я отправился на вокзал, где незаменимый Александр раздобыл мне отдельное купе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Несмотря на то что в России я пробыл три года, это было мое первое посещение С.-Петербурга. Тогда же я впервые увидел сэра Джорджа Бьюкенена³. Хотя я теперь ненавижу все города, новый город всегда производит на меня впечатление. В одном отношении С.-Петербург не разочаровал меня. Это действительно гораздо более красивый город, чем Москва, и вид — особенно зимой из английского посольства, которое занимает, или занимало, благородное положение на реке против Петропавловской крепости, сказочно красив. Но даже летом, в период белых ночей, С.-Петербург всегда представлялся мне серым и холодным. Под его прелестной наружностью скрывалось унылое сердце. Никогда я не любил его так, как Москву.

Прибыв ранним утром, я отправился в старую гостиницу «Франция», тщательно привел себя в порядок, позавтракал, а затем пошел в посольство через Дворцовую площадь. Я испытывал ощущение беспокойного опасения, как будто мне предстояло посещение зубного врача. Как шотландец, я иногда пытаюсь помочь моему низшему, сравнительно с англичанином, существу путем притворного презрения к его интеллектуальным недостаткам. В присутствии иностранцев по самоуверенности — я лев. Хвастливое чванство американцев только увеличивает во мне сознание моей значительности. В присутствии русских я всегда чувствую себя «grand Seigneur». Но мягкая и скромная надменность англичанина сводит меня на уровень разоблаченного глупца. Я думаю, что это сознание своей ничтожности, которое во мне сейчас сильнее, чем когда бы то ни было, появилось с того дня, когда я впервые вошел в подъезд английского посольства.

Когда я поднимался по широкой лестнице, на верху которой посол обычно принимал своих гостей и на которой три года спустя несчастный Кроми должен был быть подстрелен и затоптан насмерть большевистскими солдатами, я чувствовал себя, как школьник перед

³ Джордж Уильям Бьюкенен (1854-1924) посол в России в 1910 -1918 гг. (Прим. ред.)

учителем. Я повернул налево, и меня провели в небольшую приемную, откуда вела дверь в коридор.

Здесь меня встретил **Эвери**, канцелярский служащий, замечательный человек, **обладавший всем презрением англичанина к иностранцу**, и склонность которого к брюзжанию может сравниться только с добротой его сердца. Мне дали стул и предложили обождать. По мере того как время шло, чувство предвкушаемого удовольствия сменилось все увеличивающимся волнением. Единственный член посольства, с которым я был знаком, был военный атташе полковник Нокс. Но он отсутствовал. Посол не назначил время беседы со мной. Несомненно, все были очень заняты. Может быть, я должен был сначала позвонить, чтобы условиться о часе приема. Я стал нервничать и беспокоиться. Высшая сверхчувствительность натуры была моим несчастьем в течение всей жизни. Она, и только она виновата в моей незаслуженной репутации дерзкого человека, которой я пользовался в течение моей карьеры, и которая позднее была причиной тому, что один из очень высоких чиновников Министерства иностранных дел назвал меня «наглым школьником». Никогда эта чувствительность не делала меня в такой степени ни беспомощным, как в те бесконечные четверть часа, которые я провел в обществе Эвери.

Наконец открылась большая белая дверь, появился высокий, атлетически сложенный и красивый человек. **Это был «Бенджи» Брюс, глава канцелярии, вечный и неизменный любимец каждого посла, при котором он когда-либо служил.** Сообщив мне, что посол примет меня через пять минут, он провел меня в канцелярию и познакомил с другими секретарями. Впоследствии я ближе познакомился с ними и оценил их достоинства, но мое первое впечатление было, что я попал в машинописное бюро. В неудобном тесном помещении, заставленном столами, сидели с десяток молодых людей, занятых перепиской и зашифровкой. Они хорошо работали и «Бенджи» Брюс мог писать на машинке так же быстро, как любой профессиональный переписчик, и зашифровывал и расшифровывал с изумительной быстротой. Здесь сидели молодые люди, образование каждого из которых стоило несколько тысяч фунтов стерлингов, выдержавшие трудный экзамен. Однако, в разгар великой войны, во время которой их специальные знания могли принести большую пользу их стране, в течение бесконечных часов были заняты работой, которая могла бы быть также хорошо выполнена простым клерком. Эта система, ныне, к

счастью, оставленная, была типичной для бедности мышления, царившего в Уайтхолле в течение, во всяком случае, первых двух лет войны. **Каждая миссия, а в России их, вероятно, было десятка два, получала почти неограниченные суммы от казначейства.** Профессиональные дипломаты, которые, каковы бы ни были их недостатки знают свою работу лучше, чем любители, были оставлены при своих обязанностях, как в мирное время, не столько вследствие опасности разглашения тайн, сколько потому, что такой порядок существовал в течение поколений и потому, что в департаменте личного состава министерства не было никого с достаточной гибкостью ума и мужества, чтобы настаивать на изменении этого порядка. И неудивительно, что после войны многие из молодых дипломатов, утомленные этой бессмысленной работой, подали заявления об отставке. Брюс относится к ним. Человек усердный и привлекательный, прекрасный знаток языков, крепко дисциплинированный и с действительным организационным талантом, он прекрасно управлял своей канцелярией. Хотя он был слегка упрям, как полагается ирландцу, он служил своим различным начальникам с страстной преданностью и лояльностью. Когда он вскоре после войны вышел в отставку, Министерство иностранных дел, может быть, потеряло самого способного из своих молодых дипломатов.

После того как я минут двадцать проморгал в канцелярии, пришел Эвери и объявил, что посол свободен. Когда я вошел в большой кабинет, в котором затем имел столько бесед, навстречу мне вышел щедушный человек с утомленным выражением глаз. Его монокль, его тонкие черты лица и его прекрасные серебристо-серые волосы придавали ему вид, напоминающий театрального дипломата. Однако не было чего-либо искусственного в его манерах или в нем самом, а только большая привлекательность и чудесная сила возбуждать доверие, которую я сразу ощутил.

Его обращение было таким приветливым, что моя нервность моментально прошла; в течение часа я разговаривал с ним, сообщил свои опасения и беспокойство по поводу создавшегося положения, недостаток снарядов, скрытую пропаганду против войны, растущее во всех классах населения недовольство правительством и ропот против самого царя. Он казался удивленным, «я думал, что в Москве гораздо более здоровая атмосфера, чем в С.-Петербурге», — сказал он грустно. Так оно и было, но я понял, что до этого он переоценивал московский

патриотизм. Я поколебал веру, которая, может быть, никогда не была особенно сильна.

Я был приглашен к завтраку и был представлен жене посла. Она была женщиной с сильными симпатиями и антипатиями, причем она мало старалась их скрывать и в течение нескольких месяцев каждый раз, когда я приезжал в С.-Петербург, она неизменно встречала меня замечанием: «Вот идет пессимист мистер Локкарт». Все же во всех других отношениях она не проявляла ко мне ничего кроме благосклонности, и, хотя я никогда не умел совершенно превозмочь свою врожденную робость, я считал себя в числе счастливых, пользовавшихся ее расположением. По отношению к сэру Джорджу она была всем тем, чем должна быть жена, заботясь с исключительным вниманием об его здоровье, управляя домом с точностью часового механизма и никогда не нарушая той пунктуальности, которую посол довел почти до мании. Она была большая женщина, и ее сердце было пропорционально ее объему.

Здесь не место давать отчет о деятельности в России сэра Джорджа Бьюкенена, но мне приятно отдать должное этому человеку. Всякий англичанин, занимавший официальное положение в России в годы войны, неизбежно сталкивался с критикой, которая всегда сопровождает неудачу. А в глазах англичан развал России в 1917 году был величайшей неудачей. Поэтому они усиленно ищут козлов отпущения среди своих соотечественников. Клеветники не пощадили сэра Джорджа Бьюкенена ни в России, ни в Англии. Мне приходилось слышать слова министров о том, что, если бы мы имели в России более крепкого посла, революции можно было бы избежать. Имеются русские, которые с черной неблагодарностью обвиняли сэра Джорджа Бьюкенена в том, что он подстрекал к революции. И то, и другое совершенно вздорные обвинения. Конечно, русское обвинение является особенно жестокой и беспочвенной клеветой, которая, к стыду лондонского общества, повторялась без опровержений в лондонских салонах русскими, пользовавшимися гостеприимством в высоких сферах. Это поношение не может быть оправдано никакими личными страданиями. Сэр Джордж Бьюкенен был человеком, все существо которого противилось революции. Когда пришла революция, он отказался встречаться, и действительно никогда не встречался ни с одним человеком, который ответствен за свержение царизма, и

никогда, ни лично ни через своих подчиненных не поощрял домогательств таких лиц.

Понятно, он был бы человеком, лишенным проницательности, если бы он не сумел предвидеть приближавшейся катастрофы, и его обязанностью было, если бы он был встревожен, предостеречь русского самодержца об опасности, надвигавшейся на него. Он предпринял эту трудную задачу в своем известном разговоре с императором. Я видел его как раз перед тем, как он отправился к царю. Он сообщил мне, что, если царь примет его сидя, все пойдет хорошо. Царь принял его стоя.

Утверждение Уайтхолла, что более крепкий посол мог бы предотвратить конечную катастрофу, основывается на полном незнании традиций русского самодержавия. **Презрение к иностранцам характерно для английской расы**, но в этом отношении позиция Джона Буля является снисхождением по сравнению с надменным безразличием петербургского общества к человеку, стоящему вне их круга. **Русская аристократия, не очень родовитая и ведущая жизнь более роскошную, чем культурную**, жила в своем замкнутом мире. Звание посла не открывало перед ним дверей. Если он нравился как человек, его приглашали всюду. Если нет — его не желали знать. Это не было снобизмом. Русская аристократия была также гостеприимна, как и другие слои русского общества. Но она делала свой собственный выбор лиц, пользующихся ее гостеприимством, и иногда она была поразительно не разборчива. Во время войны молодой лейтенант управления британской военной цензуры, вероятно, бывал более часто в высоких сферах, чем все члены посольства, вместе взятые.

Аристократия исповедовала самодержавие как религию. Оно было скалой, на которой было построено ее собственное благополучие. В ее глазах император был единственным настоящим монархом в мире, и в своих собственных интересах она была готова всегда рассматривать всякую попытку иностранных дипломатов оказать на него влияние как посягательство на императорскую власть. Наиболее активными членами бюрократического мира были балтийские бароны — класс даже сегодня приросший своей шкурой к реакции. В войне они видели прежде всего опасность для самодержавия и смотрели со скрытым недоверием на Англию — колыбель конституционной монархии.

Кроме того, несмотря на всю свою слабость, сам император противился иностранному влиянию и подходить к нему нужно было с особенным тактом. Он, как и его приближенные, оскорбился бы всякой попытке английского дипломата откровенно с ним поговорить.

Задача сэра Джорджа Бьюкенена была поэтому исключительно трудна. Он должен был преодолеть политический предрассудок против Англии, который все еще оставался после прежних политических разногласий. Он должен был принять в соображение особую подозрительность правящего класса. Утверждение, что он был нерешительным человеком потому, что он действовал столь осторожно, совершенно не соответствует всему его характеру. Он был назначен в посольство в С.-Петербурге благодаря прекрасной работе в Софии, и я сомневаюсь в том, чтобы на британской дипломатической службе был другой человек, который столь же хорошо понимал характер славян. Если даже он не был человеком выдающегося ума (он обладал недоверием шотландца к блеску), у него была замечательная интуиция и большой запас здравого смысла. Русской сметливости он противопоставлял полнейшую честность и искренность, сдерживаемую осторожностью. Он пользовался полным доверием Сазонова, наиболее положительного из царских министров. В широких кругах русского народа на него смотрели как на человека, стремящегося к общей победе всех союзников, неспособного к интригам против России. Я нарочно говорю «в широких кругах русского народа», ибо ошибочно думать, что сэр Джордж Бьюкенен был непопулярен в русском обществе. **За исключением германофильских кругов у него было много почитателей среди русской аристократии.** Лишь уже после революции знать стала роптать против него, ища в нем козла отпущения за свой собственный провал и ширму, которой они хотели прикрыть свою несдержанную болтовню против императора. В большей степени, чем все резолюции Союзов земств и городов, в большей степени, чем вся агитация социалистов, открыто выраженная критика со стороны великих князей и высокопоставленных аристократов, подорвала авторитет императорского трона. Если история англо-русских отношений за эти знаменательные годы будет рассматриваться в ее последовательности, то будущие поколения поймут, с каким огромным трудом сэр Джордж Бьюкенен удерживал Россию в состоянии войны. Понятно, я не могу представить себе большего несчастья для судеб Англии, чем английского посла в С.-

Петербурге, играющего перед императором роль маленького Наполеона из Уайтхолла.

Как начальник сэра Джордж Бьюкенен был очарователен, — человек, в котором все мысли о себе были поглощены высшим чувством долга. Его персонал обожал его, и, когда он совершал свою ежедневную прогулку в русское Министерство иностранных дел, надев шляпу не сколько набок, его высокая худощавая фигура, слегка сгорбленная, словно под тяжестью забот, вызывала в каждом англичанине ощущение того, что сам посол так же, как и здание посольства— частица Англии.

Если имеется какая-либо особенность его характера, которую я должен подчеркнуть, то это его бодрость как физическая, так и моральная. Физически он не знал значения слова «страх». Морально — он полностью торжествовал над тем, что я считал естественной склонностью к линии наименьшего сопротивления, и становился без малейшего колебания лицом к лицу с положениями и беседами, которые внушали ему отвращение.

Со мной он был неизменно добр. Вследствие незначительности моего положения я мог видеть людей, с которыми ни он, ни другие члены его персонала не могли встретиться. Таким образом, я был в состоянии давать ему сведения, которые, если они только были достоверны, представляли для него некоторую ценность. Многие послы, получая обычно такую информацию, включали ее, когда это требовалось, в свои собственные депеши. Это не было свойственно сэру Джорджу. Он не только всячески поощрял меня как в письмах, так и в личных беседах, но и посылал мои доклады в Англию в Министерство иностранных дел, часто сопровождая несколькими словами одобрения. В результате я приобрел в Лондоне полное доверие к своей работе, и во многих случаях получал личные одобрительные письма сэра Эдварда Грея. Я немного возгордился. Я стал более люто сражаться с департаментом личного состава за расширение канцелярии и увеличение ставок. Но к сэру Джорджу я был преисполнен благодарности и уважения, которое всегда должно было бы сопровождать благодарность.

Впоследствии я лишился его благосклонности, заняв после большевистской революции позицию против интервенции. Но, за исключением лорда Мильнера, из всех людей, с которыми мне

приходилось работать, ни один не внушал мне такого чувства любви и преклонения, как он, и я рад, что успел перед его смертью помириться с ним.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я вернулся в Москву довольный своим приемом у посла, ободренный его просьбой оставаться с ним в тесном контакте и приезжать в С.-Петербург, как только будет нужно обсудить какой-нибудь важный вопрос. Я ничего никому не сказал о своем визите; но грозный Александр не был столь скромн, и вскоре я обнаружил, что в глазах чиновников и политиков мой престиж значительно вырос. По-видимому, из уст Александра история пошла дальше и в главных комитетах Всероссийского земского союза и Союза городов широко стало известно, что Его Превосходительство, исполняющий обязанности британского генерального консула (Александр всегда добавлял исполняющий обязанности) регулярно ездит в С.-Петербург совещаться, а может быть, и давать совет Его Высокопревосходительству (в России послы величались Их Высокопревосходительством) британскому послу.

В течение лета 1915 года я укрепил свою дружбу с Михаилом Челноковым, московским городским головой, бывшим товарищем председателя Государственной думы. **Челноков** — великолепный образец московского купца — седобородый, патриархальный, широкоплечий, не смотря на свою хромоту выглядел мужественнее большинства своих соотечественников. Хотя он был на двадцать лет старше меня, мы стали близкими друзьями, и **через него я не только познакомился со всеми московскими политическими деятелями — с князем Львовым, Василием Маклаковым, Мануйловым, Кокошкиным и многими другими, но также получил экземпляры многочисленных секретных резолюций, вынесенных такими организациями, как Московская городская дума, Земский союз, главой которого являлся князь Львов и Союз городов, душой которого являлся сам Челноков.** Иногда я даже имел возможность получать в Москве из этого же источника экземпляры секретных резолюций, вынесенных кадетской партией в С.-Петербурге или такие документы как письмо Родзянко премьеру, и раньше всех доставлять их нашему посольству в С.-Петербурге. Эти мелкие успехи, естественно,

увеличили мою репутацию откапывателя новостей. Через Земский союз и Союз городов я приносил кое-какую пользу военному ведомству. Земский союз и Союз городов, несмотря на препятствия, которые им чинило правительство, больше всего напоминали наше Министерство снабжения. От князя Львова и Челнокова я регулярно получал последние цифры по военной продукции.

В течение двух с половиной месяцев отсутствия Бейли, я основательно окопался в Москве. Я получил благодарность министра иностранных дел. Я был *persona grata* для военных кругов в Москве. Посол прислал за мной. В конце июля должен был вернуться Бейли. Я чувствовал, что он будет доволен, и я буду удовлетворен, зная, что хорошо сделал свою работу. Казалось, все шло хорошо.

Однако наступил новый кризис. События на русском фронте шли из рук вон плохо. Отступления из Галиции и от Карпат отразились не сильно на Москве, если не считать увеличения числа раненых; иначе обстоял вопрос с наступлением на Варшаву. Неделями в Москву лился поток польских беженцев. 19 июня пришла телеграмма от Грова, извещающая меня, что Варшава эвакуируется и что оставшиеся там члены британской колонии выезжают немедленно в Москву. Три дня спустя он приехал; в тот же день я получил телеграмму от Бейли, сообщающую, что он назначен генеральным консулом в Нью Йорк и возвращается в Москву уложить свои вещи. Я ничего не имел против Грова. Если тут и было честолюбие, то я его не признавал. Но я должен признаться, что этот двойной удар привел меня в замешательство. Если Бейли едет в Нью-Йорк, совершенно очевидно, что Гров займет его место в Москве. Говоря откровенно, мне вовсе не хотелось вернуться после Бейли к режиму Грова.

30 июля приехал Бейли, имея в своем кармане пакет с сюрпризом. Все мои опасения кончились. Гров должен был быть переведен в Гельсингфорс. Я же оставлен во главе московского генерального консульства. Бейли сообщил мне, что вслед за его назначением в Нью-Йорк министерство назначило нового генерального консула в Москве. Однако сэр Джордж Бьюкенен запротестовал, заявив, что я проделал неоценимую работу и было бы ошибкой тормозить мою деятельность, подчинив начальнику, который не мог так хорошо знать ситуацию, как я. Бейли сказал мне с неподдельной радостью, что Министерство иностранных дел очень довольно мною. Я попытался сделать

равнодушное лицо. Хотя я ровно ничего не предпринимал для удовлетворения своих собственных притязаний, тем не менее у меня были угрызения совести по поводу Грова, которому предстояло горькое разочарование. Но в глубине души я ликовал. Еще не достигнув двадцати восьми, я уже собственными заслугами поставлен во главе одного из наиболее важных генеральных консульств во время войны. Некоторое количество самомнения хорошо в молодом человеке. Если не считать честолюбцев и разбойников, оно скоро улетучивается.

Около недели я неотступно был с Бейли, помогая ему разобраться в делах, организуя его прощальные обеды и принимая от него генеральное консульство. Английский клуб устроил ему блестящие проводы; мы в свою очередь организовали официальный прием в генеральном консульстве, на котором каждый обменивался с Бейли подарками. Я получил массивный портсигар, который храню поныне.

Речь Александра явилась довольно тяжелым испытанием для присутствующих, открыв последние шлюзы глубокого душевного волнения даже у Бейли (мои секретарши обе плакали, и только старый клерк Фриц, латыш, был невозмутим). В лирических тонах он указывал на Бейли и меня как на два блестящих примера для русских, каким должен быть чиновник и заявил о своем твердом намерении покинуть Москву, если я уеду. Напыщенность речи Александра была как раз хорошим тормозом для моих слезных желез. Все же я был полон печали в связи с отъездом Бейли. Он был для меня скорее отцом, чем начальником. Он был сама доброта во время болезни моей жены. То, что он был мне предан и искренне хотел моего продвижения, хотя он снисходительно относился к моей беспечности, не помешало мне, однако, черпать прекрасные советы из запаса его мудрости. Я терял не только друга, но союзника, в подлинном смысле слова, единственного союзника в городе с двумя миллионами жителей. Увы! Больше я его никогда не видал.

Его совет, состоящий главным образом из одного поучения соблюдать одиннадцатую заповедь, пока я состою на службе, упал на бесплодную почву

Падение Варшавы было трагическим завершением неудачной летней кампании 1915 года. Это был удар которого нельзя было скрыть даже от масс и который совершенно естественно усилил пессимизм и разговоры о мире. Люди типа Челнокова и Львова были довольно

крепки; их корни уходили в землю. Но зато политиканы были возбуждены, их нервность распространилась, как влажный туман, и охватила половину населения. Ужасные слухи о том, что русские сражаются в окопах, вооруженные одними палками, просочились с фронта в тыл. Ни пожилой человек, ни молодой новобранец не испытывали ни малейшего расположения идти на убой; в промышленных центрах, как Иваново-Вознесенск, вспыхнули антиправительственные забастовки, сопровождавшиеся в нескольких случаях стрельбой.

Как обычно власти изобрели противоядие, чтобы разрядить общественное волнение. 23 августа, когда мрачные настроения достигли апогея, Москва кишела слухами, исходившими, по-видимому, из официальных источников, что союзники форсировали Дарданеллы. Днем одна из московских газет вышла с большим заголовком: «Официальное сообщение: Дарданеллы взяты». Затем следовало подробное описание бомбардировки проливов с полным перечислением потерь и перечислением названий судов. По получении этих известий большая толпа собралась на улицах. Народ становился на колени на Тверском бульваре благодарить Бога за славную победу. Началась манифестация перед генеральным консульством. Напрасно я старался разъяснить толпе, что известие ложное. «Официальное сообщение!», — кричали газетчики, и голос мой тонул в криках «ура». Позже, вечером толпа стала буйствовать, и около памятника Скобелеву произошла демонстрация против полиции, которая кончилась, как обычно, атакой конных жандармов.

Следующий день был днем всеобщего разочарования по поводу ложного известия. Я вместе с моим французским коллегой отправился к полицмейстеру с требованием привлечения к ответственности издателя и редакторов, опубликовавших это известие. Он принял нас с обычной чиновной елейностью. Он уже предвосхитил наше негодование и закрыл газету до конца войны, мы выразили ему свою благодарность. Я был весьма удивлен, обнаружив после этого заявления, что газета продолжает выходить, изменив свое название: «Вечерние новости» на «Вечернюю газету». Во всех других отношениях она была идентичной со своей предшественницей. Заголовки и шрифт были те же. Вчерашний, провинившийся редактор, подписал сегодняшнюю передовицу. Я выругался и махнул рукой на полицию. Позже мне удалось узнать, что утка о победе была выпущена по

уговору с полицией, чтобы дать выход общему возбуждению. Я никогда не претендовал на знание психологии царской полиции. Однако я решительно отказываюсь поверить в ее умение работать и честность. Страшная «Охрана» из повести Ситона Мерримена, была мифом, пугавшим скорее страшным своим именем, чем своей осведомленностью. Это было учреждение, которым управляли тупицы и пройдохи, причем на 10 тупиц приходился один пройдоха. С наступлением осени приближавшаяся трагедия России все больше угнетала меня. Предстояли события похуже падения Варшавы. Но та же слабость характера, делающая русских неспособными к длительному усилию, притупляла их пессимизм. Ни один из москвичей не умел долго предаваться отчаянию. И действительно, когда удар следовал за ударом, местный патриотизм воспрянул опять, и, если в Петербурге мало кто верил в русскую победу, Москва провозгласила лозунг, что **война не может быть выиграна, пока не будет устранено из столицы влияние темных элементов**. Этот момент кладет начало первой из многих резолюций, требующих образования Кабинета национальной обороны, или общественного доверия. Вначале эти требования были сравнительно умеренными. Москва была готова принять законных царских министров, а именно таких людей, как Кривошеин, Сазонов, Самарин, Щербатов и другие, которые не были связаны с политическими партиями в Думе. На этой стадии царь мог бы довольно легко, не выходя за пределы обычного круга, из которого он выбирал своих советников, сформировать новый кабинет, удовлетворявший общественное мнение. Если б он своевременно дал шестидюймовую реформу, царь мог бы спасти те ярды, которые разочарованная страна спустя некоторое время взяла силой. Те, однако, кто стоял ближе к нему, видели вещи в ином свете. Они говорили ему, что любая уступка была бы истолкована как слабость и что аппетит на реформы только разыграйся бы. Это было самым неотразимым аргументом, и поэтому тем, кто больше всех старался для дела русской победы, царь ответил роспуском Думы, отставкой Великого князя Николая Николаевича, отставкой Самарина, Щербатова, Джунковского - трех министров, которые в этот момент были наиболее популярны в Москве.

Роспуск Думы вызвал обычные забастовки и протесты. Но принятие на себя Верховного командования самим царем было первым верстовым столбом по дороге на Голгофу. Это была наиболее роковая из многих ошибок несчастного Николая II. потому что в качестве

главнокомандующего он нес в глазах народа личную ответственность за длинный ряд поражений, которые теперь стали совершенно неизбежными благодаря технической отсталости России.

Отставка Самарина и Джунковского явилась косвенным следствием одного эпизода, молчаливым свидетелем которого я был сам. В один летний вечер я вместе с несколькими англичанами был в «Яре», самом роскошном ночном ресторане Москвы. Пока мы в главном зале смотрели программу, в одном из соседних кабинетов поднялся сильный шум. Дикие женские крики, ругань мужчин, звон разбитых стаканов, хлопанье дверьми слились в адский хор. Лакеи бросились вверх. Метрдотель послал за полицией, которая всегда дежурила в больших ресторанах. Полиция суетилась, лакея чесали затылки и совещались. Причиной беспорядка оказался пьяный скандаливший Распутин; ни полиция, ни администрация не осмеливались вывести его. Городовой позвонил участковому надзирателю, тот полицмейстеру. Полицмейстер позвонил Джунковскому, который был товарищем министра внутренних дел и начальником всей полиции Джунковский, бывший генерал и человек с характером, отдал распоряжение арестовать Распутина, который, в сущности, не был даже священником, а самым обыкновенным гражданином. После того как он в продолжение двух часов мешал всем веселиться, его увели ближайший полицейский участок; по дороге он выкрикивал ругательства и угрозы. На следующее утро его выпустили по распоряжению свыше. В тот же день он выехал в Петербург. И в течение двадцати четырех часов Джунковский получил отставку. Отставка Самарина, последовавшая позже, произвела очень тяжелое впечатление. Дворянин, человек с прекрасной репутацией, он был обер-прокурором святейшего Синода и одним из лучших представителей своего класса. Его можно было обвинить в чем угодно, но не в отсутствии глубоко консервативных взглядов или преданности императору. Однако каждый либерал и социалист уважал его как честного человека, и тот факт, что император пожертвовал одним из своих самых верных слуг ради такого субъекта, как Распутин, был воспринят почти всеми в Москве как абсолютное доказательство бездарности царя. «Долой самодержавие», — кричали либералы. Но даже среди реакционеров были такие, которые говорили: «Если вы хотите, чтобы самодержавие процветало, дайте нам хорошего самодержца». Это был единственный случай, когда Распутин

встретился на моем пути. Однако время от времени я видел следы зверя в доме Челнокова, где городской голова показывал мне коротенькие напечатанные записочки, в которых просили устроить предьявителя сего на теплое местечко в Союзе городов. Записки были подписаны безграмотными каракулями «Г. Р.» — Григорий Распутин. Записочки неизменно выбрасывались стойким Челноковым. С наступлением зимы, а она была ранней в 1915 году, на фронте установилось затишье, а в связи с этим затишье и на политическом горизонте.

Мы с женой обедали в гостях шесть раз в неделю. Почти каждый день у нас к завтраку бывали гости — английские офицеры, генералы, адмиралы, полковники, проезжающие через Москву на пути в штабы различных русских армий. Раз в неделю жена принимала. Благодаря врожденному такту ей удавалось на этих приемах соединять волков с ягнятами. Она особенно была довольна, когда ей удавалось заполучить одного или двух социалистов.

Тем не менее приходили все — от коменданта Кремля, губернатора, полицмейстера и генералов Московского военного округа (**далеко не все генералы были хорошо расположены к правительству и местным властям**) до московских миллионеров, балерин, артистов и писателей, а также робких и отчасти неуклюжих политиков левого крыла. Насколько я припоминаю, на этих приемах не было никаких схваток, хотя в одном случае Саша Кропоткина, дочь старого анархиста князя Кропоткина, едва не подралась с графиней Клейнмихель по поводу отсутствия военного духа в С.-Петербурге. Это смешение раз личных групп москвичей было также полезно им, как и нам. Были разрушены перегородки, на которые до сих пор никто не покушался. Благодаря этому мы располагали самой разносторонней информацией.

Весьма оригинальным путем, когда был убит мой брат Норман в Лоосе, мне пришлось убедиться, что среди русских есть такие, сердца которых устремлены к победе. Известие о смерти я получил в начале октября. Мы были на прогулке за городом и обедали в «Эрмитаже». Жена отправилась домой переменить ботинки. Там она застала телеграмму и позвонила мне в ресторан.

Впервые случилось, что о смерти любимого человека я узнал без всякого предупреждения. Я не выдержал и тут же в телефонной будке горько заплакал. Я рассказал своим русским друзьям, что случилось, и

поехал домой. На следующее утро почти все московские газеты соболезновали о моем брате и о потерях, которые понесли шотландские войска. В течение ряда дней я получал соболезнующие письма от русских всех классов и состояний. Приходили многие такие, которых я ранее никогда не видел. Большинство из них кончало выражением уверенности в окончательной победе союзников.

Не следует думать, однако, что моя жизнь была сплошной трагедией. Забастовки, политическое недовольство, поражения стоят сегодня, как веши на большой равнине, но они не были в то время событиями повседневной жизни или даже значительной части моей ежедневной жизни. У меня были свои дела. Я присутствовал на заседаниях комитетов (британская колония имела много различных организаций для раненых и беженцев: по призыву новобранцев, по военному снабжению и т.д.) и занимался обыденной консульской работой, которая, независимо от моей политической работы, была основной. Некоторые мои неприятности были юмористическими, иные только раздражали. Я мог смеяться, когда жена мне звонила в консульство о том, что прислуга забастовала, или, вернее, отказывается идти в квартиру, потому что там ходит домовой, главный проступок которого состоял в том, что он бил ценную посуду. В действительности же редкая и дорогая икона сама упала, но так как моя жена стала на сторону прислуги, мне ничего не оставалось, как пригласить священника отслужить молебен. Тот пришел и за пять рублей обильно окропил домового святой водой. Дом был очищен, слуги возвратились, и, как это ни странно, подозрительный шум и битье посуды прекратились.

Менее забавным представлялись частые ссоры между членами консульства, аппарат которого значительно разбух с появлением британских беженцев из Варшавы.

Бейли оставил мне наследство в лице Франсиса Гринера, известного лондонского адвоката. Это был красивый старик, всегда хорошо одетый; его серебряные волосы и монокль придавали солидность персоналу консульства, в котором я был едва ли не самым младшим членом. Будучи в хорошем настроении, он был очарователен в своих манерах. Его работа также была выполнена пунктуально и хорошо. Но — и это было большое «но» — он был очень вспыльчив, обидчив, постоянно происходили сцены. Иногда он обижался на Александра,

задевшего его достоинство. Другой раз, на Ст. Клера, варшавского вице-консула, который состоял при мне. Будучи больше поляком, чем шотландцем, он гордился старинным шотландским родом, к которому принадлежал. Это были странные капризные люди. Сами оскорбляли других, но не любили, когда другие оскорбляют их. Мне думается, я с ними обращался хорошо; во всяком случае, когда живешь месяцами и даже годами в маленьком учреждении в весьма напряженной обстановке, когда видишь изо дня в день одни и те же лица, и очень сильные нервы могут сдать; а нервы Гринеппа и Ст. Клера были далеко не крепкими. Мне удавалось сглаживать трения между членами консульства. Хуже обстояло дело, когда злость Гринеппа изливалась на посетителей. Я старался, насколько это возможно, не выпускать его из его же кабинета; разумеется, я не мог запретить ему входить в главную канцелярию при исполнении обязанностей. В длинной цепи инцидентов два имели серьезные последствия. Однажды утром, когда я расшифровывал телеграмму, до меня донеслись из канцелярии сердитые пререкания. Из общего шума выделялся голос Гринеппа, дрожавший от ярости: «Делайте, что вам сказали, или убирайтесь».

Я выбежал вовремя, чтобы удержать моего вспыльчивого старика от физического насилия над английским артиллерийским майором, который побагровел от негодования.

— Скажите, вы возглавляете консульство? — обратился он, заикаясь, ко мне.

— Извольте извиниться, или я доложу о вас в Министерство иностранных дел. Этот человек оскорбил королевский мундир.

Гринепп стоял у конторки, указывая пальцем на портрет короля, который украшал стену.

— Снимите вашу шляпу, сэра, в присутствии Его Королевского Величества. Он упорно повторял свое требование. С помощью клерка Фрица, который был свидетелем всей сцены, я установил истину. Офицер в форме вошел в консульство в шляпе. Гринепп, проходивший мимо, указал на портрет короля и при этом сказал довольно вежливо: «Разве вы не видите королевского портрета? Здесь не вокзал». Офицер на это не обратил никакого внимания. Тогда Гринепп уже более настойчиво повторил свое требование, и тут страсти разгорелись.

Это был трудный случай. Фактически Гринеп был неправ, потеряв самообладание. Офицер, однако, проявил бестактность. Он отстаивал свои права, утверждая, что, войдя в консульство, он поступил правильно, не сняв фуражку.

Ввиду того, что он упрямылся, я не имел другого выбора, как уволить несчастного Гринепу, на что я, однако, не хотел бы идти отчасти потому, что он был мне предан и, во-вторых, это означало бы выбросить Гринепу на улицу. Я пытался смягчить офицера, не жертвуя Гринепом, но офицер был неумолим и требовал удовлетворения. Я отказал. Он ушел, обещая еще свести счеты. Я доложил об этом случае послу, разделив вину поровну и представив все дело, как результат расстройства нервов вследствие войны. Больше я об этом ничего не слышал, в таком образом, к счастью, для меня инцидент был исчерпан.

Более серьезным был аналогичный эпизод, в котором Гринеп резко обошелся с Балиевым, богатым армянином, братом знаменитого Никиты. В свободное время Гринеп для повышения своего заработка давал уроки богатым русским. Балиев был одним из его учеников. По-видимому, у них возникли какие-то недоразумения на почве платы. Как бы там ни было, Гринеп затаил обиду. Это проявилось, когда Балиев в один прекрасный день явился в консульство за получением визы; к несчастью, Гринеп опять находился в канцелярии, и вид богатого человека, который, как он считал, лишил его заработанных с таким трудом рублей, вывел его из равновесия, и я опять выступал в роли примирителя. На этот раз, однако, последствия оказались более серьезными. При инциденте были свидетели, и Балиев решил дать делу законный ход. По счастью, его адвокат находился в приятельских отношениях с нашим и был не в меньшей степени чем я озабочен предотвращением публичного скандала. Мы выработали такой компромисс, который мог бы удовлетворить задетое самолюбие Балиева и в то же самое время спасти Гринепу от увольнения. В конце концов Балиев согласился приостановить дело, если ему будет принесено публичное извинение в присутствии всего состава консульства, его самого и его адвоката. Текст извинения должен был быть набросан им самим.

Оно было длинное. В нем много говорилось о том, каким должно быть поведение джентльмена. Это была неприятная порция для любого из нас, а что касается Гринепу, то он за двадцать четыре часа до срока

отказался извиниться. Я пояснил ему, что ничего больше не могу для него сделать и что, если дело пойдет в суд, результат заранее ясен. Он должен будет уйти со службы. Наконец он согласился. Извинение было перепечатано, и я вместе с юристом установил процедуру его вручения. В канцелярии Фриц и три машинистки сидели как мумии за своими столами, у двери стоял Балиев со своим адвокатом. Когда все было готово, я прошел в комнату Гринеппа и привел его, сунув в руки текст извинения. Он был в лучшем своем костюме. Его волосы были тщательно приглажены. Монокль был прямо вставлен. Лицо его было, как у статуи. Только по дрожащей в его руках бумаге можно было судить о бешенстве, душившем его. — Могу я начать? — произнес он зловещим шепотом. Когда он читал этот идиотский документ, яркий румянец покрыл его щеки, и они стали такого цвета, как гребень у индюка. Толстый Балиев, самодовольный, смаковал унижение англичанина. Когда Гринепп кончил, он смерил взглядом своего врага, скомкал бумагу в своих руках и вышел из комнаты со следующими словами: «Нате подавитесь».

Сейчас эта сцена кажется довольно комичной и даже несколько недостойной моего положения, но в то время это было серьезным делом. В самом деле, способность Гринеппа вынашивать обиды была так велика, что он мог бы очень легко вовлечь генерального консула либо в скандал, либо в дорогую судебную тяжбу и, уж конечно, в смешное положение.

Однако были и компенсации. В ноябре 1915 года посол информировал меня письмом, что Министерство иностранных дел так довольно моей работой, что я буду оставаться во главе генерального консульства до конца войны. Я весьма удачно использовал это письмо для улучшения моего финансового положения, которое в связи с возрастающей ответственностью становилось все более затруднительным. В течение некоторого времени я вел ожесточенную переписку с Министерством иностранных дел. Мы были в разгаре войны. Мои расходы были гораздо больше расходов Бейли, и я не получил ни увеличения жалованья, ни ассигнования на консульство. Я привлек на свою сторону посла, который оказал мне сердечную поддержку. Вскоре вслед за этим он написал в Министерство иностранных дел: «Едва ли, в настоящий момент найдется еще где-либо более ответственный консульский пост, чем в Москве. Это промышленный и, в широком смысле, политический центр России. Вы можете судить по сообщениям

мистера Локкарта о прекрасной работе, проделанной консульством с момента отъезда Бейли».

Однако даже послы не могут нарушить невообразимую рутину департамента личного состава или казначейства. И не в закоснелом Уайтхолле, а в сердце моей бабушки письмо сэра Джорджа Бьюкенена нашло свой отклик. Почтенная леди, всегда восторгающаяся успехом, была обрадована похвалами посла. Я хорошо знал, как направить свою просьбу. Мой брат Норман дал нам всем хороший пример, когда он был еще учеником первого семестра в Мальборо. Перед своим днем рождения он писал своей бабушке следующее:

«Дорогая бабушка,

Надеюсь, что Вы здоровы. Я с большим удовольствием посещаю школу. Мой день рождения в ближайший вторник. Все мальчики имеют фотоаппараты и проводят время за фотографированием. Погода очень хорошая, и мы больше заняты хоккеем, чем регби. Я уже учу четвертый падеж, и мой классный наставник называется Тейлор. Его кличка «Трильби». Он пастор и страшно быстро читает молитвы. Я надеюсь, что Вы здоровы, дорогая бабушка и что Вам не холодно в Эдинбурге. На прошлой неделе я лучше всех сделал письменную работу.

Ваш любящий внук Норман.

Р. С. У меня нет фотоаппарата».

Имея хорошую сноровку, я мог сыграть лучшую мелодию на этой скрипке. Я нарисовал почтенной леди яркую картину о шотландцах в России, и об участии Брюсов, Гордонов и Гамильтонов в постройке Петербурга, и о выигранных Петром Великим сражениях.

Без нее я погиб бы в Москве. Я уверен, что это соображение не нарушит спокойного сна сотрудников департамента личного состава. Пусть они не думают, что я питаю к ним злобу. Уайтхоллская игра в волки ведется с тех пор, как боги живут на Олимпе, и она будет продолжаться во веки веков. В общем она ведется с обеих сторон без злобы. Я хотел бы только, чтобы в военное время приемы этой игры были смягчены.

ГЛАВА ПЯТАЯ

К концу 1915 года моя политическая работа увеличилась. Союзники были весьма серьезно озабочены ситуацией в России, и к моим другим работам прибавилась задача по приему и опеке различных миссий, высылаемых Францией и Англией для стимулирования русских к новым усилиям.

До сих пор у нас был небольшой список более или менее регулярных посетителей. В числе их были такие, как полковник Нокс (сейчас генерал сэр Альфред Нокс), сэр Самуэль Хоар, глава специальной миссии контрразведки, генерал сэр Джон Генбюри-Вильямс и адмирал сэр Ричард Филлимор, два британских представителя, прикомандированных к царской ставке, а также различные офицеры, прикомандированные к различным армиям на русском фронте. Из этих офицеров полковник Нокс, который провел много лет в России, был наиболее осведомлен в военных делах. Еще в начале войны он видел трещины в русской стене, и если союзники имели преувеличенное представление о русской мощи, то это произошло, во всяком случае, не по вине английского военного атташе. Вплоть до революции ни один человек не имел более трезвого представления о военном положении на восточном фронте и ни один иностранный наблюдатель не дал своему правительству более верной информации, чем он. Что касается прочих офицеров, то сэр Джон Генбюри-Вильямс был очаровательным и весьма популярным человеком. Адмирал Филлимор хранит лучшие традиции британского флота, упорно поднимаясь в семь часов утра или в 6 часов в стране, где никто не шевелился раньше девяти или десяти часов. Влияние его на русских было огромно и благотворно. Сэр Самуэль Хоар победил тысячи препятствий с тем же прилежанием и упорством, которые вознесли его до ранга министра. Его назначение в С.-Петербург не нашло одобрения в военных кругах. Трудно было понять, каким путем его миссия могла дополнять работу, проводимую другими английскими организациями. Он сам не обладал качествами, необходимыми для выполнения порученной ему работы, и, когда он приехал, я боялся трений и провала. Будь на его месте человек с меньшим тактом, мои предчувствия оправдались бы. Сэр Самуэль, однако, отдался своей задаче с неослабным и в то же время ненавязчивым энтузиазмом. Он изучил русский язык. Он работал неумолимо. Он поставил своей задачей встречаться с русскими всех классов. Он собирал свою информацию из многих источников и, в отличие от большинства других

офицеров разведки, он показал большое умение выискивать и отфильтровывать правду от вороха слухов. Короче говоря, он преуспел. Если бы в то время кто-нибудь предложил мне пари на то, будет или не будет сэр Самуэль лидером консервативной партии, или премьером Англии, я сознаюсь, без колебаний держал бы за то, что будет. Теперь, однако, я понимаю, что те же качества, которые он проявил в России в обстановке больших трудностей, не пошли на пользу его будущей политической карьере. Сэр Самуэль соединял в себе крупные способности, смелость, умение овладеть вопросом вместе с твердой и упорной волей. Если восемнадцать лет тому назад я поставил бы тысячу против одного, сегодня я бы не поставил больше, чем два к одному.

Как я уже сказал, эти лица были нашими постоянными посетителями. Этот список пришлось пополнить. Первой прибыла в Москву французская политическая делегация в Румынии. **Ее задачей было парализовать немецкие влияния в Бухаресте и вовлечь Румынию в войну.** Она состояла из Шарля Рише, выдающегося ученого, Жоржа Лякур-Гайда, историка, и М. Гавоти, бывшего владельца крупного французского журнала. Я много встречался со всеми тремя в течение их долгого пребывания в Москве, потому что, как это ни странно, делегация на несколько недель задержалась в Москве, раньше, чем смогла выехать на место своего назначения. Приезду делегации в Бухарест сопротивлялся, и долгое время небезуспешно, французский посланник в Румынии. Этот приезд весьма памятен для меня по трем причинам первая вполне похвальная, вторая чисто тщеславная, а третья слегка предосудительная, виновницей коей является моя жена. Говоря о первой, я имею в виду Рише, в котором я нашел величайшего гения и наиболее привлекательную личность, с которой мне когда бы то ни было приходилось встречаться. Только немногие из людей, которые кое-что понимали в делах во время войны, сохранили веру в теорию «великого человека». Большинство наших гениев умирают незнагражденными, но совершенно верно, что их редко можно найти на бесплодном поле современной военной политики. Рише, впрочем, один из тех гениев, который получил признание еще при жизни.

У него прекрасный простодушный, как у ребенка, характер. Первый конструктор современного аэроплана, поэт и выдающийся писатель прозы, он получил Нобелевскую премию за труд по медицине.

Война отняла шесть из семи его сыновей, но это не оставило в сердце Рише злобы и ненависти, кроме ненависти к самой войне. Он жив до сих пор, в возрасте восьмидесяти лет, почти один среди своих соотечественников, бросивший весь свой вес на поле международного взаимопонимания против враждебных эгоистических интересов и невежественного национализма.

В то время Рише, разумеется, был патриотом, то есть верил в победу союзников, считая ее неременным условием для победы над милитаризмом. Как хорошо он защищал дело союзников перед русскими. Как быстро он понял русский характер. Когда он выступал, окруженный всеми профессорами университета, он отвел меня в сторону.

— Это наша война, — сказал он, — вашей страны и моей. Мы должны быть сильны и рассчитывать только на самих себя.

Второй причиной, почему этот приезд оставил во мне живое воспоминание, было то, что он дал мне возможность впервые публично выступить с большой речью. Правда, несколькими неделями раньше я уже произнес свою первую публичную речь по-русски на открытии госпиталя. Она была очень короткой. За завтраком, данным в Английском клубе в честь высокопоставленных французов, я должен был сделать первую попытку военной пропаганды с трибуны. Накануне завтрака у меня распухли гланды, и я заболел гриппом. В момент, когда я собирался позвонить врачу, я упал в обморок и поранил себе голову телефонной трубкой. Возможно, что это было к лучшему. Все три француза оказались более блестящими профессиональными ораторами. Для меня было лучше дебютировать перед моими соотечественниками, которые как в стенах парламента, так и вне его (а я посетил почти все парламента в Европе и слышал большинство известных ораторов) худшие ораторы в мире.

Третьей и слегка предосудительной причиной было получение моею женой документа существенной важности. Я уже сказал, что французской делегации не было разрешено поехать в Румынию ввиду протестов Блонделя, французского посланника в Бухаресте. Французы были весьма возмущены и не скрывали своей досады и намерений по приезде в Париж потребовать объяснений. Они нашли поддержку против своего дипломатического представителя в докладе маршала По, однорукого французского генерала, который как раз закончил

обстоятельное обследование всего положения в Румынии. Было известно, что По в своем докладе высказывался откровенно и резко, и нам очень хотелось заполучить подлинный документ. Один из французов (все трое еще живы, и было бы бестактно оглашать его имя) жил у нас в квартире. Как большинство французов любил поухаживать. Почтенный и весьма уважаемый профессор в Париже, он оттаял в теплой и слегка распушенной атмосфере Москвы. Он все поверял моей жене. Он стал проговариваться. Однажды днем, чтобы отвлечь ее от головной боли, он дал ей прочесть знаменитый доклад По. Она дала его переписать, и, таким образом, я мог послать точную копию сэру Джорджу Бьюкенену. За военными установилась репутация резких и грубых людей, но доклад маршала шокировал бы самого грубого солдафона из нашего военного министерства. На выразительном языке, не приукрашенном никакими ухищрениями стиля, доклад дал убийственную картину румынского двора в 1915 году. Маршал не пощадил никого. Король был описан со всеми многочисленными слабостями, в нем почти не было положительных черт. Там было полное досье романтических походов при дворе, с подробным перечнем замешанных, с указанием сферы влияния и политических симпатий каждого. Там весьма нелестно были изображены французский, британский и русский посланники которые обвинялись в том, что они подают плохой пример румынскому обществу в военное время, и в том, что они тратят свою дипломатию на мелкие разногласия между собой.

Маршал был откровенно пессимистичен. Последующее вступление Румынии в войну оправдало его пессимизм. Ни во что не ставил румынскую армию. Союзную дипломатию в Румынии он ставил еще ниже. Вся сила его негодования была обращена против французского и русского посланников, взаимная антипатия которых позволяла германофильской партии вклинуться между двумя влияниями.

— Англии, — говорил старый солдат, — не суждено сыграть исторической роли в Румынии. Воздействовать на нее она может лишь красотой своих сынов. Ей следовало бы послать румынскому двору своего самого красивого военного атташе. В результате доклада генерала По в Румынии произошли перемены. В качестве своего нового военного атташе Англия послала туда полковника Томсона, который стал затем личным другом мистера Рамзея Макдональда,

лейбористским паром и министром и который погиб во время злополучного полета на дирижабле Р-101.

У меня сохранилось мало воспоминаний о втором Рождестве войны, кроме разве того, что оно было веселым. Русские, правильно или неправильно, никогда не портили своих праздников угнетенным настроением и никогда не пытались искусственно поддерживать военный пыл. Они были недисциплинированы, аморальны и индивидуалисты чистой воды.

1 января 1916 года жена и я провели весь день в официальных визитах — одна из немногих скучных обязанностей официальной жизни в России. Новый год, очевидно, не только меня побудил к хорошим намерениям, потому что заметки в моем дневнике на январь необычайно оптимистичны. Два фактора обусловили эту более здоровую атмосферу. Наш греко-русский друг Ликиардопуло только что вернулся из своего рискованного путешествия по Австрии и Германии. Он был послан туда союзниками для разведывательной работы, и переодетый греческим торговцем табака посетил крупные города обоих государств. «Лики» оставил Москву глубоким пессимистом, убежденным в непобедимости германского оружия. Вернулся он оптимистом, твердо уверенным в том, что Германия переживает большие трудности, чем Россия, и что Россия может дольше выдержать. В том, что касается снабжения он был безусловно прав. Чего он не учел — это разные степени сопротивляемости обоих народов.

Привезенные им новости наполнили, однако, Москву бодростью, и в течение пяти недель он был национальным героем. Еще более ободряющим был прием императором князя Львова и Челнокова в ставке в Могилеве. Организовано оно было генералом Алексеевым, начальником штаба и ярым патриотом, который питал презрение солдата к русским политикам средней руки. Пока великий князь Николай Николаевич был главнокомандующим, Союзы земств и городов направляли свои ходатайства лично ему. Отношение императора к ним было хуже. Не одобряя различные принятые ими политические резолюции, он до сих пор отказывался видеть их. Поэтому в Могилев они приехали, чтобы встретиться с генералом Алексеевым, а не с императором. В качестве московского городского головы Челноков привез с собой привет армии от «сердца России» и

официальную резолюцию Городской думы, провозглашающую войну до победного конца. Генерал Алексеев, зная о громадной работе, проделанной этими крупными общественными организациями по снабжению армии, решил восстановить добрые отношения между императором и обоими союзами.

— С императором все благополучно, — заявил он обоим москвичам. — Единственная помеха — это шлюхи, которые вертятся около него. Обождите здесь, а я снесу ему резолюцию.

Он сейчас же вернулся с распоряжением к Челнокову явиться к императору. Когда широкоплечий городской голова вошел в комнату, резолюция лежала на столе императора.

— Почему эта прекрасная резолюция не была послана прямо мне? — спросил царь.

Челноков пробормотал несколько неуклюжих извинений по поводу нарушенного им этикета и затем сказал, что если Его Императорское Величество разрешит, то он тут же передаст приветствие и прочтет резолюцию. Царь разрешил и был очень доволен. Он сказал:

— Я согласен с каждым словом в этой резолюции. Мир не может быть заключен, пока не будет достигнута полная победа. Вы совершенно правы, выражая свою благодарность Англии. Мы должны преклонить перед ней колени.

Затем царь стал расспрашивать Челнокова о положении в Москве. Городской голова заметил, что там нет топлива и ощущается недостаток продовольствия вследствие плохой работы железных дорог и что при сложившихся обстоятельствах приходится считаться с возможностью волнений в течение зимы. Император ответил, что, если народ мерзнет и голодает, к нему нельзя быть слишком суровым, даже если он прибегает к насилию. Затем он с подозрением в голосе спросил, не преувеличивает ли городской голова.

Челноков ответил — нет.

Тогда царь заметил:

— Все, что я могу сделать для смягчения этого положения, будет сделано.

Я получил полный отчет об этом посещении, как только Челноков вернулся в Москву. Оба — князь Львов и он — серьезные бородатые люди, без капли легкомыслия, радовались, как школьники. Они вернулись из ставки с сердцем, преисполненным оптимизма. Император был великолепен.

Их собственная работа могла беспрепятственно развиваться. Армия была на их стороне. Что значит теперь С.-Петербург? Армия гораздо важнее и могущественнее любого правительства. Увы, большие надежды, возлагавшиеся на это посещение, оказались жестоко обманутыми. Император уже не мог избежать своей судьбы, уготовленной ему назревающей трагедией. Немного здравого смысла, несколько слов похвалы со стороны императора оказались бы достаточными для того, чтобы стянуть к трону лояльные патриотические элементы русского народа. Как мало потребовалось бы усилий. Я видел это по энтузиазму двух общественных деятелей, которые по своему темпераменту были гораздо менее революционны, чем мистер Ллойд Джордж, и были против своей воли вовлечены в революцию, став ее первыми жертвами. Однако усилие это превосходило способность императора к предвидению. Старая система продолжала жить. Повсюду общественные силы встречали противодействие. Всякий им симпатизирующий министр мог быть уверен, что рано или поздно он будет уволен в отставку. И по мере того как один за другим исчезали патриоты и верные люди, трехсотлетние верноподданические чувства подрывались отчаянием. В моем собственном сознании ощущение неминуемой катастрофы становилось все сильнее и сильнее. Понятно, внешне я должен был всегда казаться ультра оптимистичным, спокойно уверенным и непоколебимо убежденным в конечной победе союзников. И, хотя мой действительный оптимизм ограничивался Западом, мне приходилось симулировать возрастающую веру в Восток.

В феврале 1916 года меня несколько раз вызывали в С.-Петербург. **У нас в ходу был новый план: официальное Бюро британской пропаганды в С.-Петербурге** под руководством английских журналистов. Хью Вальполь и Херольд Вильямс (лучший и наиболее скромный из британских экспертов по России) были его главными инициаторами. Затем должно было быть организовано отделение в Москве. Оно должно было находиться под моим надзором, и в качестве пропагандиста я пригласил Ликиардопуло. В С.-Петербурге

Бюро пропаганды было строго официальным учреждением с специальными отделами и собственным персоналом. **Я создал свою организацию в Москве из недр генерального консульства без всякой помпы и огласки. В этой области я был в состоянии оказывать значительное влияние на местную прессу** и накачивать ее официальной пропагандой без того, чтобы она это почувствовала. Мне нравилась эта часть моей работы, хотя она требовала большого такта, в особенности, когда дело дошло до выборов литературной делегации из московских журналистов, которую мы посылали в Англию, согласно нашей новой политике. Доминирующей идеей было то, что когда эти писатели увидят, как напрягает свои силы Англия, они напишут об этом в русской прессе, и тогда нам реже придется слышать о том, что англичане держат свой флот под стеклянным колпаком и что они решили бороться до последней капли русской крови. Один из писателей, которого я пригласил или которого мне было предложено пригласить, был **граф А.Н. Толстой**, гладкий, жирный представитель богемы с большим литературным талантом, но с сильным пристрастием к жизненным благам. Граф Толстой ныне, чтобы не потерять этих благ, примирился с большевиками и за счет одной или двух пьес против Романовых сумел остаться буржуазным индивидуалистом в стране, где даже литература коммунизирована.

Как раз в это время я получил от сэра Джорджа Бьюкенена телеграмму, где мне предлагалось подготовить встречу британской морской делегации в порядке осуществления новой программы пропаганды, посланной в Москву. Предупреждение это было получено мною ровно за два дня до приезда. Я не был удостоен каких-либо указаний по вопросу о том, из каких источников черпать финансовые средства для содержания высшего командного состава Его Величества. Эта загадка является одной из немногих проблем, разрешение которых британское правительство неизменно предоставляет инициативе и карману местного работника. Единственное, что я знал — это то, что семеро старших офицеров нашей подводной флотилии — все очень храбрые джентльмены, потопившие несколько германских крейсеров и огромное число менее крупных единиц, — приедут в Москву 15 февраля и проведут там четыре дня. Им даны указания во всем полагаться полностью на меня.

И британская колония, и мои русские друзья, по собственной инициативе и с изумительной щедростью, пришли мне в помощь. В

один вечер я заполнил свою программу. Мой старый приятель Челноков обещал «раут» в Городской думе. Госпожа Носова, сестра братьев Рябушинских, богатейших людей в Москве, взяла на себя устройство в своем особняке банкета с обедом на 100 персон и танцами. Княгиня Гагарина организовала прием. Управляющий государственными театрами обещался устроить в кратчайший срок торжественный спектакль в опере. Балиев, владелец «Летучей мыши», и Московский артистический клуб взялись повеселить гостей своими собственными силами. Британский клуб, без чьей помощи мои собственные усилия принять почетных британских гостей оказались бы тщетными, организовал первый из этих пышных англо-русских банкетов, которые до революции являлись кровью и плотью — не говоря об икре и водке — англо-русской дружбы в Москве.

Посещение имело полный успех. Быть может, для флота ныне наступили тяжелые времена, но мой опыт в отношении британских морских офицеров за границей был самым счастливым. В значительно большей степени, чем армейские офицеры, они обладают даром умиротворять и производить впечатление на иностранцев. Они умеют распускать себя, не теряя достоинства. Среди них редко встречаются твердолобые. Семеро моих подводников очень быстро приспособились к своей новой роли.

Они приехали как «львы», но это были ручные и добро желательные «львы». Они позволяли себя гладить. Они братались с балеринами и официальными чинами. И Кроми, их глава, офицер не по годам серьезный, в одном случае выступил с блестящим результатом. Случай этот представился на ужине, который давал Алатр — артистический и театральный клуб — в честь наших молодых гостей. Ужин сопровождался экспромтным дивертисментом, во время которого лучшие московские балерины и певицы танцевали и пели для поощрения нашего пищеварения. Уже поздно ночью русские потребовали от Кроми, чтобы он выступил, заявляя, что только это их удовлетворит. Его потащили на эстраду. Высокого роста, смуглый, байроновского типа, с дугообразными бровями и бакенбардами, он без малейшего волнения оглядел публику.

— Леди и джентльмены, — сказал он, — все вы артисты, музыканты, поэты, писатели, художники, композиторы — вы — творцы. То, что вы сотворили на долгие годы, переживет вас. Мы же простые моряки. Мы

разрушаем. Но со всей искренностью мы можем заявить, что в этой войне мы разрушаем, чтобы то, что вы сотворили, могло жить.

Это была самая короткая и по своему эффекту самая волнующая речь, которую я когда-либо слышал в России. Русские были в восторге. Приезд подводников совпал с взятием Эрзерума русской армией на Кавказе, и на протяжении четырех дней мы жили в атмосфере ликующего оптимизма. Что касается меня, то я нашел лишь один изъяс в гармонично составленной программе. В Английском клубе первую речь произнес я. В течение двух дней я репетировал ее перед женой и верным «Лики», который, как секретарь Московского художественного театра, был знатоком декламации. Я произнес ее с волнением и скромно. Там было трогательное упоминание о тех, которые в литературном смысле этих слов тонули на море со своими судами. Речь моя вызвала слезы на моих глазах и глазах публики. Однако, к моему огорчению, речь эта не приводилась в газетных отчетах. Русский морской штаб, опасаясь того, что может случиться, если немцы узнают, что командиры британских подводных лодок отсутствуют на своих кораблях, обставил строжайшей цензурой весь приезд делегации.

С отъездом морской делегации Москва вернулась к своему первоначальному пессимизму, несколько отличающемуся от петербургского пессимизма тем, что в нем отсутствовали признаки злорадного пацифизма. Москва была готова сражаться до конца. Это не мешало предчувствию, что конец может быть гибельным.

В этот момент предчувствия усугублялись германским наступлением на Верден и притоком в Москву аристократических польских беженцев. Эти поляки имели нездоровое влияние. Внешне они были привлекательны. Они внесли много приятности в московскую светскую жизнь. Их страсть к политическим спорам дала много свежего материала моим отчетам. Несмотря на то что я был склонен сочувствовать их страданиям, ближайшее знакомство с ними вызвало во мне чувство недоверия и даже отвращения. Я терпеть не мог ту манеру, с которой они принимали теплое гостеприимство, оказываемое им по всюду. Они отвечали насмешками над своими хозяевами, делая при этом вид, что они презирают честных московских буржуа.

Еще меньше переваривал я их эгоистичное чванство и пессимизм. Апогея это чувство достигло, когда однажды вечером — во время

наиболее критического периода наступления на Верден — развязный, но пустой шляхтич заметил в присутствии главы французской военной миссии: «Если Верден будет взят, падет и Париж. Как это будет ужасно для польского вопроса». Это только один из многих примеров польской бестактности. Между тем этот народ, никогда не умевший самостоятельно устроить свою жизнь и, разумеется, мало чем содействовавший делу союзников в войне, был по Версальскому договору награжден большим отрезком территории, чем какая бы то ни было другая нация.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Весной 1916 года у меня опять разболелось горло. На этот раз болезнь сопровождалась жестоким приступом депрессии. Мне казалось, что все разваливается. Даже Челноков выражал недовольство по поводу того, что английские фирмы не выполняют военных заказов, и в первый раз сомнение в победе союзников закралось в меня. Мое мрачное настроение было немного рассеяно неожиданным приездом Хью Вальполя, неотразимого в форме Красного Креста и как всегда необыкновенно восторженного и бодрого оптимиста. Он только что вернулся из Англии, где появилась его первая книга о России - «Темный лес», которая имела там большой успех. Он привез мне сахару и кое-каких пряностей, в знак лестной оценки моей работы, от лорда Роберта Сзсиля и других членов Министерства иностранных дел. После его отъезда мне опять стало не по себе. Приближалась Пасха, и жена уговорила меня бросить работу на несколько дней.

Чтобы отдохнуть немного от Москвы, мы решили отправиться в знаменитую Троице-Сергиеву лавру. Незаменимый Александр принял все необходимые меры, чтобы принять нас как следует. Но отдых оказался плохим. Мы приехали вечером в Чистый Четверг. На вокзале нас встретил монах. Другой монах повез нас со станции прямо ко всеобщей. Сергиев монастырь, самый знаменитый в России, представляет Кремль в миниатюре. Он окружен стенами такой толщины, что по ним свободно могут проехать рядом два экипажа. За всю свою историю монастырь выдержал сотню осад и теперь, несмотря на то что в нем монахи, скорее напоминает крепость, чем обитель.

После службы мы пили чай у настоятеля. Это был воспитанный и простой пожилой человек с серебристой бородой и пухлыми мягкими руками, которые он беспрестанно мыл. Около семи часов мы отправились в приготовленное нам помещение — маленькую монастырскую гостиницу при церкви Черниговской Божией матери в миле от монастыря. К счастью, там было чисто и уютно.

В Великую Пятницу дождь лил как из ведра, я целый день сидел дома и читал статьи сэра Роджера де Коверли в «Spectator». В субботу мы снова ходили в церковь и осматривали окрестности. Рано утром за нами приехал монах, чтобы отвести нас в Вифлеемский монастырь — прелестное небольшое местечко на берегу озера в трех милях езды. А вечером по березовому лесу мы поехали в Лавру, чтобы присутствовать на ночном богослужении. Весь монастырь был залит электрическим светом, и на фоне тёмно-красного неба высокие колокольни вырисовывались, как огромные небоскребы. Служба произвела глубокое впечатление. Мы стояли около часа в толпе солдат и крестьян, от которых шел тяжелый запах. Они держали в руках тонкие церковные свечи, щедро поливая себя и нас воском. Но хор пел так изумительно хорошо что мы забыли об усталости.

Следующие два дня были полны радости. Солнышко стало пригревать и разогнало все мои страхи и весь мой пессимизм. Крутом поля запестрели цветами. Белые церковки спокойно стояли в кругу берез. А в озерах дремали старые как мир окуни и карпы. После Москвы разлитая здесь тишина была чудесна.

В понедельник на Пасхе мы были опять на богослужении и шли с крестным ходом вокруг стен Лавры на почетном месте, непосредственно за архимандритами. Потом нас угостили великолепным завтраком из шести-семи рыбных блюд. Пока мы ели, настоятель очень мило с нами беседовал. В его разговоре не было ничего воинственного, никаких бравад «с нами Бог». Он говорил о чудесах, в которые крепко верил, — да и действительно вера в чудеса была очень нужна, чтобы уповать на победу России, — говорил о христианском смирении, о кающихся и благочестивых душах.

Чаще же всего мы совершали далекие прогулки, стараясь взять как можно больше радости от нашего краденого досуга и получше согреться под сверкающим весенним солнцем. Как сейчас помню одно наше путешествие к озеру, за монастырем св. Параклита. Мы долго

бродил ли по узкой мшистой дорожке, которая шла через тесное ущелье, поросшее диким терновником и ежевикой. Ни пешего, ни конного, ни одной живой души нам не по встречалось по дороге. То были самые счастливые часы моей жизни — часы глубокого умиротворения.

Я вернулся в Москву, полный энергии и новых надежд, готовый бороться со всеми тревожностями моей повседневной жизни, которых было не мало: мои русские друзья изрядно меня раздражали, несмотря на всю мою любовь к ним. Это были очаровательные люди для простого знакомства, но совершенно безнадежные для совместной работы, и, несмотря на то что я стал фаталистом, я никак не мог разобраться в оттенках их языка, где «сейчас» означает «завтра», а «завтра» — «никогда».

Лучше всего я могу показать разницу между отношением к жизни русских и англичан, рассказав о случае из русской судебной практики в это время. В некотором отношении этот случай напоминает знаменитое дело Мэлкома в Англии. В Варшаве русский жандармский офицер по фамилии Златоустовский влюбился в некую госпожу Марчевскую, жену одного из офицеров, который в это время сражался на фронте. Когда Варшава была эвакуирована, Златоустовский привез ее в Москву и поселил в своей квартире. Узнав об этом от жены Златоустовского, Марчевский приехал с фронта и пытался проникнуть в квартиру, где находилась его жена. Тогда Златоустовский выстрелил из револьвера через дверь и убил наповал безоружного Марчевского. Несмотря на гнусное поведение жандармского офицера во всей этой истории, он был оправдан. Общественное мнение не протестовало против приговора, и Златоустовский даже не потерял своей службы.

Когда я снова возобновил свои встречи с Челноковым и другими видными московскими деятелями, я нашел их в более подавленном настроении, чем обычно. Отставка Поливанова, военного министра, за его слишком тесный контакт с общественными организациями привела их в уныние. Падение Кута, следовавшее за нашим поражением в Галлиполи, ирландское восстание в Дублине все это были серьезные удары по престижу Англии. Мы с Челноковым обсуждали положение. Что предпринять, чтобы укрепить общественное доверие? Как бороться с пораженчеством и недостатком веры у западных союзников? **Городской голова, англофильство которого было прочно**

и устойчиво, считал необходимым официальный приезд английского посла в Москву. Я выражал уверенность, что посол приедет, если будет знать, что это принесет пользу.

— Мы сделаем его почетным гражданином Москвы, — сказал Челноков.

— Прекрасно, — ответил я. — Это в духе лучших английских традиций.

Но тут было одно препятствие. До сих пор только один иностранец имел звание почетного гражданина Москвы. Эта честь никогда не выпадала на долю англичанина. Это было редкое и ценное отличие, и оно могло быть дано только при единодушном согласии всей Городской думы. Теперь Городская дума была точной копией Государственной. Она состояла из представителей всех политических партий, включая крайних правых, которые не относились к Англии сочувственно и были решительными противниками либеральных партий. Даже Челнокову, хотя он и был городским головою, было совершенно невозможно добиться единогласного решения. Он поглаживал свою длинную, как у патриарха, бороду. Затем приятным глубоким голосом высказал мне свое мнение.

— Я знаю своих коллег. Они как дети. Они никогда в согласятся, если предложение будет идти от меня. Но если вы поговорите отдельно с каждым из них и скажете, что сэр Джордж Бьюкенен приедет в Москву, и внушите им, что мысль о почетном гражданстве будет исходить от них, тогда, пожалуй, они попадут на удочку при условии конечно, что вы умно возьметесь за это дело.

Я выполнил план в точности, как он мне подсказал, я повидал Н. И. Гучкова, В. Д. Брянского и других несговорчивых членов Думы и, имея единодушное согласие всех в кармане, поехал к послу.

Приезд посла в Москву по моему предложению был приурочен к британскому имперскому празднику. Это, кажется, был первый случай в России, когда британский имперский день праздновался здесь официально. И от начала до конца то был сплошной триумф. «Волки черной сотни» были рядом с «кадетскими ягнятами». Октябристы и социалисты-революционеры соперничали друг с другом в выражениях дружбы и в решимости сражаться до победного конца. Генералы и видные сановники наперебой друг перед другом старались внести свою лепту в общее торжество. По этому случаю я написал статью для

одной из ведущих московских газет. Именно в этот момент я чувствовал себя достойным своего имперского ордена. Я поместил характеристику сэра Джорджа Бьюкенена в другой видной московской газете. Я уговорил посла заранее написать свою речь, заказал Ликиардопуло ее перевод, и красиво напечатанный русский текст подавался вместе с закуской избранным гостям. На банкете в этот вечер я предложил за здоровье посла тост, о котором один из московских журналистов сказал, что это образец высокого красноречия и уверенности в своих силах. Увы, это было 16 лет тому назад!

Сам посол, как центральная фигура в этом пышном зрелище, был великолепен. Он был самой элегантной фигурой, которую Москва видела за много лет, а его благородная внешность и подкупающая искренность проникали до глубины русского сердца. Казалось, что в самом его имени какое-то счастливое предзнаменование. Разве не был св. Георгий патроном Москвы? В этот момент прилив англо-русской дружбы достиг своей высшей точки. И только один маленький эпизод нарушил великолепие всей картины. На следующий вечер отцы города в торжественном заседании, окруженные всем, что было самого лучшего и блестящего в московском обществе, с соблюдением всех формальностей вручили Высокопревосходительству сэру Джорджу Бьюкенену, чрезвычайному и полномочному послу Его британского Величества при императоре всея России, звание наследственного и почетного гражданина города Москвы. Вместе с почетной грамотой ему были поднесены и более существенные дары: ценная икона и кубок. Обычай требовал, чтобы одариваемый сказал хотя бы два-три слова по-русски. Увы, сэр Джордж не учился в русской школе. «Бенджи» Брюс и я свели ответную формулу к минимуму и старательно учили посла произнести, когда он будет принимать кубок, по-русски «спасибо». Это кратчайшая форма благодарности. И вот, когда наступил роковой момент, сэр Джордж запнулся и своим густым басом сказал во всеуслышание: «За пиво».

Никакие филологические неточности не могут стереть головокружительного успеха этих двух дней. Челноков был на вершине блаженства. Я тоже. Нам казалось, что тем, что мы сделали в Москве, мы уже победили немцев. Сам сэр Джордж был очень растроган и благодарен. Когда я прощался с ним на перроне вокзала, он пожал

мою руку — Локкарт, — сказал он, — это самый счастливый день в моей жизни, и им я обязан Вам.

Приезд сэра Джорджа Бьюкенена, как я вижу теперь, был поворотным пунктом моей официальной карьеры. Это был момент моего наибольшего влияния на посла и последний случай в моей жизни, когда я преклонялся перед геройством. Правда, это дало мне новую уверенность в своих собственных силах. В будущем я мог выступать перед нашим Министерством иностранных дел уже как задорный и смелый лев. Но с растущей уверенностью пришла какая-то слабость характера, я сделался оракулом, а оракулы должны чувствовать себя непогрешимыми. Быть может, в это время я не сознавал своих ошибок. Быть может, это была реакция после напряженной и утомительной работы многих месяцев. Как бы там ни было, многие из моих идеалов 1914 года рассеялись в том сумбуре, который царил вокруг меня, и, когда их не стало, я почувствовал душевную слабость. Высшая форма тщеславия - это слава. Я не говорю, что у меня его никогда не было, но снисходительное отношение к своим недостаткам во мне было сильнее. Романтизм войны испарился, а с ним и надежда на победу русских. Теперь уже не было больше силы, которая могла бы рассеять мрак, сгустившийся над распростертым телом России.

Моим человеческим чувствам первый удар был нанесен вскоре после отъезда посла.

Во время своего пребывания в Москве посол сообщил мне под строгим секретом, который я должен был сохранять даже от жены, что лорд Китченер приезжает Россию. Великий человек посетит Москву. Я должен был приготовиться исполнять все его желания. Уже теперь я начал искать в антикварных магазинах подлинные экземпляры старинного китайского фарфора, которым лорд Китченер очень увлекался.

В течение ближайших нескольких дней группа русских журналистов телефонировала мне, чтобы узнать, верна ли новость о приезде лорда Китченера. На одном из обычных журфиксов моей жены генерал Вогак, обаятельный и очень культурный человек, сообщил собравшимся о времени и причине приезда лорда Китченера, как будто это не составляло никакого секрета. И задолго до того, как лорд Китченер отплыл из Шотландии, известие о его миссии сделалось достоянием Петербурга и Москвы.

Я считаю это непростительным легкомыслием, примером того, как часто в России в эти военные дни не умели хранить тайн. Я не говорю, конечно, что это имело какое-нибудь отношение к судьбе злополучного Гемпшира.

Я лично никогда не видел лорда Китченера, поэтому я не сумею сказать, что он мог и чего не мог сделать в России. Однако я беру на себя смелость усомниться в том, о чем так часто говорили англичане, писавшие о России, что, если бы царь встретился лицом к лицу с лордом Китченером, война приняла бы другой оборот. Я мало верю в теорию о великих людях, быть может, потому, что у меня душа подневольного человека. Сила народов в их объединении. Сильные народы дают сильных людей. Слабые должны уступать дорогу. Но даже если считать лорда Китченера сверхчеловеком, я не верю в то, что он мог оказать на царя сколько-нибудь прочное влияние. Даже сильные люди не могут бороться со стихией. Во всяком случае, решение послать его в Россию пришло слишком поздно. Беспощадная рука рока была уже простерта над правящими классами России.

Тем не менее трагедия Китченера была бедствием, которое усилило болезнь тела России и слабость ее сердца.

За этим следовал другой удар, который имел еще более серьезные последствия для русских. В начале августа Сазонов - русский министр иностранных дел союзнической ориентации – вышел в отставку, или, точнее сказать, его заставили уйти. Обстоятельства, при которых совершилась его отставка, были аналогичны тем, при которых смещались и другие, честные, стоящие за войну министры. Уже с некоторых пор Сазонов чувствовал, что его положение непрочное. Поэтому он отправился в ставку на аудиенцию к царю. Он был в восторге от приема, оказанного ему там. На обратном пути он встретил поезд, который вез в ставку самого непопулярного из царских премьер-министров – Штюмера. И не успел еще Сазонов доехать до Петербурга, как царь изменил свои планы. Сазонову было предложено отправиться в отпуск в Финляндию. Вскоре последовала его отставка. Снова восторжествовали темные силы реакции.

Если Сазонов и не был крупной государственной фигурой, он все же был честным человеком. Он искренне стремился к сотрудничеству с сэром Джорджем Бьюкененом и с французским послом Палеологом. Он хотел работать в контакте с Думой и был облечен доверием

общественных организаций. Его имя неизменно фигурировало в каждом списке кандидатов в «кабинеты общественного доверия», которые были любимой мечтой либералов и максимумом их требований в то время. Он был верным приверженцем монархии и одним из тех немногих людей, советы которых, если бы к ним прислушивались, могли бы сохранить корону последнему Романову. Пост министра иностранных дел достался Штюмеру, назначение которого даже в великокняжеских салонах было встречено с недовольством и горечью. Под влиянием таких безумных шагов последняя опора царизма рушилась. Подавленное состояние патриотически настроенных кругов сменилось полным отчаянием.

Сазонов украсил историю русской дипломатии одним незабываемым. Я не слышал, как он его рассказывал.

Несколько лет тому назад, когда я встретил его в Праге, уже после революции, он не подтверждал, но и не отрицал его достоверности. Я уверен все же, что этот рассказ правилен в существе, если и не во всех деталях. Вот его обычная версия:

«В английском посольстве был обед, на котором присутствовали Сазонов и французский посол. После обеда три столпа — Сазонов, сэра Джордж Бьюкенен и Палеолог — удалились в кабинет, чтобы за сигарой поговорить о современном положении. Разговор коснулся дипломатии. Какая нация дает самых тонких дипломатов? Палеолог, француз и поэтому льстец, усердно восхвалял русских дипломатов, сэра Джорджа как шотландец и правдивый человек высказывался в пользу немцев. Каждый отстаивал свою точку зрения, а так как они не могли прийти ни к какому соглашению, то обратились к Сазонову. Русский министр улыбнулся.

— Ваши превосходительства, — сказал он, — вы оба неправы. Тут не может быть двух мнений. Пальма первенства принадлежит англичанам.

Палеолог, почувствовавший зависть к сэру Джорджу, сделал кислую гримасу. Глаза сэра Джорджа выразили наивное удивление. Сазонов снова улыбнулся.

— Вы хотите объяснений? Извольте. Когда вы узнаете их, вы поймете, что мои доводы бесспорны. Мы русские — я благодарю г-на Палеолога за комплимент — талантливый народ. Мы превосходные лингвисты.

Наши знания всесторонни. Но, к несчастью, у нас нет веры в собственные силы. Мы не умеем усидчиво работать и никогда не знаем, как поступит завтра даже самый способный наш дипломат. Он может пасть жертвой всякой бессовестной женщины и, попав к ней в руки, способен выдать шифр неприятелю.

Немцы как раз наоборот. Они прекрасные работники. Они очень усидчивы. Они составляют свои планы на много лет вперед, и, когда их надо проводить в жизнь, весь мир уже знает о них. Искусство же дипломатии состоит в том, чтобы скрывать свои намерения. В этом то превосходство англичан. Никто не знает, что они собираются делать — тут Сазонов погладил свою бородку и любезно улыбнулся сэру Джорджу, — потому что они сами этого не знают».

Конечно, отставка министра, который так хорошо знал союзников, была для них тяжелой утратой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

События последних месяцев, предшествовавших революции, представляют собой печальную хронику, неудачи на фронте (брусиловское наступление в Австрии только возбудило ложные надежды), уныние и подавленное настроение в официальных кругах, в тылу, министерская чехарда, бессильные протесты Думы, растущее недовольство не только в деревне, но и в городе.

В Петербурге и даже в Москве война отошла на второй план. Приближающаяся катастрофа сознавалась всеми и была у всех на устах. Правящие круги перед лицом неотвратимого несчастья пытались предостеречь императора. Политические резолюции, которые выносились не только либералами, но и знатью, сыпались на императора, как осенние листья.

В этих резолюциях не было ничего нелояльного. Они только требовали от царя, чтобы он заменил своих министров людьми, которые пользуются доверием страны. Царь менял людей с быстротой фокусника, но эти перемены мало удовлетворяли общественное мнение. Они ни в какой мере не являлись ответом на очень сдержанные требования общества. Ведь этот человек, полный семейных добродетелей, без пороков и без воли, был самодержцем

милостью Божией. Он мог менять свои решения ежеминутно, но он никогда не забывал о своих наследственных правах.

«Что это за разговоры о народном доверии? — спрашивал он. — Пусть народ заслужит мое доверие».

В течение этих последних шести месяцев мое генеральное консульство сделалось чем-то вроде почтового ящика для всевозможных жалоб. Целыми днями я переводил резолюции (еще и сейчас целая куча их лежит среди моей частной переписки) и памфлеты. В это время появился салонный поэт Мятлев, кавалерийский офицер, не дурно владевший стихом, которым он пользовался, чтобы высмеивать непопулярных членов правительства. Я переводил резолюции прозой. Я перекладывал мятлевские стихи в плохие английские вирши. Я посылал и прозу и стихи в посольство. В конце концов я вероятно, надоел своей попусту растрачиваемой энергией.

Трагедия заключалась в том, что как резолюции, так и памфлеты писались людьми, которые в глубине своей души и не помышляли о революции, которые ревностно желали успешного ведения войны и которые теперь, если они и живы, отдали бы свою правую руку, чтобы восстановить в России империю.

Поскольку дело касается Москвы, я не преувеличиваю. Почти ежедневно я встречался с людьми, которые против своего желания образовали первое временное правительство после отречения царя: князь Львов, Челноков, Мануйлов, Авилов, Маклаков, Новиков, Кокошкин. Из тесного личного общения с ними я знал, что их пугала задача, которая вставала перед ними как перед русскими патриотами. Эта проблема была остро показана Маклаковым, знаменитым русским оратором и впоследствии послом временного правительства в Париже, в одной из тех басен, к которым цензура заставляла прибегать русских: «Автомобиль спускается с крутого холма. Внизу зияющая пропасть. Ваша мать сидит впереди, рядом с шофером. Вы сами сидите на заднем сиденье. И вдруг вы видите, что шофер теряет способность управлять. Что вы должны делать?»

Если бы подобный вопрос был предложен на страницах какой-нибудь популярной газеты, мог бы составить интересный конкурс, и мистер Ленсбери, сэр Малькольм, Кембелл, мисс Этель Меннин, лорд Кэстельрос и леди Инверклайд могли бы дать на него вполне удовлетворительный ответ, но для народа, втянутого в водоворот

мировой войны, этот вопрос был вопросом жизни и смерти. В данном случае не было сделано попыток для его разрешения. Шофер и автомобиль должны были низвергнуться в пропасть.

В течение этого знойного лета Москву посетил ряд гостей: английские генералы, отряд броневиков Локкера Лемпсона, английские журналисты, великий князь Михаил, брат царя. Я занимал английских гостей и прислушивался к их суждениям. У меня был долгий и бесплодный разговор с великим князем Михаилом Александровичем, который приезжал на закрытый просмотр нескольких французских военных фильмов. В своей казачьей форме он производил приятное впечатление. Высокого роста, с красивым лицом, обаятельными манерами и хорошим характером, великий князь мог бы быть прекрасным конституционным монархом. Он говорил совершенно свободно о войне, о недостатке снарядов, необходимости улучшить транспорт и сделал только одно замечание, которое можно было истолковать как политическое. «Слава Богу, — сказал он, — атмосфера на фронте гораздо лучше, чем в Петербурге». Он был самым спокойным и, вероятно, наименее самонадеянным из всех великих князей.

С наступлением зимы посольство стало чаще посещаться. Лорд Джордж Бьюкенен дал торжественный обед Челнокову и немногочисленной депутации Московской думы в ответ на гостеприимный прием, оказанный послу во время его посещения Москвы. Мы ехали в Петербург вместе с Челноковым. За обедом он особенно расхваливал меня и в своей речи приветствовал меня как верного друга России.

Я был приглашен на завтрак к французскому послу. Я беседовал с Сазоновым, который задавал мне много вопросов, но сам уклонялся от каких бы то ни было сообщений. Молодой человек из Москвы возбуждал всеобщий интерес.

Но — и это было большое «но» — я видел, что атмосфера в Петербурге была более нездоровой, чем когда бы то ни было. Шампанское лилось рекой. «Астория» и «Европейская» — две лучшие гостиницы в столице — были переполнены офицерами, место которым было на фронте. «Ловчиться» или подыскать себе синекуру в тылу не считалось бесчестным. У меня было ощущение бессмысленной скуки и *fin de siecle*.

А на улицах стояли «хвосты» из бедно одетых мужчин и без умолку болтающих женщин, ожидающих хлеба, который не доставлялся. Даже в посольстве уже перестали надеяться. Сэр Джордж выглядел усталым и больным. Он все еще носил шляпу по-прежнему элегантно и в обществе русских ни на одну минуту не терял своего оптимизма. Но на ходу его плечи горбились, как бы под тяжестью бремени, которое он не в силах был нести. В канцелярии слегка нервничали — неизбежное следствие однообразной и ненужной работы. Я сам вел себя предосудительно и как-то по-мальчишески. Я тратил на визиты больше времени, чем было нужно, и увивал под благовидными предложениями от работы, чтобы поспеть на приемы к русским и развлекаться у тех, кого я принимал в Москве. Я пил шампанское, и притом больше, чем можно было, у тех, кого я недолюбливал, и вернулся в Москву несчастным и пристыженным. В этот момент моя жизнь меня не удовлетворяла.

С наступлением декабря тон противоположительственных резолюций стал смелее. На фабриках социал-демократы и социалисты-революционеры вели теперь революционную пропаганду. Земский и городской союзы, раздраженные до крайности бессмысленной политикой Протопопова, прежнего либерального члена Думы, который на посту министра внутренних дел оказался реакционнее любого черносотенца, созвали съезд и, несмотря на его запрещение, провели секретную резолюцию, которая по силе своих выражений превосходила все их прежние требования. Правда, в ней не было никаких выпадов против царя, но после длинного вступления, в котором очень выразительно указывалось на все те болезни, которыми страдала Россия, в резолюции заявлялось, что «правительство, ставшее теперь орудием темных сил, ведет Россию к гибели и расшатывает царский трон. В этот грозный час своей истории страна требует правительства, достойного великого народа. Пусть Дума в этой решительной борьбе, которую ведет народ, оправдает его ожидания. Нельзя терять ни одного дня».

Этот документ был секретным, лишь поскольку его было запрещено печатать. Но он размножился на ротаторе в тысячах экземпляров и распространялся как в тылу, так и на фронте.

Эта резолюция была принята как раз перед Рождеством. За два дня до конца года был убит Распутин. История его убийства рассказывалась

столько раз, что она не нуждается в повторении. Из трех участников этого, быть может, ложно понятого акта патриотизма лично мне в то время был известен лишь великий князь Дмитрий Павлович. Все трое — двумя другими были князь Феликс Юсупов и Пуришкевич — являлись сторонниками царского режима и их покушение на Распутина имело целью спасти трон. Теперь, когда мы рассматриваем это убийство в свете истории, мы видим, что, хотя оно и воскресило на мгновение надежды патриотов, все же его единственным результатом было усиление пораженческих элементов и ускорение революции, которая была неизбежна, даже с точки зрения беспристрастного наблюдателя.

Единственным лицом, которому это убийство принесло некоторую пользу, был **великий князь Дмитрий Павлович, самая ясная голова и самый большой англофил из всех великих князей**. Ссылка на Кавказ за участие в убийстве Распутина позволила ему, когда грянула революция, бежать через Персию и избежать той ужасной участи, которая постигла его родных, убитых большевиками.

Прежде чем светоч царизма окончательно погас, он вспыхнул еще раз последним слабым пламенем надежды. К концу января 1917 года в Петербург прибыла союзническая делегация. Целью посещения было установление более тесного контакта между союзниками для того, чтобы окончательно поставить точки над «и», договориться об условиях мира и заранее радоваться победе, которая была всегда на устах французов и англичан и в которую теперь верили так мало русских. Редко бывало в истории великих войн, чтобы такое количество генералов и министров покидали свою родину для столь бесполезного дела. Британская миссия была самой многочисленной. Она возглавлялась лордом Мильнером, при котором состояли политические советники — лорд Ровельсток и Джордж Клерк и военные — сэр Генри Вильсон и пять других генералов. Французы были более экономны. Они послали только одного политика — Думерга и двух генералов, одним из которых был Кастельно. Во главе итальянской миссии был синьор Шалойа и помощник его генерал Руджиери.

В таком блестящем обществе моя маленькая персона совсем терялась. Тем не менее я был привлечен к делам. Британская миссия должна была посетить Москву, и я был вызван в Петербург для обсуждения с

лордом Мильнером положения и подготовки программы. Москва, как всегда, придавала большое значение приезду делегации, надеясь, что в последнюю минуту союзники помогут улучшить дела России. Эти надежды, появившиеся и у меня, были разбиты в Петербурге. Я завтракал с лордом Мильнером в Британском посольстве. Долго беседовал днем, а вечером обедал с ним с глазу на глаз в его комнатах в «Европейской». Я думаю, что он был очень рад отделаться, хотя бы на один вечер, от тех бесконечных торжеств, которые были предназначены для него и остальных делегаций.

Я нахожу, что из всех крупных политических деятелей, с которыми я имел дело, он был одним из наиболее чутких и симпатичных людей. Кроме того, он был исключительно хорошо осведомлен о фактах и лицах, причем казалось, что он без всякого напряжения удерживает все в памяти. Я сомневаюсь в том, что его интуиция была столь же замечательна, как и его познания. Но с первого же дня своего приезда он понял всю безнадежность положения России и не пытался скрывать, что напрасно теряет время. Слушал он меня с бесконечным терпением, хотя выглядел усталым и утомленным чрезмерной работой. Мне кажется, он мог понимать молодежь, и я, как и большинство других людей моего возраста, подпал под его обаяние. Он задал мне несколько вопросов, и я отвечал, что, если не будут сделаны некоторые уступки общественному мнению, беспорядки неизбежны. Он вздохнул.

— Я не говорю, что вы неправы, — мягко сказал он, — но я обязан сообщить вам две вещи. Прежде всего люди, хорошо разбирающиеся в положении вещей как среди союзников, так и среди русских, в Петербурге считают, насколько я понимаю, что революции не будет до окончания войны. И во-вторых, я не вижу способа побудить к тем уступкам, о которых вы говорите.

На следующий день я вернулся в Москву, а лорд Мильнер занял свое место за столом конференции. И в то время пока делегаты разговаривали о Константинополе, об Эльзас-Лотарингии и делили военную добычу, около булочных волновался народ, охранка арестовывала рабочих, а напутанные придворные дамы повторяли пророчество Распутина о царской семье: «Если я умру или вы покинете меня, в течение шести месяцев вы потеряете сына и трон».

Через неделю лорд Мильнер прибыл в сопровождении лорда Ровельстока и Джорджа Клерка в Москву. (Сэр Генри Вильсон и остальные английские генералы поехали на фронт. В Москву они прибыли позже.) До конца своих дней лорд Мильнер никогда не забывал этих двух дней в Москве. Они окончательно сокрушили его. В Городской думе был прием, на котором он должен был произнести речь и вручить Челнокову знаки ордена Подвязки, которые король пожаловал ему в награду за услуги англо-русскому союзу. (Бедный Челноков, то были последние часы его пребывания городским головою. Когда наступила революция, он должен был бежать из России, оставив дорогой его сердцу орден. Сейчас он умирает от рака в русском госпитале в Белграде. Когда я несколько лет тому назад встретился с ним там, он высказал желание получить новые знаки ордена. Я пытался через Министерство иностранных дел получить их для него, но мне сообщили оттуда, что он должен купить орден сам.) Был устроен англо-русский завтрак, который длился пять часов и на котором некоторые члены Государственной думы говорили такие длинные речи, что завтрак грозил превратиться в обед. Несчастный англичанин, не понимая русского языка, без сомнения, с большим удовольствием поехал бы осматривать Кремль и московские древности, но был прикован к своим обязанностям с раннего утра и до позднего вечера. Моя деловая работа тоже была не из приятных. И все же это посещение вызвало одно историческое свидание. Я устроил неофициальную беседу между князем Львовым и Челноковым, с одной стороны, и лордом Мильнером и Джорджем Клерком — с другой. Я служил им переводчиком. Князь Львов, спокойный седобородый человек, утомленный непосильной работой, говорил очень сдержанно. И чтобы не было никаких недоразумений относительно его взглядов, он принес с собою письменный меморандум. Это был длинный документ, смысл которого сводился к тому, что если позиция царя не изменится, то в течение трех недель вспыхнет революция.

Но даже тогда, когда я распрощался на ночь с лордом Мильнером, мои обязанности не кончились. Я должен был послать в посольство донесение. А тут еще Джордж Клерк хотел видеть ночную Москву и ради этого он готов был пожертвовать своим сном. Воспользовавшись услугами одного молодого русского миллионера, мы повезли его к цыганам. Это был, несомненно, один из последних кутежей с цыганами

при самодержавии. Одному Богу известно, во что это обошлось. Я бы не смог заплатить. Нас было восемь: четверо англичан и четверо русских. Джордж Клерк как почетный гость был буквально залит шампанским. Мой молодой русский миллионер сделал все, что мог. Мария Николаевна пела бесчисленное количество раз «Чарочку» и собственными ручками подносила Джорджу Клерку бесконечное число бокалов. Быть может, он имел много побед как дипломат, но никогда он не держал себя таким героем, как в этот последний вечер в Москве. Он ни разу не отказался выпить. При каждом тосте он опрокидывал бокал по-русски, и монокль его ни разу не сдвинулся с места. Прическа его оставалась такой же безукоризненной, а лицо сохраняло свою обычную окраску.

Ранним утром Прохоров велел подать счет, раздал щедрые чаевые, и мы отправились домой: моя жена, Джордж Клерк, «Джимми» Валентин и я в одном автомобиле, а Прохоров и его русские друзья ехали впереди. Вскоре мы их обогнали. Они остановили свою машину около городского и стояли посреди улицы. По просьбе Джорджа Клерка мы также остановились в ожидании. Прохоров шарил в карманах. Затем вынул свой кошелек и дал рубль городовому, который звякнул шпорами и поклонился. Положив руку на эфес своей шпаги, Прохоров выпрямился во весь рост. Его глаза засверкали, и казалось, что он собирается скомандовать в атаку. «Боже, царя храни», — загремел он. «Боже, царя храни, отвечал городской. — И бей жидов».

Мы поехали дальше. Нельзя сказать, чтобы Прохоров был юдофобом. По своим политическим убеждениям он был либералом, но всю дорогу он повторял: «Боже, царя храни» и «бей жидов». Таков был ритуал. Такова была дореволюционная традиция.

Когда лорд Мильнер и Джордж Клерк вернулись в Петербург, к нам нагрянули военные — сэр Генри Вильсон со своими собратьями по оружию. Это посещение не имело политического значения. Однако оно чуть не испортило мои отношения с русскими друзьями и было причиной одного из самых неприятных эпизодов моей карьеры.

Генералы приехали в Москву не для деловых целей, а для развлечения. Они были пресыщены официальными приемами. Во всяком случае, их не интересовали политические взгляды московской оппозиции или безбородого консульского чиновника. Как мог я развлечь их? Надо ли устроить для них интимный обед и танцы? А так как приезжих

пятнадцать человек, то приглашать ли еще мужей? По этому поводу я беседовал с Генри Вильсоном по его прибытии и, стараясь угодить видному генералу, помчался выполнять его приказания.

Я обратился за помощью к жене. Она позвонила по телефону тем русским дамам, которые во время войны так усердно помогали нам развлекать разные английские делегации, посещавшие Москву. С большим рвением принялись они за это дело, и еще днем мы сумели организовать чудесный вечер. Конечно, мне не приходится говорить о том, что мы приглашали только хорошеньких и молодых женщин и что мужья их ничего об этом не знали. О, самонадеянная и пылкая юность!

Вечер состоялся в отдельном кабинете ресторана «Эрмитаж». Закуски и вина были лучшими из того, что тогда можно было достать в Москве. Играл оркестр Корша и в честь английских гостей исполнял «Люби меня и мир будет моим» с еще большим подъемом, чем всегда. Вечер удался на славу. Он носил дружеский характер, причем приличия ничем не нарушались. Да иначе и не могло быть в присутствии таких столпов респектабельности как генерал Клив, лорд Дунканнон (теперь лорд Бессбору) и сам Генри Вильсон. И все же среди этого невинного стада оказалась одна черная овца. Лорд Брук попросил разрешения привести одну свою знакомую. Мои московские друзья ее не знали. Она была аристократка, разведенная и, что всего хуже, — она приехала из Петербурга.

Я должен сказать, что как она, так и лорд Брук соблюдали этикет еще строже, чем самые благовоспитанные участники нашего благовоспитанного собрания. Но беда была уже непоправима. С раннего утра следующего дня мой телефон беспрестанно трезвонил, и меня вызывали гневные мужья, требуя объяснения моему поведению. Последний удар был мне нанесен одним моим другом, богатым и весьма влиятельным, который приехал прямо в генеральное консульство, чтобы лично меня увидеть. Его провели в мой кабинет. Он подошел к столу и щелкнул каблуками. Глаза его грозно сверкали.

— Роман Романович, — сказал он, — вы были моим другом. Я считаю своим долгом сказать, что вы поступили не как джентльмен, приглашая мою жену без меня. Прощайте.

И кипя негодованием, он вышел из комнаты, и мне нужно было потратить много усилий, чтобы восстановить нашу старую, нарушенную дружбу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Несколько дней спустя сборные делегации выехали в Англию, Францию и Италию. Они уезжали без оркестров, без торжественных проводов. Они отправлялись на Мурманск, где их должен был забрать «Кильдонан Кэстль»; помня судьбу Китченера, они держали день и час отъезда в тайне. И для большей конспирации они пожертвовали своими ботинками, оставив их по приказу лиц, ответственных за их жизнь, перед дверьми своих комнат; ботинки так и стояли там еще долгое время после того, как обитатели комнат исчезли.

Ходят слухи, что по возвращении своем в Англию лорд Мильнер представил в кабинет доклад, в котором выражал уверенность, что никакой революции не будет, но не успели высохнуть чернила на его докладе, как революция началась.

Мне не удалось проверить правильность этого рассказа одного из министров, но, уважая память лорда Мильнера, я склонен верить этому. Такая развязка не только льстит моему самолюбию, но и импонирует моему пристрастию к трагичному. Как-никак, а мои предсказания оправдались, хотя их и игнорировали.

Однако стремление к истине заставляет меня сомневаться в том, что лорд Мильнер когда-либо написал такой доклад и вообще так категорично высказывал свое мнение. В Министерство иностранных дел, правда, поступил доклад, начинающийся словами: «Это может показаться признаком самонадеянности в том, кто провел в России всего две недели», и кончающийся смелым предсказанием, что никакой революции не будет. Но доклад этот не был подписан лордом Мильнером.

К тому же ни в поведении лорда Мильнера во время его поездки в Россию, ни в многочисленных моих с ним беседах ничто не давало повода думать, что он верит в прочность царского режима. Какие сведения давал он мистеру Ллойд Джорджу, я не знаю, но не думаю, чтобы они были оптимистичны. Сэр Самуэль Хоар, сопровождавший группу Мильнера на обратном ее пути в Англию, усиленно подчеркивает, что все члены группы заблуждались почти во всех своих выводах и что рапорты их, написанные на «Кильдонан Кэстль», доказывают нелепую самонадеянность.

Несмотря на утверждения сэра Самуэля, я продолжаю думать, что лорд Мильнер был настроен не так уж оптимистично. Поездка в Россию привела его в мрачное настроение, которого не сумели рассеять восторги его подчиненных. Во всяком случае, в его последующих письмах к британским чиновникам, оставшимся в России, не было ни капли оптимизма. Достаточно одной цитаты — выдержки из письма, написанного к «Бенджи» Брюсу, главе канцелярии посольства, несколько недель спустя по возвращении лорда Мильнера в Лондон. Вот что он пишет: «Увы, увы! боюсь, что все делегации британских рабочих и все похвалы, расточаемые нами по адресу русской революции – победа демократии», «союз свободных народов против тиранов» и т. д., и т. п., совершенно впустую. Для меня очевидно, что намеренно или нет, но Россия выходит на войны. Это должно быть ударом для вашего шефа, который в прошлом сделал так много для укрепления дружбы России с Англией и который сумел бы предотвратить и новую катастрофу, если бы слушались его советов. Даже сейчас он прекрасно лавирует в столь трудном положении, но я боюсь, что никакой рулевой не спасет в этом ужасном тайфуне»

Здесь мало оптимизма. Одно несомненно, если поездка этой делегации не открыла глаза ее участникам на положение в России, тогда она была бесполезна даже как практический урок для западных союзников. В смысле изучения положения в России делегация смело могла остаться в Лондоне, Риме и Париже.

12 марта, то есть меньше чем три недели спустя после отъезда союзных делегатов, разразилась буря: в одну ночь хлебный бунт, подобный сотням других, происшедшим за предыдущий год, превратился в революцию. В Москве не было кровопролитий, так как не было никого, кто защищал бы старый режим. Был страшно холодный день. В нашем доме с центральным отоплением с неделю не было топлива, и я вышел на улицу и смешался с толпой. Самое яркое воспоминание того дня было ощущение теплоты в толпе перед зданием Городской думы. Хулиганства не было. Толпа охотно пропустила меня, но все же, прежде чем я достиг двери, мне стало так жарко, что я с облегчением снял свою меховую шапку. Одним из первых иностранцев я проник в московский штаб революции. Внутри комнаты и коридоры громадного здания городского самоуправления были наводнены группами студентов и солдат; солдаты были возбуждены, грязны и официальны, студенты — грубы и ликующи. Нельзя сказать, что это была сплошь молодежь.

Были и бородатые, с проседью люди, согбенные годами — люди, пережившие ссылку, прошедшие годы в крысиных норах и теперь с дрожащими коленями и странным блеском в глазах празднующие победу. Энтузиазм властвовал, почти заражал, но он сильнее чувствовался в уличной толпе, чем внутри здания. Я разыскал Челнокова. Он вышел ко мне из зала заседания. На лбу у него выступили капли пота, его хромота была заметнее, чем обычно. Он потерял голос.

— Я борюсь за свою жизнь, Роман Романович — сказал он. — Эсеры и социал-демократы против моей кандидатуры на пост городского головы, но не беспокойтесь, я одолею их. Но это неприятная история, и она повредит войне...

И с этими словами он оставил меня и вернулся к словесной борьбе, разгоравшейся еще сильнее. Тот, кто вчера был слишком революционен для царя, уже был слишком реакционен для революции.

При выходе из здания я встретил Грузинова, председателя губернского земства. Он только что получил назначение командовать революционными войсками. Казалось, его смущало поклонение и энтузиазм курсисток и гимназистов, окруживших его. Пламя разгоралось быстро.

Еще одна сцена ярко сохранилась в памяти от этого первого дня восторженного смятения. По дороге домой я встретил на улице Гарри Чарнока. Он долгое время вел переговоры о продаже крупных текстильных фабрик Вакулы Морозова богатой американской фирме. Что касается американцев, то они уже давно готовы были подписать контракт и уплатить деньги. Сам Чарнок вел это дело и рассчитывал составить на этом небольшой капиталец, а потому тоже стоял за подписание, но Морозовы с мужицким упрямством все торговались и торговались до последней минуты. Теперь было уже поздно. Чарнок лаконично протянул мне бумажку, это была телеграмма от американской фирмы с уведомлением о том, что сделка не состоится. Крупный капитал испугался.

Когда я проходил по Театральной площади, агитаторы-социалисты, преимущественно студенты и гимназистки, раздавали солдатам антивоенные брошюры. Против отеля «Националь» кто-то в толпе узнал меня. «Да здравствует Англия!» — раздался голос студента. «Да

здравствует Англия и революция!» — отозвалась грязная толпа. Это был беспокойный и смутный день.

История революции рассказана уже не одним пером. Она будет темой для историков во все века. Я не намерен говорить о ней подробно, а лишь постольку поскольку она касалась меня лично. Я не собираюсь также анализировать ее причины или гадать о том, что случилось бы, если бы Керенский сделал то-то в такой день, а генерал Иванов то-то — в другой. Мои личные взгляды на революцию могут быть изложены в нескольких словах.

Революция произошла потому, что терпение русского народа лопнуло под давлением царящих повсюду непроизводительности и упадка. Ни одна другая нация не выдержала бы стольких лишений, как Россия, в течение такого долгого времени. Как примеры непроизводительности приведу невероятно бесхозяйственное обращение со съестными припасами, окончательную разруху транспорта и бессмысленную мобилизацию миллионного не нужного и негодного войска. Как на пример разложения укажу на бесстыдную погоню за прибылью со стороны военных поставщиков. Ясно, что сам царь как самодержец должен отвечать за систему, провалившуюся главным образом из-за людей, назначенных им для контроля этой системы (Штюрмер, Протопопов, Распутин). Если бы он поступил по-другому, если бы он был другим человеком... это — детские доводы.

Необходимо понять одно — с самого начала революция была революцией народной. С самого начала ни Дума, ни интеллигенция не управляли ходом событий. И второе — революция была революцией ради земли, хлеба и мира, — но прежде всего ради мира. Был только один путь спасения России от большевизма — это заключить мир. Керенский провалился потому, что он не захотел мира. И Ленин достиг власти только тем, что обещал прекратить войну. Мне возразят, что Керенскому нужно было расстрелять и Ленина и Троцкого. Солдаты, рассуждающие так, всегда забывают о психологических предпосылках. После падения старого режима вождь (то есть Керенский), вознесенный первой революцией, должен был быть таким человеком, который не расстреливает своих противников. Таков первый этап естественного процесса. И даже если бы Керенский расстрелял Ленина

и Троцкого, вместо них появился бы другой антивоенный вождь и он победил бы со своей антивоенной программой.

Это было так ясно, что только серьезность нашего положения на Западе может служить оправданием наших безрассудных проектов (начиная с бесплодной архангельской экспедиции и кончая еще более бессмысленной, но, к счастью, невыполненной, японской интервенцией), которые мы отстаивали в целях восстановления восточного Фронта. К числу этих отъявленных дураков я причисляю и себя. Из всех военных один генерал Макрэди оставался в здравом уме.

Мое личное общение с первой революцией продолжалось восемь месяцев. Это был период депрессии и раздробленности, период новой деятельности; в ней не было уже ни капли веры и надежды. Я не был сторонником старого режима, но мне не трудно было уяснить себе, как скажется новый режим на ходе войны. Через три дня после начала восстания я представил посольству обстоятельный анализ революционного движения. Краткое содержание этого донесения, тогда же записанное мною в дневник, таково: «Положение настолько неясно и неопределенно, что трудно даже пытаться что-либо предугадать. Кажется немыслимой возможность прекращения борьбы между буржуазией и пролетариатом без дальнейшего кровопролития. Когда она начнется, никто не знает, но перспективы войны представляются мрачными».

Революция началась в понедельник, а в субботу я в качестве официального лица принимал участие в торжественном смотре революционных войск на Красной площади. Это было изумительное зрелище — сорокатысячное войско отмечало недавно обретенную свободу церемониальным маршем, проведенным с идеальной выдержкой и порядком. И все же, несмотря на безоблачное небо и ясный воздух, я испытывал такое чувство, как будто я в тюрьме. Громадная Красная площадь, видевшая столько раз подавление свободы, начиная с казней во времена Иоанна Грозного и кончая первомайскими демонстрациями большевиков; мрачный фон — высокие красные стены, окружающие Кремль, — все это отнюдь не символ свободы. Русские (как я в этом убедился позднее, в еще более беспокойные времена) обладают талантом помпы и торжественных зрелищ. И если с моей стороны наблюдалась склонность к излишнему энтузиазму (а я — романтик, инстинктивно ненавидящий всякое

правительство), то там были генералы — либеральные патриоты вроде Оболенцева, только что вернувшиеся с фронта, которые могли охладить мой пыл. От дисциплины не осталось и следа. Солдаты перестали отдавать честь своим офицерам. Дезертиры тысячами удирали в деревню. Трехсотлетние шлюзы были снесены. Поток не мог быть остановлен никакими человеческими силами, пока он сам не иссякнет. Можно было только искусно ввести его в менее опасное русло. Но этот метод был чужд союзникам, встретившим революцию сначала с притворным энтузиазмом, а затем с быстро возрастающей тревогой. Им хотелось — и для военных кругов это желание было естественно — вернуть все на прежнее место. Но, к несчастью, ни во времени, ни в революции не бывает возврата.

Через две недели после революции я отправился в С.-Петербург, чтобы увидеться с членами нового, Временного правительства. Князь Львов, премьер-министр, был моим близким другом. С остальными я часто встречался в течение последних двух лет. Шингарев, петербургский врач, Кокошкин, крупный московский специалист по международному праву, и Мануйлов, ректор московского университета были людьми большой честности и одаренности. Для английского либерального кабинета 1906 года они служили бы мощным и благородным украшением. Они были слишком мягки, чтобы иметь дело с буйными элементами Советов, совершившими революцию и теперь фактически управляющими Думой.

Перед отъездом на вокзал я пообедал с Челноковым, только что назначенным комиссаром Москвы. Он нарисовал мне картину того, что я могу встретить там. Его собственное положение становилось невыносимым. Он признался, что не мог надеяться на успех при новых выборах, проводимых теперь на основе всеобщего голосования для каждой городской думы и земства России. Царствование Львова, говорил он, продлится не дольше моего.

Флегматик, каких мало, он говорил без злобы и предубеждения. Я чувствовал его правоту. «Свободная демократия» (как потом издевались большевики над лозунгами первой революции) уже не годилась для либеральных вождей, годами восклицавших: «Верю в народ!»

Я разыскал князя Львова в Таврическом дворце среди неопишуемого хаоса. Он председательствовал на заседании кабинета министров.

Секретари непрерывно врываются в его кабинет с бумагами для подписи или наложения резолюции. Он начинал говорить со мной, но в это время звонил телефон. В коридоре его ждали делегаты с Фронта, из деревни, бог весть откуда еще. И в этой беспокойной, торопливой суматохе не было никого, кто бы мог защитить премьер-министра или снять часть забот с его плеч. Казалось, что все стараются заниматься неопределенным делом, чтобы избежать ответственности. Я пожалел, что здесь нет мисс Стевенсон, которая послала бы всю кучу делегаций к черту и навела бы в этом содоме какой-то порядок.

Разговор велся урывками. Наконец он прервал его. — Видите, что делается, — сказал он, — мы выбиваемся из сил, но ведь дел масса. Приходите ко мне на квартиру сегодня в двенадцать часов вечера.

Князь погладил свою седую бороду и посмотрел на меня со слабой улыбкой. Он казался усталым и изнуренным, а глаза его, и в обычное время маленькие почти исчезли за ресницами. За две недели он постарел на десять лет. Человек большого обаяния, он был бы превосходным председателем Совета Лондонского графства. Он был идеальным председателем земского союза, но он не годился для революционного премьер-министра. Я сомневаюсь, смог бы кто-нибудь из его класса удержаться в то время на его месте. Естественный ход событий не терпит никакого вмешательства в свои процессы, а время диктаторов еще не пришло или уже миновало.

Я был у Львова — скромная квартира из двух комнат, где он жил с того самого дня, когда приехал из Москвы принять бразды правления. Он был в том же костюме, дорожный мешок все еще стоял в передней. У меня сердце разрывалось, глядя на него. Он казался таким одиноким и покинутым. Как всегда, он говорил немного отрывисто и односложно. Он был скромен и, вопреки аристократической фамилии, больше походил на деревенского доктора, чем на аристократа. На мало его знающих он производил впечатление хитреца — исключительно благодаря своей застенчивости. С теми, кому он доверял, он был откровенен и прост — он не скрывал своих страхов и опасений. Россия переживает, но... Россия будет воевать, но... все, что он говорил, сводилось к признанию собственной слабости.

Встретившись с другими моими московскими друзьями, членами правительства, я увидел ту же беспомощность, те же опасения. Во всем кабинете был только один человек, обладающий какой-то силой. Это

был кандидат Советов — Керенский, министр юстиции. Революция сокрушила моих прежних друзей либералов. Приходилось искать новых богов.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Первую мою встречу с Керенским устроил князь Львов. Это была лучшая из возможных рекомендаций. Как большинство социалистов, Керенский уважал Львова как за его честность, так и за все, сделанное им для русского народа. Я получил приглашение к завтраку.

В назначенный час мои сани остановились у Министерства юстиции, я поднялся наверх по парадной лестнице где еще три недели назад царили чопорные церемонии старого режима, и вошел в приемную, наполненную толпой солдат, моряков, служащих, студентов, курсисток, рабочих и крестьян, терпеливо ожидающих своей очереди, как ждут в хлебных очередях на Литейном или на Невском. Я пробрался через эту толчею к усталому издерганному секретарю.

— Вы хотите видеть Александра Федоровича Керенского? Совершенно невозможно. Придется прийти завтра.

Я терпеливо объясняю, что приглашен к завтраку. Голос автоматически прерывает: — Александр Федорович уехал в Думу. Понятия не имею, когда он вернется. Сейчас вы сами знаете...

Он пожимает плечами. Не успел я изобразить на лице разочарование, как в толпе начинается волнение. «Расступись! Расступись!» — кричат солдаты. Два нервных, очень молоденьких адъютанта расчищают проход, и Керенский крупными энергичными шагами приближается ко мне. Лицо его мертвенно бледно, даже желтовато. Узкие, монгольские глаза усталы. С виду кажется, что ему физически больно, но решительно сжатые губы и коротко подстриженные под бобрин волосы создают общее впечатление энергичности. Он говорит короткими, отрывистыми фразами, делая легкие, четкие движения головой. На нем черный, похожий на спортивный, костюм, одетый поверх черной русской рабочей блузы. Он берет меня за руку и ведет в свое личное помещение, и мы садимся завтракать за длинным столом, человек на тридцать. Мадам Керенская уже завтракает. Рядом с ней Брешковская, бабушка русской революции, и крупный крепкий моряк Балтийского флота. Люди входят и вы ходят, когда хотят. Завтрак

наспех, по-видимому, для всех желающих. Керенский все время говорит. Несмотря на правительственный декрет о запрещении спиртных напитков, на столе вино, но сам хозяин на строгой диете и не пьет ничего, кроме молока. Всего несколько месяцев назад ему удалили больную почку, но его энергия неугасима. Он вкушает первые плоды власти. Ему уже мешает давление, производимое на него союзниками. «Как бы реагировал Ллойд Джордж, если бы к нему пришел русский и стал учить его, как управлять английским народом?» Несмотря на это он в хорошем настроении. Его энтузиазм заразителен, его гордость революцией безгранична. «Мы делаем то же самое, что вы делали несколько столетий назад, но пытаемся сделать это лучше — без Наполеона и Кромвеля. Меня называют сумасшедшим идеалистом, но благодарите Бога за идеалистов в этом мире». И в эту минуту я готов был благодарить Бога вместе с ним.

После этого первого завтрака я много раз встречался с Александром Федоровичем. В России я знал его лучше — гораздо больше, чем кто-либо из английских чиновников. Не раз я служил ему переводчиком при переговорах с сэром Джорджем Бьюкененом. Часто я видел его одного. Именно ко мне он пришел, скрываясь от большевиков. Это я помогал ему в выезде из России. И теперь, когда тысячи русских и английских противников большевиков поносят его, когда те, кто искал его расположения и опирался на его слова, проклинаят его имя, — я остаюсь его другом.

Керенский стал жертвой буржуазных упований, расцветших благодаря его недолгому успеху. Он был честен, если не велик, искренен, несмотря на ораторский талант, и для человека, превозносимого в продолжение четырех месяцев как божество, сравнительно скромно. С самого начала он вел безнадежную борьбу, пытаясь загнать обратно в окопы нацию, уже покончившую с войной. Под перекрестным огнем большевиков слева, на каждом перекрестке и в каждом окопе кричавших о мире, правых и союзников, требующих восстановления порядка царскими методами, у него не оставалось шансов на победу. И он пал, как пал бы любой, попытавшийся сделать то же самое.

И все же в продолжение нескольких недель казалось, что его ораторский талант совершил чудо и что его нелепая вера в благоразумие русского народа (разделяемая всеми эсерами и большинством либералов) может оправдаться. Ибо Керенского

следует считать одним из величайших, в своем роде, ораторов в истории. В его выступлениях не было ничего обаятельного. Его голос огрубел от постоянного крика. Он мало жестикулировал - удивительно мало для славянина, но он владел речью я говорил с покоряющей убежденностью. Как отчетливо я помню его первый приезд в Москву. Это было, кажется, вскоре после назначения его военным министром. Он только что вернулся из поездки по фронту. Он выступал в Большом театре — там, где позднее большевики ратифицировали Брест-Литовский мир. Но Керенский был первым политическим деятелем, выступающим на этой знаменитой сцене, давшей миру Шаляпина, Собинова, Гельцер, Мордкина и массу других певцов и танцоров. В тот день громадный театр был набит до отказа. В Москве зола русского патриотизма была еще тепла, и Керенский пришел, чтобы снова раздуть его пламя. Генералы, высшие чиновники, банкиры, крупные промышленники, купцы с женами занимали партер и ложи бельэтажа. На сцене представители Советов солдатских депутатов. На авансцене, как раз над суфлерской будкой, соорудили небольшую кафедру. Обычное десятиминутное опоздание, и по залу пошли толки: Александр Федорович болен, новый кризис отозвал его в С.-Петербург. Потом шумок разговоров сменился взрывом аплодисментов, и из-за кулис показалось бледное лицо военного министра; он направился к кафедре. Все встали. Керенский поднял руку и сразу заговорил. Он выглядел больным и усталым. Он вытянулся во весь рост, как бы собирая последний запас энергии. И с нарастающей силой начал излагать свое евангелие страданий. Ничего не достигнешь без страданий. Сам человек рождается в муках. Величайшие революции мира начались с Голгофы. Можно ли думать, что наша революция окрепнет без страданий? От царского режима мы получили в наследство громадные трудности — разваленный транспорт, отсутствие хлеба, отсутствие топлива, но русский народ умеет страдать. Он (Керенский) только что вернулся из окопов. Он видел людей, месяцами живущих по колено в грязи, в воде. Они обовшивели. Целыми днями у них нет ничего, кроме корки черного хлеба. Нет оружия для самозащиты. Они месяцами не видят своих жен. И все же они не жалуются. Они поклялись выполнить свой долг до конца. Ропот слышен только в Москве и С.-Петербурге. И от кого же? От богачей, от тех, кто в шелках и золоте пришел сюда, чтобы в комфорте послушать Керенского. Он обвел глазами ложи бельэтажа; страстными отрывочными фразами он довел себя до исступления. Неужели они

превратят Россию в развалины, будут виновны в позорнейшей в истории измене, в то время как покорные бедняки, имеющие все основания жаловаться, все же держатся? Ему стыдно за апатию больших городов. Что они совершили такого, чтобы чувствовать усталость? Неужели они не могут потерпеть еще? Он приехал в Москву с поручением от тех, кто в окопах. Неужто ему придется вернуться к ним и сказать, что их усилия тщетны, ибо люди в «сердце России» потеряли веру?

Окончив речь, он в изнеможении упал назад, подхваченный адъютантом. При свете ramпы его лицо казалось мертвенно-бледным. Солдаты помогли ему спуститься со сцены, пока в истерическом припадке вся аудитория повскакала с мест и до хрипоты кричала «ура». Человек с одной почкой, человек, которому осталось жить полтора месяца, еще спасет Россию. Жена какого-то миллионера бросила на сцену свое жемчужное ожерелье. Все женщины последовали ее примеру. И град драгоценностей посыпался из всех уголков громадного здания. В соседней со мной ложе генерал Вогак, человек, прослуживший всю свою жизнь царю и ненавидящий революцию больше чумы, плакал как ребенок. Это было историческое зрелище, вызвавшее более сильную эмоциональную реакцию, чем любая речь Гитлера и других ораторов, когда-либо слышанных мною. Речь продолжалась два часа. Ее действие на Москву и всю Россию продолжалось два дня.

Сейчас реакционеры и монархисты, когда-то преклонявшиеся перед ним, не скажут о Керенском ничего хорошего. Он служит им козлом отпущения больше, чем большевикам.

В 1923 году два юных отпрыска русского дворянства приехали ко мне в Прагу. Они были в большом возбуждении. Они сообщили мне, что весь день они занимались оскорблением Керенского. Узнав, что он живет в Праге, в отеле «Париж», они заняли соседний с ним номер и целый день кричали через тонкие перегородки: «грязная собака» и другие оскорбительные вещи. Это очень типично для отношения большинства русских к человеку, преступление которого заключается в том, что он не оправдал невозможных чаяний.

Керенский явился символом необходимой интермедии между царской войной и большевистским миром. Его поражение было

неизбежно. В глазах России, поддерживавшей его, смерть на своем посту была бы еще большим поражением.

В июне 1931 года мы завтракали с ним в «Карлтон Грилл Рум» в Лондоне; к нам вскоре присоединился лорд Бивербрук. Со свойственным ему острым интересом к человеческой психологии, он сразу же стал осыпать Керенского вопросами.

- Какова причина вашего провала?

Керенский ответил, что немцы толкнули большевиков к восстанию, так как Австрия, Болгария и Турция собирались заключить с Россией сепаратный мир. Австрия решила просить о сепаратном мире всего за две недели до Октябрьской революции.

Удалось бы вам победить большевиков, если бы вы заключили сепаратный мир? — спросил лорд Бивербрук.

Ну конечно, — возразил Керенский, — мы были бы теперь в Москве.

Так почему же, — поинтересовался лорд Бивербрук, — вы не сделали этого?

— Мы были слишком наивны, — последовал ответ. Наивность — лучшая эпитафия на могилу Керенского.

Теперь ему пятьдесят. Он прекрасно сохранился.

Со дня удаления больной почки он не болел ни одного дня. Он живет в Париже и все еще мечтает о дне, когда Россия вернется к нему. Он все еще идеалист. Ему, как и всегда, недостает суровости революционера, добившегося победы революции. У него два сына. Оба инженеры и оба работают в Англии.

По странному совпадению и Керенский, и Ленин, и Протопопов (самый сумасшедший из царских министров) родом из одного и того же волжского города — Симбирска. Керенский происходит из рода православных священников. Его отец был государственным чиновником и поверенным в делах Ленина. Это была единственная связь между ними. Керенский никогда не встречался с Лениным и видел его раз или два издали.

Тогда же я познакомился и с другими революционерами: Борисом Савинковым, Филоненко, Черновым, Зензиновым, Рудневым — новым городским головой Москвы, Урновым — председателем Совета

солдатских депутатов, Минором, почтенным эсеровским редактором, Прокоповичем и женой его Екатериной Кусковой - эта замечательная пара как по внешности, так и по работе свободно может быть названа русским двойником супругов Сидней Вебб. Когда-нибудь, когда русская революция также скроется во мраке времени, как французская их имена войдут в русскую историю. Иностранному же читателю все эти имена, за исключением Савинкова ничего не говорят.

По непонятной причине на Бориса Савинкова англичане смотрели как на человека действия и, следовательно, как на героя. Больше, чем другие русские, Савинков был теоретиком, человеком, который мог просидеть всю ночь за водкой, обсуждая, что он сделает завтра, а когда это завтра приходило, он предоставлял действовать другим. Нельзя отрицать его талантов: он написал несколько прекрасных романов, он понимал революционный темперамент лучше кого-либо и знал, как сыграть на нем для собственной выгоды. Он столько общался со шпионами и провокаторами, что, подобно герою одного из своих романов, он сам не знал, предает ли он себя или тех, кого он хотел предать. Как и большинство русских, он был одаренным оратором и производил впечатление на слушателя. Как-то раз он совсем покорила мистера Черчилля, увидевшего в нем русского Бонапарта. Однако в нем были роковые недостатки. Он любил пышность, несмотря на честолюбие он не хотел пожертвовать своими слабостями ради этого честолюбия. Его главная слабость была и моей слабостью — склонность к коротким приступам лихорадочной работы, и вслед за ними — длинные периоды безделья. Я часто встречался с ним после падения правительства Керенского. Он приехал ко мне в Москву в 1918 году, когда за его голову была обещана награда. Опасность для него и для меня была велика. Единственной маскировкой служили ему громадные роговые очки с темными стеклами. Почти все, о чем он говорил, сводилось к обвинению союзников и русской контрреволюции, в сообществе с которыми он обвинялся. В последний раз я видел его в ночном кабачке в Праге в 1923 году. Он был трагической фигурой, к которой нельзя было не чувствовать глубочайшей симпатии. Спустя некоторое время, растеряв всех своих друзей, Савинков вернулся в Москву и предложил свои услуги большевикам; меня это не удивило. Без сомнения, в этом беспокойном мозгу созревала какой-то грандиозный проект нанесения последнего удара на благо России и свершения какого-то необыкновенного

«государственного переворота». Это была ставка игрока (он всю жизнь играл в одиночку), и хотя противники большевиков утверждают, что он был убит — отравлен и выброшен в окно, — я не сомневаюсь в его самоубийстве.

Период правления Керенского был самым несчастливым в моей служебной карьере. Я потерял надежду, а вместе с ней и внутреннее равновесие. Я искал отдыха и развлечений в материальных удовольствиях. Я был ненасытен и разнуздан. Война, наложившая клеймо на многих моих сверстников, отняла у меня мою прежнюю энергию. Я затосковал по деревенской тишине и мирной прохладе полей и, не имея возможности обрести их, я предался соблазнам города. Я неуклонно катился вниз.

Когда английские министры поняли, чем грозит русская революция, они стали прилагать все усилия, чтобы образумить русских и сурово напоминать им об их обязательствах по отношению к союзникам. Какой-то умник выдвинул идею посылки франко-британской социалистической делегации с целью убедить русских товарищей не прекращать войну. И в середине апреля Месье, Мута, Кашэн и Лафонт — представители французских социалистов и мистеры Джим О'Грэди, Уилл Торн и В. В. Сандерс — активные британские лейбористы прибыли в С.-Петербург для проповеди Советам мудрости и патриотизма. Французы были интеллигентами. Муте — адвокат, Кашэн и Лафонт — профессора философии, а из англичан — Сандерс был тогда секретарем Фабианского общества. О'Грэди и Торн не нуждаются в представлении английским читателям.

С самого начала поездка носила характер фарса. Делегаты честно выполнили задание, но, как и следовало ожидать, они совершенно потерялись в дебрях русской революционной фразеологии. Они были сбиты с толку бесконечными дискуссиями об условиях мира. Они разбирались в жаргоне русских социалистов гораздо хуже меня. Незнание русского языка делало их положение еще более затруднительным. Но хуже всего то, что им так и не удалось завоевать доверия даже умеренных социалистов, с самого начала смотревших на них как на лакеев своих правительств.

Если делегаты не произвели никакого впечатления на русских, то они поистине изумительно реагировали на революцию. О'Грэди и Торн — особенно последний — были неподражаемы. Никогда не забуду завтрак

в посольстве, где этот простодушный великан развлекал нас рассказами о своих приключениях. Он чисто по-английски презирал пустословие, и болтовня на чужом языке его раздражала. Ему хотелось пустить в ход свои сильные руки и стукнуть по головам болтливых товарищей.

Союзные делегаты прибыли в Москву. Побывали на фронте. Произнесли — при помощи переводчика — несметное количество патриотических речей и наконец уехали, поумнев и расстроившись. Последствия этой поездки были весьма забавны. О'Грэди стал сэром Джеймсом О'Грэди и правителем колоний. Уилл Торн теперь лейбористский старшина в Палате общин и остался тем, чем был всегда, — вождем тред-юнионов. Мистер Сандерс в 1929 году был членом лейбористского правительства. Он тоже, только чуть-чуть розоват. Из французов Лафонт вошел и вышел из коммунизма; Муте все еще умеренный социалист, Кашэн — из всей шестерки самый убежденный патриот, человек, со слезами в голосе умолявший Советы не выходить из войны до окончательной победы Антанты, — теперь целиком отдался Москве и является оплотом большевизма во Франции.

События сменялись быстро. Через несколько дней после приезда франко-британской рабочей делегации и почти одновременно с возвращением Ленина в Россию, сюда приехал М. Альбер Тома, французский министр снабжения. Он тоже был послан французским правительством, по традиции претендующим на особое знание революции и жаждущим обеспечить сотрудничество революционной России с Антантой. Тома, социализм которого был чуть розовее консерватизма мистера Болдуина, приезжал в сопровождении целой армии секретарей и чиновников. Более того, он привез в кармане распоряжение об отозвании М. Палеолога, французского посла и циника, всегда казавшегося мне несерьезным человеком, но понимающего Россию гораздо лучше, чем многие думали. Отзывание было симптомом новой политики.

Я довольно часто встречался с Тома — общительным бородатым человеком, обладающим чувством юмора и здоровым аппетитом буржуа. Он подружился с сэром Джорджем Бьюкененом. Он поддерживал в Керенском верность войне. Он бывал на фронте, произносил перед войсками патриотические речи, жирно уснащенные

революционным пафосом. Тома спорил с Советами. И он оказал Антанте одну весьма существенную в то время услугу. Советы заняты были отвлеченным дискутированием условий мира. Они изобрели формулу: «Мир без аннексий и контрибуций», и эта фраза, повторяемая на тысячах митингах, в окопах и деревнях, разнеслась по стране, как пламя пожара. Этот лозунг был весьма невыгоден и неприятен для английского и французского правительств, заранее поделивших еще не завоёванную добычу в виде и аннексий и контрибуций.

Французскому послу и сэру Джорджу Бьюкеиену было поручено обойти хитростью эту новую весьма опасную форму пацифизма. Задание было тонкое и трудное. Казалось, из тупика не было выхода, и в отчаянии они обратились за советом к Тома. Веселый социалист рассмеялся.

— Я знаю своих социалистов, — сказал он. — Они будут драться до последней капли крови за лозунг. Нужно принять его, но изменить его толкование.

Так аннексии превратились в возмещение убытков, а контрибуции — в репарации. Кажется, именно тогда слово «репарация» впервые получило официальное применение. И именно Тома удалось убедить Советы принять пункт о возмещении убытков Эльзас-Лотарингией. В то время это казалось большим достижением. По существу, же, поскольку меньшевики и эсеры, поддавшиеся на уловку Тома, скоро сошли со сцены, это не составило никакой разницы.

А. Тома был самым заметным из всех французских и английских социалистов, приехавших в Россию за этот период первой революции. Он хорошо говорил. Он умел приспособиться. Он был смел. Но достижения были не значительны. Его речи были не убедительнее речей наших военных атташе, полковников Нокса и Торнхилла, более искренно убеждавших русского солдата не покидать своих союзников, воюющих в другом конце Европы. Для большевиков Тома, конечно, был ренегатом, социалистом-предателем, продавшимся буржуазии, и его изобличали и верхи, и низы революции.

Положение союзных делегаций в России на самом деле быстро становилось невыносимым. Все старались убедить русских продолжать войну, хотя они только что сбросили режим, отказавшийся

дать им мир. Капля здравого смысла могла подсказать каждому, что в данных условиях победа большевиков — лишь вопрос времени.

По горячим следам А. Тома приехал мистер Артур Гендерсон, посланный мистером Ллойд Джорджем с аналогичной миссией. Мистер Гендерсон также привез в кармане приказ об отозвании. Строго говоря, приказа этого не было в дорожном чемодане Гендерсона. Дело обстояло так: когда мистер Гендерсон, который был первым в истории Англии лейбористом, добившимся министерского портфеля, был уже на пути в С.-Петербург, Министерство иностранных дел послало телеграмму сэру Джорджу Бьюкенену, где перевозило его работу и предлагало отдохнуть. Другими словами, его отзывали, и пост передавался мистеру Гендерсону.

Расшифровав телеграмму и даже не посоветовавшись с послом, «Бенджи» Брюс, глава канцелярии, полетел к Сазонову, получил от него подтверждение тому, что Терещенко, министр иностранных дел во Временном правительстве, будет очень сожалеть об отставке сэра Джорджа Бьюкенена. Вернувшись в посольство, он послал длинную частную зашифрованную телеграмму Джорджу Клерку в Министерство иностранных дел о том, что назначение Гендерсона повлечет за собой катастрофу.

Как выяснилось потом, эта смелая инициатива подчиненного была излишней. Мистеру Гендерсону была дана оценка (одним из его лейбористских коллег) величайшего министра иностранных дел во всей истории Англии. Правда, доктор Дальтон, дававший эту замечательную оценку, был первым помощником мистера Гендерсона по работе в области внешней политики Великобритании, и, восхваляя своего шефа, он попадал под отраженные лучи его славы. Тем не менее во время поездки в Россию мистер Гендерсон выказал поистине достойную удивления осторожность. Вместе с Джорджем Юнгом он остановился в отеле «Европа», служившем пышным кровом для лорда Мильнера, Джорджа Клерка, сэра Гэнри Вильсона и многих других знатных гостей России. По приглашению посла я явился. Мы обедали с ним в его личном кабинете. Весь долгий летний вечер мы бродили с ним по Невскому, по площади Зимнего Дворца, по Дворцовой набережной. Под золотыми отблесками арки Адмиралтейства я услышал всю историю гендерсоновской карьеры. Я сопровождал его в Москву. Я водил его на торжественное заседание Московского Совета,

и в его номере московской гостиницы я устроил ему частное свидание (служба при этом переводчиком) с Урновым, бывшем в то время всемогущим председателем Совета солдатских депутатов.

Мистер Гендерсон имел репутацию — без сомнения заслуженную — первоклассного организатора. Он — крупная фигура на партийных заседаниях, где ему удается властвовать до последнего момента, скрывал свои истинные намерения. Он скрытен. Он не проговорится.

На этот раз, однако, я заглянул в душу мистера Гендерсона. Он был слабоват в географии. Он плохо ориентировался, но быстро сообразил, что местность нездоровая. Товарищи из Советов сбивали его с толку. Он не понимал их языка, ему не нравились их манеры. Разумеется, он хотел бы быть первым лейбористским послом, но все же положение министра выше положения величайшего из современных послов.

Больше того, сэра Джордж Бьюкенен был не так плох, как его представляли. Сэр Джордж, как быстро сообразил мистер Гендерсон, понимал этих дикарей гораздо лучше, чем сам м-р Гендерсон. Далее, сэра Джордж обошелся с ним любезно, а мистер Гендерсон любит любезность и лесть. Великая жертва оказалась поэтому очень легкой. Мистер Гендерсон рассказал, что, хотя пост посла у него в кармане, он пришел к выводу, что ничего хорошего из отзыва человека, понимающего Россию гораздо лучше его и показавшего себя совершенно свободным ото всяких партийных уз, не выйдет. Сэр Джордж даже не был против стокгольмской конференции, и мистер Гендерсон, чей несомненный патриотизм умерялся здравым смыслом интернационализма, видел проблеск надежды и стокгольмской конференции. Так, отряхнув прах С.-Петербурга с ног своих, он вернулся в Лондон для великого самоотречения и настояния на оставлении сэра Джорджа Бьюкенена послом его Великобританского Величества и Чрезвычайным полномочным представителем при революционном правительстве России. Вернувшись в Англию, он получил исторический отказ мистера Ллойд Джорджа в аудиенции, после чего немедленно подал в отставку. Так он потерял и пост посла, и портфель министра. Это было горькой наградой за его честное, хотя и с излишней скромностью выполненное поручение. Если оно и не имело желательных последствий в отношении России, то все же сумело отбить у мистера Гендерсона охоту к революционной деятельности до конца жизни. Что касается стокгольмской

конференции, защита которой повлекла за собой падение мистера Гендерсона, то ее решения получили поддержку нескольких британских дипломатов, в том числе и Эмсе Ховарда, и отвергнув их, мистер Ллойд Джордж, сперва загоревшийся, но быстро остывший, совершил небольшую ошибку. В Стокгольме мы могли многое выиграть, не рискуя почти ничем.

В это злополучное лето 1917 года я испытал нечто, достойное упоминания, хотя бы потому, что это проливает на русскую натуру полукомичный свет. Наш план пропагандистской работы предусматривал передвижное кино; его возглавлял полковник Бромхэд, будущий председатель британской фирмы Гомонт. Ему было поручено сагитировать русских на войну при помощи демонстрации фильмов о ходе войны на западном фронте. Можно легко себе представить эффект этих военных фильмов на дезорганизованную русскую армию, понятно, что они только увеличили число дезертиров.

Бромхэд не был виноват в этом. Он прекрасный парень, сознающий бесплодность показа военных картин людям, мечтающим только о мире. И все же он должен был выполнять свой долг. Фильмы входили в проект Уайтхолла о возрождении России, и их приходилось показывать.

Итак, в Москву приехал Бромхэд для демонстрации британских усилий. Не следовало ли мне помочь успеху его фильмов? Не следовало ли записаться в список патриотических ораторов? Казалось, нет ничего легче. В Москве, увы, ораторов было больше, чем борцов.

Мы наняли театр, составили программу. Но тут вмешался Совет солдатских депутатов, который был неизмеримо сильнее Временного правительства. Фильмы предназначались для московских войск. Пусть солдаты смотрят картины. Но долой красноречие воинствующих империалистов. Никаких речей! Напрасно я ходил в президиум Совета солдатских депутатов. Напрасно твердил о достоинствах свободы речи. Самое большее, чего мне удалось добиться, это разрешение выступить самому Локкарту — Локкарту, сочувствующему революции и знавшему взгляды революционной России на условия мира. Больше никому. На этих условиях члены президиума гарантировали успех фильмов. Они придут, чтобы убедиться в точности соблюдения условий.

Бромхэд принял условия с искренним удовольствием. Я дал согласие неохотно. Послеобеденная речь перед аудиторией, обезвреженной

хорошим обедом и шампанским, — одно дело, но выступление перед полуторатысячной толпой скептически и критически настроенных революционеров на их языке меня ничуть не привлекало.

Я поработал над этой речью. Я аккуратно составил ее по-английски и заказал перевод ее сладкоречивому русскому поэту. Я выучил ее наизусть. Речь вышла идеальной. Я репетировал свое выступление вплоть до каждой паузы. Недаром я разъезжал в свое время с Керенским.

Мой призыв был откровенно сентиментален. Ничто другое не смогло бы заставить большую массу людей воевать. Но я был сентиментален по-русски. Я не упоминал о преступности оставления западных союзников без поддержки. Я подробно остановился на желательности и даже необходимости для России сепаратного мира и нарисовал картину лучшего будущего, созданного великой революцией. Но ни лучшее будущее, ни сама революция не смогут осуществиться, если исчезнет всякая дисциплина и путь к Москве окажется открытым для врага. Ленин одной фразой разбил бы этот довод, но Ленин, к счастью, в это время еще скрывался в С.-Петербурге.

В день моего испытания я направлялся в театр с тайной надеждой на то, что мне не к кому будет обращаться. Но Совет солдатских депутатов сдержал свое слово. Здание было набито до отказа. Более того, рядом с ложей президиума, на балконе, сидел товарищ министра по морским делам Кишкин, верховный комиссар Москвы. У нас были фильмы двух видов — морские и военные. Мы поступили умно, оставив морские напоследок. Они были лучше, и в них не было ужасов. Мое выступление было в конце. Когда я вышел на авансцену, перед занавесом, мне не аплодировали. Я начал волноваться. Царило почтительное молчание. Меня собирались слушать. Я забыл все заученные приемы и почти все слова. Мой голос дрожал, но русские истолковали это как искреннее волнение, голос мой то грубел, то нелепо прерывался в самых неподходящих местах. Под конец меня слушали в гробовом молчании. Когда я кончил, у меня дрожали колени и пот ручьями, словно слезы, стекал по лицу.

Затем поднялся содом. Какой-то солдат вскочил на сцену и расцеловал меня в обе щеки. В ложе президиума встал Кишкин и громовым голосом заявил, что Россия никогда не покинет своих союзников. Сегодня днем он получил официальное извещение о том, что русский

флот вышел в Балтику в полной боевой готовности. Крики «ура!». Галдеж. Во всех уголках зала солдаты повскакали с мест и старались перекричать друг друга. Было почти как после объявления войны. Я вызвал припадок русской истерии. Триумф был непродолжительный. На другой день отчет о выступлении был жестко выправлен цензором. Социалисты опомнились.

Это было моим последним публичным выступлением в качестве генерального консула в Москве. Так же как старая Россия неуклонно шла к трагическому концу, так и в моей жизни произошла небольшая трагедия. Я говорю о ней открыто, без оговорок.

Незадолго до этого я сошелся с русской еврейкой, с которой случайно встретился в театре. Этим я обратил на себя внимание.

Вскоре слухи об этом дошли до посла. Он пригласил меня к себе, и мы вместе вышли на прогулку. Никто не мог бы обойтись со мной мягче. Никто не сумел бы так легко найти путь к моему сердцу. Он рассказал мне историю своей жизни. В молодости он пережил нечто подобное. Истинное счастье заключается в подавлении искушений, в которых человеку после пришлось бы раскаиваться. Он упомянул о моей работе. Жаль портить такую блестящую карьеру, ради преходящего ослепления, порожденного нервным возбуждением военного времени. Условность — родная сестра лицемерия, но в государственной службе без нее не обойдешься. Кроме того, тут вопрос долга и вопрос войны. Нужно ставить на первое место отечество, а не личную прихоть.

Я был глубоко тронут. Мы с чувством обменялись рукопожатием, я расчувствовался от искреннего восхищения перед этим прекрасным старцем, так глубоко понявшим меня, он, думаю, от не менее искреннего сожаления об утерянной юности; и я вернулся в Москву, поклявшись отказаться от счастья. Я сдерживал обещание ровно три недели, но однажды зазвонил телефон, и я вернулся.

Это был конец. Я нарушил слово, и на этот раз посол с грустью, но твердо заявил мне, что я на грани нервного потрясения и что мне необходимо отдохнуть на родине. Возможно, он был прав.

Не было никакого скандала. Я думаю, что даже секретарь Министерства иностранных дел не был осведомлен об истинной причине моего внезапного возвращения. Было сказано, что я

переутомлен и ко мне отнеслись с большим участием. Поэтому же мне удалось избежать торжественности официальных проводов. Мои московские друзья были — сама доброта. Им сказали, что я болен и нуждаюсь в покое. Все они ждали меня обратно через шесть недель, да и приближение краха России было уже настолько очевидным, что каждый был занят устройством своих личных дел. Для тех же, кто думал обо мне, я был мучеником долга. Но, зная, что мой вынужденный отпуск по болезни был на самом деле отозванием и что я никогда не вернусь, я остро чувствовал свое положение и улизнул из Москвы в первых числах сентября 1917 года скорее как преступник, чем как мученик. Я уехал из С.-Петербурга как раз в начале поединка Керенского с Корниловым и прибыл в Лондон за шесть недель до большевистской революции.

Книга IV. ИСТОРИЯ ИЗНУТРИ

*История – это список преступлений,
безумств и ошибок человечества.*

ГИББОН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

От путешествия обратно в Англию у меня в памяти осталось очень немного. Я должен был ехать через Финляндию и Скандинавию и в первый раз увидел Стокгольм. В этот раз он не произвел на меня никакого впечатления. Я даже не помню, где мы остановились. Насколько мне помнится, я избегал английского посольства. В этот период я не вел дневника. Мое умственное возбуждение было чрезмерным, и я хотел только одного — забыть обо всем.

Единственное, что осталось у меня в памяти — это железнодорожный путь от Христиании до Бергена. Пейзаж, более дикий и живописный, чем Скалистые горы Канады, служил прекрасным фоном для овладевшей мною меланхолии. Дикие болота, величественные пики, извилистые ущелья, озера и бурные горные потоки, где водится форель, а над ними ели и березы с листвой, позолоченной первым дыханием осени, напомнили мне Шотландию. В Бергене я встретил Вардропа, который должен был заменить меня в Москве. Это был пожилой педантичный человек, воплощенная осторожность. По-

видимому, Министерство иностранных дел не рисковало больше иметь дело с юношами. Не чувствуя к этому никакого интереса, я дал ему необходимые сведения о Москве. Не могу сказать, чтобы наша встреча доставила мне удовольствие. Говорить или думать о России стало для меня нестерпимым. Я хотел одного: вернуться на родину и заняться там рыбной ловлей.

Вероятно, я ехал из Бергена в Эбердин и совершил этот переезд, интересный разве только тем, что мы все время подвергались опасности со стороны подводных лодок, на судне «Vulture». В зале суда я не решился бы подтвердить под присягой свои показания относительно судна или порта, в котором я сошел на берег. Знаю только, что в Лондон я приехал в утро того дня, когда войска Корнилова выступили в поход на С.-Петербург. Я пошел прямо в Министерство иностранных дел и подал рапорт о своем прибытии. Меня встретили с распростертыми объятиями как человека, выполнившего важное поручение и потерявшего на этом свое здоровье. Необходимо было дать мне длительный отдых, чтобы я мог не думать о войне, работе или России до полного выздоровления. С внутренним отвращением я взял на себя навязанную мне роль и в тот же день принял все меры к тому, чтобы поехать в шотландские горы к своему дяде. Перед отъездом мне пришлось перенести еще одно испытание. Через несколько часов после моего прибытия в Лондон «Дэйли мэйл» удалось выследить меня. Им нужны были сведения об исходе конфликта между Корниловым и Керенским. Общественное мнение в Лондоне считало, что все шансы победить были на стороне Корнилова. Я придерживался совершенно определенного мнения о неизбежности неудачи Корнилова. Не мог бы я написать статью? Это необходимо сделать сейчас же. «Дэйли Мэйл» хорошо оплатил ее.

Тогда, пожертвовав обедом, я настроил статью. Представитель газеты смотрел мне через плечо, когда я писал. Я дал несколько новых снимков Керенского и Савинкова и получил чек на 25 гиней. Здесь по обыкновению сказались отсутствие у меня коммерческой жилки. За статью я взял меньше половины той суммы, которую сумел бы получить более ловкий журналист. С другой стороны, статья должна была быть анонимной; как правительственный чиновник, я не мог подписываться своим именем, а полученный чек оплачивал мой обратный проезд из Шотландии. Это был мой первый опыт писания срочных газетных статей.

Пути провидения не только неисповедимы. Иногда они, кроме того, доставляют массу развлечений. Обновленный телесно и духовно, я вернулся в Лондон через две недели после большевистской революции. Нужно было снова приниматься за работу. Меня временно отдали в распоряжение сэру Артуру Стил-Мэтленду в качестве эксперта по России в новом Министерстве внешней торговли. Я многим обязан сэру Артуру. Он проявил ко мне исключительное внимание и настоял на том, чтобы я жил в его доме на Кадоган-сквер, и, что гораздо важнее, снова ввел меня в курс русских дел. *Coup d'etat* произведенный большевиками, свел к нулю ценность тех услуг, которые я оказал Министерству внешней торговли. Сэр Артур помог мне, или, вернее, заставил меня найти новое поле деятельности.

В продолжение трех недель я завтракал и обедал с политическими деятелями. Единственной темой разговоров была, разумеется, Россия. Мои собеседники проявляли настолько большое невежество в том, что касалось России, что ко мне вернулась уверенность в моих знаниях. Я давно предвидел неизбежность большевистской революции и не мог разделять господствовавшего в Лондоне мнения, что ленинский режим не продержится дольше нескольких недель и что тогда Россия вернется к царизму или к военной диктатуре. Еще меньше верил я в то, что русские крестьяне возвратятся в окопы. Россия вышла из войны. Большевизм кончится, во всяком случае, не раньше, чем кончится война. Я расценивал как полное безумие нашу милитаристическую пропаганду, так как она не учитывала усталости от войны, приведшей большевиков к власти. С моей точки зрения, нам необходимо было серьезно отнестись к большевистским мирным предложениям. Целью нашей политики должно было быть заключение Россией антигерманского мира.

Мои попытки бороться с прочно укоренившимся мнением, что Ленин и Троцкий были переодетыми офицерами германского штаба или, по крайней мере, немецкими агентами, были безуспешны. Большой успех имели мои доводы тогда, когда я утверждал, что было бы безумием не войти в сношения с людьми, державшими в своих руках судьбы России.

Разные политические деятели по-разному реагировали на мои доводы. Общее настроение было в то время пессимистическим. Думается, в глубине души члены кабинета министров понимали, что Россия фактически вышла из войны; тем не менее они упорно шли

наперекор логике, отказываясь поверить в гибель своих скрытых чаяний. Среди консерваторов, которые в то время питали неестественный, а теперь необъяснимый страх к махинациям м-ра Артура Гендерсона, преобладала ненависть к Революции и боязнь ее последствий в Англии. Такую же боязнь встретил я и среди патриотов «Рабочей партии». На Кадоган-сквер я возобновил знакомство с Джимом О'Грэди и Уиллом Сором. Они тоже критиковали м-ра Гендерсона. Они говорили, что он перешел в лагерь сторонников Сноудена и держал курс на революцию и на «рабочий» кабинет министров. Я видел м-ра Гендерсона лично на Викториа-плейс, 1. За те семь месяцев, которые протекли со времени нашей встречи в России, он ничуть не изменился. Это был все тот же богобоязненный методист и напуганный революцией мелкий буржуа, каким он всегда был и останется. Он очень откровенно изложил мне свою позицию. Ему очень не нравилось отношение к нему Ллойда Джорджа, которое, по его словам, только увеличивало его престиж в лейбористских кругах. Его взгляды на русскую революцию почти не отличались от моих. Он решительно высказывался за необходимость установления сношений с большевиками. Он шел дальше. Он высказывался за созыв конференции, то есть за такую форму ведения переговоров, которая была бы гораздо более опасной, чем первоначально предложенная стокгольмская конференция. В те дни, однако, м-р Гендерсон подобно м-ру Ллойду Джорджу считал, что ему придется встретиться с Лениным лицом к лицу лишь для того, чтобы одержать над ним победу в поединке остроумия.

За три недели с 27 ноября по 18 декабря 1917 года я перевидал массу политических деятелей и экспертов. Мы вели бесконечные и ни к чему не приводящие разговоры. Этот период научил меня одному: человек в Лондоне имеет тысячу преимуществ перед человеком на арене действий. Тогда я был слишком молод, чтобы воспользоваться этим уроком. В последующем году мне предстояло на горьком опыте узнать, что значит находиться на арене действий.

За это время у меня было одно волнующее приключение. 18 декабря я должен был обедать с Бонар Лоу на Кадоган-сквер. Был туманный вечер. Туман сопровождался воздушной атакой. Я одевался под аккомпанемент оружейной пальбы и взрывов бомб. С трудом проложил себе дорогу через толпу на станцию подземной железной дороги Пикадилли и после долгих задержек и многих волнений я

наконец с опозданием на час достиг дома сэра Артура Стил-Мэтленда. Стол был накрыт на восемь персон. Сэр Артур даже не переоделся к обеду. Бонар Лоу не явился. Я оказался единственным из приглашенных, которому удалось добраться до места назначения.

На следующий день бесконечные разговоры последних трех недель начали претворяться в действие. Сэр Артур снова устроил званый обед. На этот раз кроме меня пришли Г. В. К. Дэвис, профессор истории в Оксфордском университете, и лорд Мильнер. Мы говорили до поздней ночи, и я повторил все свои аргументы в пользу необходимости завязать сношения. Лорд Мильнер отнесся ко мне очень доброжелательно. Уходя, он сказал мне, что мы с ним скоро встретимся. На следующее утро меня вызвали на Даунинг-стрит. Там я встретил лорда Карсона и лорда Керзона. Оба с похвалой отозвались о моей работе, и мы долго беседовали о России. В тот же день мы снова встретились в здании военного министерства в Уайтхолл-Гардене. Присутствовали несколько экспертов по русским делам, в том числе Рекс Липер и полковник Байрн. Нашим мудрым словам внимали министры — генерал Смэтс, лорд Карсон и лорд Мильнер. Разговоры были довольно бесцельными. Лорд Мильнер был единственным министром, который имел хотя бы элементарное представление о географии России. Лорд Карсон едва не вывел меня из моего торжественного настроения, серьезно спросив, какая разница между максималистами и большевиками. В конце совещания лорд Мильнер сказал мне, что кабинет в принципе признает необходимость завязать сношения с большевиками, но что они не могут подыскать человека, способного выполнить эту задачу.

Утром 21 декабря меня снова вызвали на Даунинг-стрит, 10. Мне пришлось ожидать минут десять. Потом меня ввели в длинную, низкую комнату, занятую огромным столом. Заседание кабинета только что кончилось. М-р Ллойд Джордж, держа в руках пенсне, стоял у окна, оживленно разговаривая с лордом Керзоном. Моего покровителя, лорда Мильнера, не было, и мне пришлось долго ожидать, пока он наконец вошел и подвел меня к м-ру Ллойд Джорджу.

— Мр Локкарт? — спросил он. Он пожал мне руку и отступил на шаг, чтобы повнимательней рассмотреть меня. — Тот самый?

Я чувствовал себя очень глупо. Потом, когда он привлек ко мне всеобщее внимание, он продолжал очень медленно, так, чтобы все могли слышать его:

Судя по Вашим отчетам, я ожидал увидеть мудрого, пожилого джентльмена с седой бородой.

Он похлопал меня по плечу, спросил, сколько мне лет; пробормотал что-то о молодости и о Питте, который был премьер-министром в 24 года, и мы принялись за дела. Началось новое заседание, на этот раз под председательством м-ра Ллойд Джорджа. В моем дневнике записано, что тогда он показался мне старым и усталым. Несмотря на это он очень живо и умело вел собрание. Он задал мне несколько вопросов о Ленине и о Троцком. Вопросы следовали один за другим так быстро, что я едва успевал ответить. Я понял, что у него уже сложилось определенное мнение по русскому вопросу. Позднее лорд Мильнер сказал мне, что на Ллойд Джорджа произвел большое впечатление разговор с только что вернувшимся из России представителем американского Красного Креста полковником Томпсоном, который в очень резких выражениях объявил, что считает безумием поведение союзников, до сих пор не вступивших в переговоры с большевиками. Когда наша беседа кончилась, м-р Ллойд Джордж встал и, коснувшись вкратце хаоса, царившего в России, и необходимости войти в контакт с Лениным и Троцким, подчеркнул, какое огромное значение имеет при этом такт, знание страны и понимание обстановки. В заключение он сказал, что, по его мнению, место м-ра Локкарта в этот момент не в Лондоне, а в С.-Петербурге. После этого меня отпустили.

В конце дня у меня было еще одно совещание с лордом Мильнером и лордом Карсоном. На этот раз присутствовал лорд Роберт Сесиль, ныне виконт Сесиль, и мне пришлось пережить очень трудные 15 минут.

Лорд Сесиль был товарищем министра иностранных дел. Он относился чрезвычайно скептически к мысли о пользе установления каких бы то ни было сношений с большевиками. В свете его позднейшего поведения как интернационалиста интересно отметить, что тот самый человек, который после войны так часто в Женеве сидел за одним столом с Литвиновым и Луначарским, в то время держался твердого убеждения, что Ленин и Троцкий были подкупленными германскими агентами и что они старались исключительно ради Германии и не

преследовали никаких своих целей. Мое будущее все ещё было для меня неясным.

В этот вечер лорд Мильнер и лорд Роберт уехали в Париж, а я отправился к родителям встречать с ними Рождество. Перед отъездом мне предложили оставить мой номер телефона и быть готовым к тому, что меня в любой момент могут вызвать и снова послать в Россию.

В день Нового года я вернулся в министерство. За это время там выработали план дальнейших действий. Было совершенно ясно, что мне придется очень скоро ехать в Россию; в качестве кого — мне не сказали. Через три дня все мои сомнения рассеялись. Я должен был ехать в Россию во главе специальной миссии, чтобы завязать неофициальные сношения с большевиками. Сэр Джордж Бьюкенен возвращался на родину. Мне предстояло отбыть на том самом крейсере, на который он должен был сесть в Бергене. Я получил весьма неясные инструкции. Моя задача заключалась в том, чтобы завязать сношения. Я не был облечен никакими полномочиями. Если большевики предоставят мне необходимые дипломатические привилегии, не будучи признанными британским правительством, мы сделаем такую же уступку в отношении Литвинова, которого большевики уже назначили советским посланником в Лондоне.

Мое положение сулило мне немало трудностей, но я принял свое назначение без всяких колебаний. Прежде всего нужно было получить рекомендательные письма к Ленину и Троцкому и установить *modus vivendi* с Литвиновым. Благодаря Рексу Липеру и то и другое удалось мне сверх ожиданий хорошо. Липер был в приятельских отношениях с Ротштейном, впоследствии посланником большевиков в Тегеране, а в то время штатным переводчиком в нашем военном министерстве. У меня была долгая беседа с Ротштейном; ее содержание подробно записано в моем дневнике. Ротштейн, много лет живший в Англии, был типичным интеллигентом и кабинетным революционером. Он сказал, что Троцкий стремится не к сепаратному, а к всеобщему миру. Он отметил, что на месте Ллойда Джорджа он безусловно принял бы предложение Троцкого созвать мирную конференцию. Англия выиграла бы от этого больше всех. Попытки русских занять самостоятельную позицию кончатся неудачей после выступления Троцкого, и Англия и Германия сумеют разрешить колониальные вопросы между собой. Германия согласится почти на все условия, то

есть на мир без аннексий и контрибуций. Может быть, она пойдет на компромисс даже в отношении Эльзас-Лотарингии. Во всяком случае, со стороны Англии было бы абсурдом продолжать войну ради Эльзас-Лотарингии. Нет ничего легче, как разрушить сентиментальные соображения, не имеющие глубоких корней в народе. Нам необходимо очень серьезно взвесить возможность заключения более выгодного мира через девять месяцев.

В то время на подобные предложения посмотрели бы как на измену. Теперь, когда Европа стонет под игом мирных договоров, они кажутся вовсе не такими безрассудными. (Кстати интересно отметить, что Ротштейн ошибся всего на полтора месяца в предсказании момента конца войны.)

Я уклонился от обсуждения вопроса о всеобщем мире, перевел разговор на Россию и изложил мои планы относительно ведения переговоров с его друзьями. Я выразил подлинную симпатию к желанию русских заключить мир и указал, что заключение сепаратного мира с Германией будет связано для России с большими затруднениями и что даже неофициальное сближение русского правительства с британским доставит России не меньшие выгоды, чем Англии.

Мы расстались друзьями. Ротштейн обещал использовать свое влияние на Литвинова, чтобы получить от него рекомендательное письмо к Троцкому. Через несколько дней все дело устроилось за столиком в ресторане Лайонса на Странде. Обе стороны были представлены: Литвиновым и Ротштейном от России и Липером и мною от Англии. Официального признания пока не последовало. Неофициально Литвинову и мне предоставлялись известные дипломатические привилегии, в том числе пользование шифрами и дипломатическими курьерами.

Это был удивительный завтрак. За окном — свинцовое январское небо. В плохо освещенном зале было темно и мрачно. Нам с Липером было ровно по 30 лет. Литвинов был старше нас на 11 лет, а Ротштейн на год или два старше Литвинова. **Оба они были евреи, оба подвергались преследованиям и сидели в тюрьме за свои политические убеждения. С другой стороны, Литвинов его настоящая фамилия Валлах — был женат на англичанке, а сын Ротштейна, британский подданный, служил в британской армии.**

Душой разговора был Ротштейн. В его манере говорить я нашел ту смесь лукавства и серьезности, которая впоследствии так пригодилась мне в переговорах с большевиками в России. Невысокий, бородатый, с темными живыми глазами, он был своего рода интеллектуальным сверчком. Его диалектические прыжки одинаково поражали нас и забавляли его самого. Его революционность была совершенно лишена кровожадности. Если бы британское правительство оставило его в покое, он вероятно до сего дня спокойно жил бы в Англии. Литвинов, крепко сложенный, с широким лбом, был более неповоротлив и менее остроумен. Он произвел на меня, скорее, благоприятное впечатление. Постольку поскольку большевик способен в большей или меньшей степени ненавидеть те или иные буржуазные институты, он, несомненно, считал германский милитаризм большей опасностью, чем английский капитализм.

После несколько нервного начала наши разговоры пошли очень гладко, и тут же, на грубой полотняной скатерти ресторанного столика, Литвинов написал мне рекомендательное письмо к Троцкому. Вот оно в переводе Ротштейна:

«Гражданину Троцкому

Народному Комиссару по иностранным делам.

Дорогой товарищ!

Податель сего м-р Локкарт едет в Россию с официальным поручением, точный смысл которого мне неизвестен. Я знаю его лично как вполне честного человека, разбирающегося в нашем положении и относящегося к нам с симпатией. Я считаю его пребывание в России полезным с точки зрения наших интересов.

Мое положение здесь остается неопределенным. Только из газет я узнал о моем назначении. Жду курьера, который привезет мне необходимые документы, без которых трудности моего положения еще увеличиваются. Посольство, консульство и русская правительственная комиссия до сих пор не сложили с себя полномочий. Их отношение ко мне будет зависеть от отношения британского правительства.

На днях я писал в Министерство иностранных дел и просил, чтобы меня приняли для разрешения ряда практических вопросов (визирование паспортов, пользование шифрами, военное соглашение и т.п.), но не

получил ответа. Предполагаю, что вопрос о моем признании не удастся разрешить до возвращения Бьюкенена.

Прием, оказанный мне прессой, вполне удовлетворителен. Я завязал знакомства с представителями лейбористского движения. Во всех социалистических газетах я поместил призыв к рабочим Англии. Даже буржуазная пресса охотно предоставляет мне свои страницы для того, чтобы я мог объяснить свое положение.

С первым же курьером напишу более подробно. До сих пор не получил вашего ответа на мою телеграмму № 1 от 4 января н. с. Поэтому я очень прошу вас подтвердить получение всех телеграмм и нумеровать ваши телеграммы.

Надеюсь, шифры будут мне переданы курьером. Привет Ленину и всем друзьям. Крепко жму руку.

Ваш (подпись) *М. Литвинов*.

P.S. Ротштейн просит передать Вам привет.

Лондон, 11 января (н. с.) 1918».

Завтрак кончился забавным инцидентом. Когда мы заказывали сладкое, Литвинов увидел на меню магические слова «пудинг дипломат». Идея понравилась ему. Новый дипломат будет есть дипломатический пудинг. Официант Лайонса взял заказ и через минуту вернулся сказать, что пудинга больше не осталось. Литвинов пожал плечами и улыбнулся.

— Меня не признают даже у Лайонса, — сказал он.

Мои последние дни в Лондоне были заняты не одними только встречами с Литвиновым и Ротштейном. Необходимо было набрать персонал для миссии. Мне предоставили почти полную свободу выбора. В качестве основного помощника я хотел взять Рекса Липера, так как его знание большевизма было бы для меня неоценимым. Однако накануне отъезда он решил остаться в Англии; он решил, что принесет больше пользы, поддерживая сношения с Литвиновым и интерпретируя своеобразную психологию большевиков мандаринам в Уайтхолле. Последующие события показали, насколько мудрым было его поведение. Хотя в то время я пожалел о принятом им решении, впоследствии я был благодарен ему за то, что он находился в Англии, когда я сунул голову в петлю в Москве. Я заменил Липера капитаном

Хиксом, который только что вернулся из России, где он принес много пользы в качестве эксперта по ядовитым газам. Человек исключительно обаятельный, он был популярен в России и понимал русских. Он был кроме того первоклассным лингвистом; прекрасно знал немецкий язык и владел русским. Его взгляды на сложившееся положение совпадали с моими. Впоследствии я никогда не жалел о моем выборе. Хикс оказался исключительно лояльным коллегой и преданным другом. В качестве эксперта по торговым делам я взял Эдварда Бёрза (Birse), московского коммерсанта, говорившего по-русски с колыбели. Штат моей миссии дополнял Эдвард Филей, блестящий молодой чиновник Министерства труда, ныне заметная фигура в Международном бюро труда в Женеве. Когда я брал шифры, мне посоветовали взять надежного денщика. Для этого нужно было заручиться письмом от военного совета и переговорить с генерал-адъютантом Макрэди. Этот разговор ободрил меня. У генерала Макрэди были свои взгляды на Россию, которые он и изложил мне в виде серии выкриков, стоя перед камином в своем кабинете в военном министерстве. Брать с собой в Россию денщика! Какой смысл возить солдат в Россию? Читали ли когда-нибудь ребята из Министерства иностранных дел историю? Неужели они не понимают, что если десятиmillionная армия развалилась, ее не восстановить в течение целого поколения? Военная пропаганда в России — это бесцельная трата денег и энергии.

Взгляды генерала были совершенно правильными. Если бы Уайтхолл придерживался их в 1918 году, можно было бы избежать излишнего кровопролития и миллионных затрат. Я был согласен с генералом и пытался втолковать ему это. Я объяснил ему, что моя миссия была дипломатическая, а не военная, и что моей целью было завязать сношения с людьми, которые в данный момент вели переговоры о сепаратном мире с Германией. Я получил денщика — высоченного ирландского гвардейца. Он явился на вокзал пьяный. По дороге в Эдинбург он протрезвился, снова напился на следующее утро, предложил за полкроны состязаться со мной в боксе на Прейнсес-стрит и отстал от нас по дороге в Квинсфори. Больше мы его не встречали.

Перед отъездом мне пришлось вести переговоры с целым рядом важных чиновников Министерства иностранных дел; среди них были лорд Хардинг, Эрик Друммонд, Джордж Клерк, Дон Грегори, Джордж Бьюкенен, Ропни Кэмпбелл и лорд Роберт Сесиль. Последний все еще

был настроен скептически и не мог отделаться от уверенности, что Троцкий был переодетый немец. Более спокойно обстояло дело с прессой. Моя миссия до известной степени держалась в тайне. Кое-что, однако, просочилось в прессу: помещались заметки, насмешливые или похвальные, в зависимости от взглядов данной газеты, о молодом человеке из Москвы. Одна вечерняя газета объявила, что я был назначен послом в Россию, что в качестве возможных кандидатов назывались м-р Артур Гендерсон и я и что мое знакомство с Россией решило выбор в мою пользу.

Почти ежедневно я виделся с лордом Мильнером. За пять дней до отъезда мы с ним вдвоем обедали у Брукса. Он был в одном из своих самых блестящих настроений. С чарующей откровенностью он говорил со мной о войне, о будущем Англии, о своей карьере и о возможностях молодежи. Он с горечью отозвался о Министерстве иностранных дел, назвал м-ра Бальфура безобидным старичком и резко критиковал других важных лиц из министерства, которые еще живы в настоящее время. Перед смертью он хотел бы провести шесть месяцев в Министерстве иностранных дел. Он вымел бы их всех оттуда метлой или лучше подверг бы министерство обстрелу, а потом назначил бы лорда Роберта Сесия министром, а сэра Эйра Кроу товарищем министра.

На войну он смотрел пессимистически. Давая мне окончательные инструкции, он подчеркнул серьезность моего положения. Если не удастся быстро ликвидировать угрозу подводных лодок, необходимо будет как можно скорей принять решение. Он не исключал возможности переговоров о заключении мира. Что касается России, положение стало настолько серьезным, что результаты моей миссии особенного значения иметь уже не могли. **Моей главной задачей было нанести максимум вреда Германии, вставлять палки в колеса при переговорах о сепаратном мире и всеми силами укреплять сопротивление большевиков в отношении германских требований.** Все сведения о значении и о силе большевистского движения, которые я смогу собрать, представят исключительную ценность. О всех затруднениях я должен телеграфировать ему лично.

Мне трудно писать о лорде Мильнере иначе, как с глубоким восхищением. Он никогда не блистал на рыночной площади политической жизни. В нем не было лживости политического деятеля.

Разумеется, он не был оратором, как например м-р Ллойд Джордж. Но в совете министров, члены которого были в большинстве случаев полными невеждами во всем, что не касалось Англии, его широкие познания, его способность к настоящей работе его глубокое понимание тонкостей административной работы делали его незаменимым. Он был незаменимым сотрудником Ллойда Джорджа, так как на него можно было положиться в том, что он прочтет все бумаги, проработает любой план и выскажет объективное и беспристрастное мнение по любому поставленному перед ним вопросу. Благородный образ мыслей, исключительное личное обаяние, возвышенный идеализм, полное отсутствие личного честолюбия и глубокий патриотизм делали его идеальным вдохновителем молодежи. С молодежью он чувствовал себя лучше всего. Он любил окружать себя молодежью. Он верил, что нужно давать молодым работникам возможность проявить себя. До конца своей жизни этот человек, такой мягкий и чуткий в обращении и такой непреклонный в достижении своих целей, сохранял глубокий интерес к будущему Англии. Он был очень далек от того шовиниста и реакционера, каким его одно время представляло общественное мнение. Наоборот, многие его взгляды на общество были поразительно передовыми. Он верил в хорошо организованное государство, где личные заслуги и таланты имеют большее значение, чем титулы или богатство. Он не чувствовал никакого уважения к изнеженному аристократу, а тем более к финансисту, который составил себе состояние не производством, а рыночными спекуляциями. Я был одним из последних молодых работников, поклонявшихся ему, и он до сих пор остался моим кумиром. В общественной жизни сегодняшнего дня я не вижу ни одного Мильнера, ни одного человека, способного беззаветно служить государству, не преследуя никаких личных целей, а только стремясь служить ему хорошо. Этот человек в гораздо большей степени, чем политические деятели и миллионеры, может служить идеалом общественного деятеля. В жизни каждой нации важен, в конце концов, только характер, и в этом отношении ни один из встреченных мной так называемых великих людей, не может сравниться с лордом Мильнером. Его отношение ко мне служит прекрасным доказательством этого. Он устроил мою русскую миссию не потому, что он чувствовал к большевизму что-либо кроме отвращения, а потому, что он считал меня наиболее компетентным из англичан во всем, что касалось России. Он был видимо разочарован,

когда узнал, что я душой и телом готов был предаться большевикам. Мои последующие неудачи могли вызвать у него мысль о неправильности его выбора. Однако его отношение ко мне не изменилось. Когда я вернулся, он был так же добр ко мне, как и перед отъездом. Я снова не раз обедал с ним вдвоем у Брукса и был частым посетителем в его доме на Литтль-Колледж стрит. Когда я снова уехал из Англии, я старался не терять с ним связи. Он с интересом следил за моей карьерой, и по его совету (исполненному, к сожалению, слишком поздно) я ушел из Министерства иностранных дел.

В одном отношении участие, которое лорд Мильнер принимал в моем назначении, было губительным для моих планов. Я был назначен в качестве главы русской миссии не Министерством иностранных дел, а военным советом, то есть фактически м-ром Ллойд Джорджем и лордом Мильнером. Мое назначение было проведено через головы чиновников министерства, недовольных методами работы Ллойд Джорджа, который оставлял на их долю только более мелкие поручения.

Я должен был учесть это своевременно, тем более что лорд Роберт Сесиль прозрачно намекнул мне на это, и постараться умиловить высших чиновников министерства. Сесили и Мильнеры уйдут после конца войны, Хардинги, Тирреллы и им подобные останутся. Перед отъездом я был у лорда Хардинга и, кажется, вел себя с подобающей скромностью. Признаюсь, однако, что эта сторона моего положения не привлекала моего особенного внимания. Приключение затрагивает глубочайшие струны в сердце молодого человека. Я получил возможность принять участие в великом приключении, и моей единственной мыслью было как можно скорей начать его. За прошедший месяц я вращался среди людей, стоявших в центре политической жизни Лондона. Меня выбрали из бесконечного количества кандидатов и дали мне трудное и увлекательное поручение. Мне невероятно повезло. Если моя голова и не закружилась слегка от успеха, то всегда найдутся добрые друзья, которые скажут, что она закружилась.

Я уехал с большой помпой. С письмом Литвинова в кармане и с благословением лорда Мильнера я выехал 12 января в Эдинбург и провел ночь у бабушки, которая всплакнула над моей участью. На следующий день в сопровождении других членов миссии и жены,

поехавшей нас провожать, я направился в Квинсферри. Был яркий солнечный день, и, когда мы проехали верстовой столб на десять миль, перед нами внезапно открылась панорама: мост через форт, а за ним — британская эскадра.

Мы прибыли в «Гоус Инн» как раз к завтраку. Теперь о нас заботилось морское министерство. От них мы не получили почти никаких сведений. Известно было только, что вечером нам предстояло сесть на крейсер, который повезет нас в Берген. До сумерек мы решительно не знали, как нам убить время. Я ходил вдоль берега, смотрел на большие военные суда и думал, когда же я вернусь домой. Я воспитывался на Стивенсоне. Здесь, в этой самой старомодной гостинице «Гоус Инн», дядя Эбенезер и капитан Госизон сговорились заманить Давида Бальфура на бриг «Ковенант» и продать его в рабство на американские плантации. То, что мы остановились тоже в «Гоус Инне», не предвещало ничего доброго. К тому же, было 13-е. Скоро, однако, дела заставили меня забыть все эти мрачные предчувствия. Когда наступила темнота, на берег сошел молодой лейтенант и шепотом сообщил нам, что нам пора на борт. Чудесный покров тайны окутывал нашу посадку. Мягко ступающие матросы незаметно унесли наш багаж. Потом мы молча гуськом спустились по ступенькам с пристани на катер, который должен был перевезти нас на «Ярмут». В шесть часов пополудни мы были на борту. Однако якорь был поднят только на рассвете следующего дня. Тогда сопровождаемый двумя истребителями наш корабль мед ленно прошел между огромными боевыми крейсерами, миновал массивные фермы моста через форт и вышел в открытое море.

Великое приключение началось.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Если путь из Москвы в Лондон совершенно изгладился из моей памяти, то путешествие обратно в Россию я помню так ясно, словно оно было только вчера. В нем не было ни однообразия, ни спокойствия. Я сделался важной особой, и это изменение отразилось на отношении ко мне двух главных барометров мирового значения: прессы и наших заграничных консульств. В первый вечер моего пребывания на «Ярмуте» я торжественно обедал вдвоем с капитаном, высоким, хорошо сложенным человеком с твердым лицом и спокойными,

самоуверенными манерами. Он был внуком В. Г. Грэса, знаменитого игрока в крикет; теперь он адмирал. Остальные члены миссии обедали в кают-компании. Для многих из нас это был последний обед на борту парохода. Как только мы миновали остров Мэй, мы попали в сильный шторм. Было страшно холодно, и каждые полчаса мы попадали в новый буран. Северное море было в самом скверном состоянии, какое только можно себе представить, а наш легкий крейсер вовсе не подходил для таких бурь. Мы не могли выйти на палубу. У многих матросов и по крайней мере у одного из офицеров разыгралась морская болезнь. Хиксу, Филену и Бёрзу было очень плохо.

На следующее утро показался норвежский берег, но море было слишком бурным и буран слишком ослепляющим для того, чтобы мы могли войти в фиорд. Ночью один из истребителей, неспособный дольше выдерживать шторм, был принужден вернуться обратно. На некоторое время мы потеряли связь и со вторым истребителем, так как радиостанция замерзла.

Я не страдал от морской болезни, но признаюсь откровенно, что почувствовал облегчение, когда после 24 часового блуждания около норвежского берега мы наконец вошли в Бергенский фиорд. Здесь нас встретил коммодор Гаде, главнокомандующий норвежским флотом. На борту его паровой яхты были сэр Джордж Бьюкенен, генерал Нокс, адмирал Стэнли, капитан Скэл и капитан Нейльсон, возвращавшиеся в Англию. У меня состоялся получасовой разговор с посланником. Он был очарователен, как всегда, но выглядел на этот раз больным и усталым. Первые 10 месяцев революции отняли 10 лет его жизни.

Попрощавшись с посланником и его свитой, мы прекрасно позавтракали с Гаде и в четыре часа дня сошли на землю в Бергене. На следующее утро мы совершили путешествие по самой чудесной в мире железнодорожной линии от Бергена до Христиании. Зимой, однако, этот путь не произвел на меня такого впечатления, как осенью.

Норвежские купцы разжирили на поставке судов и рыбы союзникам, поэтому в Христиании было очень весело, и деньги тратились без счета. Шампанское лилось рекой начиная с 11 часов утра. Население держалось определенно британской ориентации; ненависть к немцам, подводные лодки которых стоили жизни многим норвежцам, была очень сильна. За несколько дней до нашего приезда один немецкий

эстражник был освистан норвежской публикой, когда он попытался запротестовать, его чуть не разорвали в клочки.

Мы провели в Христиании сутки. Хотя я спешил в Россию, зная о римско-германских мирных переговорах, время прошло довольно приятно. Я обедал в нашем посольстве и встретился с сэром Мансфельдом Финли — одним из самых высоких англичан и, несомненно, самым высоким дипломатом в мире. Он был хорошим организатором, и с помощью Чарльза Брюднелл-Брюса добился того, что огромное посольство (в Христиании, где в мирное время царит дипломатический застой, во время войны был благодаря блокаде самый большой штат) работало с исключительной четкостью. По своим политическим взглядам он был крайним консерватором и охотней примирился бы с поражением в войне, чем с возможностью социальных потрясений Англии.

В Христиании мы впервые встретили английских беженцев из России. Эти люди, члены богатых английских колоний в С.-Петербурге и в Москве, видели, как в одну ночь, на их глазах их благополучие было сметено ураганом революции. У меня в дневнике записан разговор с одним из этих беженцев — именно с Рейнольдом, известным лесопромышленником, близко связанным с сотрудниками нашего посольства. Он потерял все и очень нервничал; его преследовала одна идея — чтобы мы как можно скорее заключили мир и совместно с Германией восстановили порядок в России.

Я вспоминаю этот разговор, потому что он типичен для настроений русской буржуазии в Москве и С.-Петербурге в 1918 году. Однако перед лицом этих фактов наши военные эксперты упорно продолжали писать меморандумы о лояльности русских и о восстановлении восточного фронта, как будто в России после большевистской революции еще остались люди, способные думать о чьих-либо интересах, кроме своих собственных, и о каком-либо фронте, кроме внутреннего. Я не ставлю этого в упрек русским. Это — здравый смысл. Англичанин или немец, поставленный в аналогичные условия, рассуждал бы точно так же. Если и были русские, которые поддерживали английскую идею восстановления восточного фронта и которые говорили о святости своих обещаний вести войну до победного конца, они сознательно или бессознательно держали язык за зубами.

Единственной целью каждого русского буржуа (а 99 процентов так называемых лояльных русских принадлежали к буржуазии) была интервенция британской армии (а если не британской, так германской) для восстановления порядка в России, подавления большевизма и возвращения буржуазии ее собственности.

По прибытии в Стокгольм мы узнали, что в Финляндии вспыхнула гражданская война и что у нас не было почти никаких шансов добраться до С.-Петербурга. Однако я решил пробиться во что бы то ни стало, и пока сэр Эсме Гоуард (теперь лорд Гоуард и экс-посланник в САСШ, в то время наш посланник в Стокгольме) связывался по телеграфу с британскими представителями в Гапаранде и Гельсингфорсе, чтобы облегчить нам наше путешествие, я отправился к Воровскому, русскому представителю в Швеции, чтобы выхлопотать у него разрешение на встречу нас у финляндской границы русским поездом.

Воровский понравился мне. У него было тонкое интеллигентное лицо с живыми серыми глазами и каштановой бородой. Он был худ, выглядел аскетом и произвел на меня впечатление человека со вкусом и очень культурного. У него были красивые руки; в Париже его, не задумываясь, приняли бы за художника или писателя. Я показал ему письмо к Троцкому, и он обещал сделать все возможное, чтобы помочь мне. От него я узнал последние новости о русско-немецких мирных переговорах в Брест-Литовске. С моей точки зрения, новости эти были, скорей, приятными. Вначале немцы хотели заключить мир как можно скорее, **но теперь, после измены украинцев, целиком предавшихся им**, они пытались заставить большевиков принять самые невозможные условия. По словам Воровского, переговоры еще не закончились. Если это будет только возможно, он доставит нас в Петербург через три дня.

Мы прибыли в Стокгольм в субботу, 19 января. Только в пятницу, 25 января нам удалось выехать в Гапаранду и в Финляндию. Хотя задержка была неприятна, наше пребывание в Стокгольме было небезынтересным. Город выглядел изумительно красиво — весь в снегу под голубым небом. Погода была прекрасная, воздух — как шампанское. Мой отель осаждался посетителями в большинстве случаев русскими и англичанами, бежавшими из С.-Петербурга и Москвы, которые хотели, чтобы я защитил их имущество или передал

письма их близким. Я завтракал и обедал с сэром Эсме Гоуардом. Он познакомил меня с Брантингом — шведским социалистическим премьер-министром. Брантинг, массивный и величественный человек, был инициатором злосчастной стокгольмской конференции социалистов, на которую с таким неодобрением смотрел м-р Ллойд Джордж. Она не состоялась, так как английские консерваторы боялись, что британские делегаты попадут в лапы немецких волков. Брантинг не отказался от своей мысли и собирался пригласить на конференцию большевиков. Сэр Эсме Гоуард, который в Стокгольме имел возможность составить себе более объективное представление о положении обеих враждующих сторон, чем находившиеся в других местах дипломаты, поддерживал начинания Брантинга, справедливо заключая, что от такой конференции мы ничего не потеряем и можем кое-что выиграть. Как и все другие попытки, клонившиеся в конечном счете к заключению мира, она не привела ни к чему.

В Стокгольме же я встретил некоторых старых друзей — непостоянного Ликиардопуло, Гюй Кольбрука, старого русского джентльмена генерала Вогака — и завязал новые знакомства, в частности с Клиффордом Шарпом, блестящим редактором «Нью стейтсмен». «Лики», некогда либерал, теперь, как и другие русские либералы, стал крайним реакционером. Он пытался напугать нас страшными рассказами о России: как в Туркестане население вырезало стариков, женщин и детей, потому что нечего было есть; как в Петрограде люди меняли костюм на ломоть черного хлеба. С нашей стороны было безумием продолжать дальше путешествие. Англия должна изменить курс своей политики и субсидировать монархистов. Большевики дольше месяца не продержатся.

Более интересен был мой обед с Нобелем — членом знаменитой шведской семьи Нобелей. Он прожил много лет в С.-Петербурге и имел крупные интересы во всей России. Его взгляд на создавшееся положение был более правильным. Он был убежден, что большевизм еще не достиг своего апогея. Как все иностранцы, имевшие собственность в России, он горячо высказывался за всеобщий мир и за антибольшевистскую интервенцию союзников вместе с немцами. Он был один из немногих, кто уже тогда считал большевизм мировой угрозой. Он вошел в шведский стрелковый клуб для того, чтобы в случае пролетарского восстания в Швеции занять место на буржуазных баррикадах. Не все мое время занимали подобные серьезные и

мрачные беседы. Более легкомысленные развлечения доставил мне сэр Кольридж Кеннард, секретарь посольства по британской пропаганде в Швеции. Сэр Кольридж — ориенталист, поэт и романтик. У него создалось по-своему очень интересное представление о пропаганде. Представители шведских высших классов были германофилами. Кроме того, они были сентиментальны и любили весело проводить вечера. Сэр Кольридж выработал фантастический, но по существу ценный план превратить их в англофилов, создав в Стокгольме первоклассное английское варьете. Он привлек на свою сторону сэра Эсме и убедил Уайтхолл, что английская красота и английский талант являются более мощными политическими факторами, чем передовые статьи в субсидируемой шведской прессе. И он получил почти полную свободу действий.

Он гордился своим кабаре не меньше, чем Муссолини своими драмами, и не позволил нам покинуть Стокгольм, не побывав там. Это был удивительный вечер. Мы пообедали в великолепном мавританском зале Гранд-отеля и отправились под звездным небом, при луне, сиявшей над замерзшими водами фиорда, к Рольфу, где помещался двор сэра Кольриджа. Там я впервые услышал, как мисс Ирэна Браун поет «Hello, my dearie!». Там же мисс Бетти Честер помогала победе союзников, вызывая своей живостью взрывы аплодисментов у сентиментальных пьющих пунш шведов. Это была великолепная и наиболее удачная форма пропаганды, потому что она окупала себя. Для меня западная цивилизация конч лась этим вечером на девять месяцев.

На следующий день я получил письмо от Воровского, вызывавшего меня к себе. Он получил телеграмму из С.-Петербурга. Были приняты все меры к тому, чтобы обеспечить нам безопасный проезд от финской границы. Он сообщил мне кроме того последние новости из России. В них не было ничего утешительного. Шингарев и Кокошкин, два экс-министра правительства Керенского, были зверски умерщвлены матросами в морском госпитале в С.-Петербурге, куда их перевезли из Петропавловской крепости. Я близко знал их обоих, особенно Кокошкина, который был моим старым другом по Москве. Оба принадлежали к лучшему типу русских. Вся их жизнь прошла в беззаветном служении обществу. Они были либералы, без устали работавшие чтобы помочь угнетенным; трудно было найти среди общественных деятелей двух других людей, которые были бы в такой

мере лишены личного честолюбия или эгоизма. Известие об этой бойне наполнило меня подлинным ужасом. Революция развертывалась, как по-писаному. Ее первыми жертвами, как всегда, оказались демократы, больше всего верившие в здравый смысл народа. Даже Воровский был потрясен и казался пристыженным. Через пять лет он сам пал жертвой выстрела, сделанного русским монархистом в отеле «Бо Риваж» в Лозанне.

В тот же вечер, наспех попрощавшись с нашими друзьями, мы выехали в Гапаранду — шведский пограничный городок на северной оконечности Ботнического залива. Путешествие было утомительным. Оно продолжалось 26 часов с лишним. Было много остановок, паровоз пыхтел и рычал, словно не желая, чтобы мы ехали дальше. По существу говоря, мы были вправе повернуть назад. В Финляндии вспыхнула гражданская война между белыми и красными. Белые держали в своих руках север. Красные завладели Гельсингфорсом. Нам предстояло перебраться через фронт. Кондуктор и пассажиры шведы уверяли нас, что нам это не удастся.

Утром в субботу, 26 января мы прибыли в Галаранду и после некоторых разговоров и больших колебаний пересекли границу и очутились в Финляндии, в Торнео. Там мы провели целый день, обсуждая вопрос о нашем дальнейшем образе действий. Я решил, что мы зашли слишком далеко, чтобы отступать. Благодаря энергии Гринера, английского уполномоченного по проверке паспортов, нам удалось убедить финнов, чтобы они подали поезд, и в 10 часов вечера мы отправились в неизвестность. Нашими спутниками были главным образом русские эмигранты, изгнанные при царском режиме, которые теперь возвращались в новый «рай на земле». Многие из них трепетали, очевидно, из страха перед белыми, которые в этой части Финляндии были господами положения.

На следующий день в восемь часов вечера мы прибыли в Рухимяки, где нам сказали, что мост в Кусвало разрушен белогвардейцами и что дальше ехать нельзя. Нам предстоял выбор: или вернуться в Стокгольм, или уговорить охрану довести поезд до Гельсингфорса окружным путем. Ночь мы провели на станции, а на следующее утро прибыли в Гельсингфорс, застав столицу Финляндии в состоянии революции. На площади перед вокзалом шла беспорядочная перестрелка. На платформе нас встретил Ледницкий, известный юрист-

поляк, с которым я познакомился в Москве. Он сообщил мне, что все гостиницы переполнены беженцами, что спят по трое и по четыре человека даже в ваннах и что у нас нет никаких шансов найти там пристанище. Он предложил попробовать найти нам комнату в доме польского ксендза. Когда перестрелка замолкла, я оставил Бёрза и Филена стеречь багаж и пошел с Хиксом и Ледницким на поиски ксендза. Устроиться у него нам не удалось. Ледницкий остался у него, а мы, вооружившись планом города, отправились обратно на вокзал. Была ужасная погода. Стояла оттепель, грязно-жёлтый снег размяк и таял. Перестрелка в соседних улицах казалась неприятно близкой. Внезапно, когда мы взобрались на холм и свернули на широкий бульвар, мы очутились лицом к лицу с бегущей толпой, преследуемой отрядом матросов с пулеметом. Матросы поливали улицу пулями. Преследуемые бросались на мостовую, чтобы спастись от них. Некоторые бежали со всех ног. Другие ломались в запертые двери магазинов и домов. Несколько трупов лежало ничком на снегу. Столкновение продолжалось всего несколько секунд, и мы с Хиксом, попавшие в положение удобных мишеней, не успели повернуть назад. Мы бросились ничком на снег. Я поднял вверх руку с белым платком, а Хикс помахал в воздухе английским паспортом. Следующие несколько секунд показались нам вечностью.

Матросы осторожно приблизились к нам, держа наготове пулемет и винтовки. К счастью, они оказались русскими, и мое письмо к Троцкому возымело на них чудесное действие.

По существу говоря, матросы были словно посланы с неба. Удовлетворенные в отношении нашей *bona fides*, они пошли с нами на вокзал, где распорядились о тщательном хранении нашего багажа. Потом они повели нас в британское консульство. Там мы застали Грова и вице консула Фаусетта. Им удалось устроить нас ночевать в маленький финский пансион, а на следующий день Фаусетт, знавший в Гельсингфорсе буквально всех, убедил правительство красной Финляндии дать нам поезд и довести до взорванного моста, за которым надеялись найти русский поезд.

В семь часов вечера мы снова отправились в путешествие. Благодаря охране, которую нам дали красные, мы ехали с большим комфортом. Во всяком случае, наш поезд топили и ехали мы если не роскошно, то просторно. Обстоятельства нам благоприятствовали. Красные финны

были особенно любезны с нами, так как в этот момент белые финны вели переговоры о помощи с немцами.

Когда мы подъехали к мосту, мы пережили еще один волнующий момент. Слухи, впрочем, как и всегда, преувеличили размер повреждений. Правда, линия была прервана. Арка моста погнулась. Однако сам мост не обвалился, и через него можно было перебраться пешком. В полночь мы вышли из теплого поезда в морозную ночь. Еще одно препятствие мы благополучно преодолели. Сопровождавшие нас в качестве охраны вооруженные финские красногвардейцы оказались одновременно любезными и деловитыми. В два приема они перенесли через мост наш багаж. Это было нелегкое дело, так как мы взяли с собой массу вещей и наши чемоданы были тяжелы и громоздки. Когда переноска была закончена, мы убедились, что все вещи до единой целы.

Благодаря тем же финским красногвардейцам, мы смогли немедленно продолжать наш путь дальше. Поезд с разведенными парами ждал нас на другой стороне. На следующий день в семь часов вечера мы прибыли в С.-Петербург без дальнейших инцидентов или задержек. Мы были последними британскими пассажирами, которым удалось добраться до С.-Петербурга — последними британскими представителями, которые совершили путь из Лондона в С.-Петербург через Скандинавию до конца войны.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Тот С.-Петербург, в который я вернулся, был совсем непохож на оставленный мной несколько месяцев тому назад. Улицы были в ужасном состоянии. Снег не сгребали неделями, и путешествие на санках с Финляндского вокзала до посольства было похоже на катание по театральной железной дороге, только гораздо менее безопасное. По улицам ходили угнетенные несчастные люди.

Лошади выглядели жутко — словно они целыми неделями ничего не ели. Перед Троицким мостом мы проехали мимо трупа лошади. Он примерз к снегу и, очевидно лежал там уже несколько дней.

В посольстве царило смятение и разногласие. Троцкий был в Брест-Литовске, где он вел мирные переговоры с немцами, и никто в точности не знал, что именно там происходит. Штат посольства

разбился на две партии. Одни высказывались за признание, другие — против, а Линдли (ныне сэр Френсис Линдли, посол Ее Величества в Японии), замещавший посла, держался нерешительной политики, лавируя между этими двумя группами. Пока мы не подыскивали подходящего помещения, члены моей миссии остановились у членов других британских миссий в С.-Петербурге. Меня приютил Рекс Хоар, теперь британский посол в Тегеране, а в то время второй секретарь посольства. Очаровательный собеседник, произносивший слова медленно и растянуто, что противоречило его исключительно деятельному уму, Хоар был один из немногих англичан, объективно относившихся к революции. Он высказывался за признание большевистского правительства, и его взгляды в точности совпадали с моими. В эту ночь, чтобы скорей заснуть, я стал читать книгу, лежавшую у изголовья моей постели. Это оказался «Современный Египет» лорда Кромера. Читая книгу, я наткнулся на афоризм, которым Кромер руководствовался в Египте: «Нужно применяться к обстоятельствам и извлекать пользу даже из того, что нам не нравится». Этой фразой я с успехом руководствовался в том затруднительном положении, в которое я теперь попал.

На следующий день я впервые увиделся с Чичериным, которому на время отсутствия Троцкого, находившегося в Брест-Литовске, было поручено Министерство иностранных дел. Он принял меня в том же здании, где некогда властвовал Сазонов. При нашем свидании присутствовал **Петров, смуглый еврей**. Трагикомичность нашего положения лучше всего иллюстрируется тем фактом, что оба мои собеседника вернулись в Россию прямо из английской тюрьмы.

Русский из хорошей семьи, задолго до революции пожертвовавший своим состоянием во имя своих социалистических убеждений Чичерин был высококультурным человеком. В юности он начал карьеру в качестве чиновника царского Министерства иностранных дел; свободно и правильно говорил на французском, английском и немецком языках. Он был одет в безобразный желтовато-коричневый клетчатый костюм, привезенный им из Англии. За шесть месяцев наших почти ежедневных встреч я ни разу не видел его одетым иначе. Борода и волосы песочного цвета и этот костюм придавали ему вид одной из тех гротескных фигур, которые дети делают на прибрежном песке. Только глаза, маленькие и окруженные красной каемкой, как у хорька, проявляли признаки жизни. Его узкие плечи склонялись над

заваленным работой письменным столом. Среди людей, работавших по 16 часов в сутки, он был самым неутомимым и внимательным к своим обязанностям. Идеалист, лояльность которого по отношению к партии была непоколебима, он с исключительным недоверием относился ко всем, кто не входил в нее.

Наша первая беседа была удовлетворительна, но не достаточно определена. Позднее, когда я ближе познакомился с Чичериным, я узнал, что он никогда не принимал решения, не посоветовавшись предварительно с Лениным. В данном случае, однако, он по-видимому получил инструкцию относиться к нам дружелюбно. Действительно, большевики, стремившиеся натравить немцев на союзников и союзников на немцев, были довольны моим приездом. Большевистская пресса сознательно преувеличивала значение моей миссии и моего собственного положения, изображая меня не только человеком, облеченным доверием Ллойда Джорджа, но и влиятельным политическим деятелем, целиком сочувствующим большевикам. Такое поведение газет привело к некоторым недоразумениям в кругах союзнических миссий в С.-Петербурге. В частности, один служащий американской контрразведки, участие в войне которого свелось к приобретению кипы настолько явно поддельных документов, что их не использовала даже наша секретная служба, сообщил своему правительству, что в С.-Петербург прибыл опасный английский революционер, действовавший заодно с большевиками.

Чичерин довольно честно сообщил мне о том, что происходило в Бресте. Он сказал мне, что переговоры подвигаются медленно и что теперь Англии представляется блестящая возможность протянуть руку помощи России. Почти тут же он сообщил мне, что большевики деятельно организуют новый Интернационал, в котором не будет места умеренным социалистам вроде Брантинга и Гендерсона. Это было началом знаменитого III Интернационала.

В первые же дни моего пребывания в большевизированном С.-Петербурге я познакомился с Реймондом Робинсом, главой американской миссии Красного Креста и братом известной писательницы Элизабет Робинс. На третий день после моего приезда Рекс Хоар пригласил нас вместе обедать, и мы очень неплохо поговорили. Робинс, который был больше филантропом и гуманистом, чем политиком, оказался прекрасным оратором. Его разговор, как

разговор м-ра Черчилля, был всегда монологом, но он никогда не был скучен и у него был замечательный дар подбирать оригинальные аллегории. Черноволосый, с орлиным профилем, он выглядел очень эффектно. Это был индейский вождь с Библией вместо томагавка. Он был правой рукой Рузвельта во время президентских выборов 1912 года. Будучи сам богатым человеком, он был противником капитализма. Однако несмотря на свои симпатии к черни он поклонялся великим людям. До сих пор его главными героями были Рузвельт и Сесиль Родс. Теперь его воображением овладел Ленин. Как это ни странно, Ленину нравилось это обожание, и Робинс был единственным иностранцем, с которым Ленин всегда охотно встречался и которому даже удавалось произвести сильное впечатление на лишенного эмоциональности вождя большевиков.

Миссия Робинса, менее официальная, была подобна моей. Он был посредником между большевиками и американским правительством и поставил себе задачей убедить президента Вильсона признать советскую власть. Он не знал русского языка и знал очень мало о России, но в Гумберге, русско-американском еврее, долгие годы находившемся в близком соприкосновении с большевистским движением, он нашел помощника, снабжавшего его необходимыми сведениями и аргументами. В устах Робинса аргументы Гумберга о необходимости признания звучали очень убедительно. Мне нравился Робинс, в течение ближайших четырех месяцев мы встречались с ним ежедневно, и чуть ли не ежечасно.

Первые 12 дней моего пребывания в С.-Петербурге прошли в бесконечных дискуссиях с Чичериным и английскими представителями. Мои отношения с Линдли, который в качестве *charge d'affaires* мог почувствовать законное неудовольствие по поводу моего вторжения на политическую арену (как официальный представитель британского правительства он, разумеется, не вступал ни в какие сношения с большевиками), были самыми дружественными. Я в полной мере сотрудничал с ним, сообщая ему обо всем, и спрашивал его совета по поводу каждого шага, который я предпринимал; благодаря этому мне удалось не попасть в очень неприятное и двусмысленное положение.

Дело мое, однако, почти не продвигалось, и на большинство посланных в Лондон телеграмм я не получал ответа. Мы продолжали

оставаться почти в полном неведении относительно истинного хода переговоров в Бресте, а Чичерин не очень старался вывести нас из этого неведения. Все, что он говорил, сводилось к тому, что, хотя германский милитаризм и британский капитализм были одинаково ненавистны большевикам, германский милитаризм представлял в данный момент наибольшую опасность. Германия стала центром антибольшевистской лиги. Она поддерживала буржуазию в Финляндии, Румынии и на Украине. Русская буржуазия ждала, что Германия вмешается в русские дела и восстановит прежнее положение вещей. Создавалась ситуация, которую британское правительство могло использовать в своих интересах. **Большевики с радостью встретят поддержку Англии.**

Девятого февраля у меня была встреча более интересного порядка. В Петербурге работали различные комиссии мирной делегации центральных держав. Через доверенных людей я получил от одного из болгарских делегатов предложение встретиться. Поскольку я ничем не рисковал, я ответил согласием. В моем дневнике он обозначен как С. Кажется, его звали Семидов. В долгом и интересном разговоре он сказал мне, что Болгария созрела для мира и революции и что при поддержке (очевидно денежной) со стороны Англии, было бы нетрудно начать движение с целью свергнуть короля Фердинанда и лишиться власти германофильское министерство. Этот человек мог быть провокатором, подосланным ко мне большевиками. В данном случае, однако, есть основания предполагать, что он был действительно тем, за кого он себя выдавал. Я сообщил об этом инциденте в Лондон и ничего не получил в ответ.

Ожидая возвращения Троцкого из Бреста, мы воспользовались случаем и заняли большое и хорошо обставленное помещение в одном доме на Дворцовой набережной, почти напротив Петропавловской крепости и за несколько сот ярдов от посольства. Там был прекрасный винный погреб, который мы приобрели за очень доступную цену. Фактически мы могли иметь почти даром целый дворец. Несчастливая аристократия, лишенная всего была довольна, когда она могла найти иностранцев, которые могли хотя бы на время защитить ее имущество

На новоселье я устроил званый обед, на который я пригласил весь штат посольства и других влиятельных английских представителей,

находившихся в С.-Петербурге. Моим главным гостем был Робинс. Он пришел поздно, прямо от Ленина. Он принес с собой известие, что Троцкий отказался подписать позорный мир, но что, поскольку Россия больше не может воевать, демобилизация будет продолжаться.

Во время обеда Робинс говорил мало, но потом, когда мы собрались в курительной, у него развязался язык. Стоя у камина, характерным жестом откидывая назад свои черные волосы, он обратился к нам с призывом, чтобы союзники поддержали большевиков. Он начал спокойно, анализируя аргументы союзников против признания и разрушая нелепую теорию союзников, будто большевики стремятся к победе Германии. Он нарисовал трогательную картину беспомощного народа, не имеющего ничего, кроме мужества, чтобы отразить величайшую военную организацию, какую только знала история. Нам нечего ожидать от деморализованной русской буржуазии, которая сама надеется на то, что немцы помогут ей восстановить ее права и собственность. Потом он начал панегирик Троцкому. **Красный вождь был «сукиным сыном, но величайшим евреем после Христа.** Если немецкий генеральный штаб купил Троцкого, он купил настоящий алмаз». Продолжая свою речь, он дошел почти до возмущения по адресу безумия союзников, «играющих на руку Германии в России». Потом он театрально прервал свою речь и вынул из кармана листок бумаги. Я вижу его, как сейчас. Сознательно или нет, но он позаботился о создании почти идеальной мизансцены. Перед ним полукруг упрямых англичан. Позади ревящее пламя камина, языки которого бросают вещие тени на желтые обои по стенам. Снаружи, в окне, стройный шпиль Петропавловской крепости и огромный огненный шар заходящего солнца, бросающего кровавые лучи на одетую снегом Неву. Он снова откинул волосы рукой в встряхнул головой, как лев. «Кто-нибудь из вас читал это? — спросил он. — Я нашел это сегодня утром в одной из ваших газет». Тогда низким голосом, дрожащим от волнения, он прочел стихотворение майора Мак Краэ:

Мы мертвые. Немного дней тому назад
Мы жили, видели рассвет, сияние заката.
Любили и были любимы, а теперь лежим
На полях Фландрии.
Мы вам передаем наш спор с врагом
Вам протягиваем слабеющими руками
Наш факел; держите высоко его.
Если вы измените нам, которые умирают,

Мы спать не будем, хотя маки расцветают
На полях Фландрии.

Когда он кончил, наступило мертвое молчание. Казалось, целую вечность. Робинс стоял, отвернувшись, и смотрел в окно. Потом, выпрямившись, он снова подошел к нам.

— Ребята! — сказал он. — Я думаю, все вы приехали сюда с одной целью — не дать германскому генеральному штабу победить в этой войне.

Тремя быстрыми шагами он подошел ко мне. Он пожал мне руку: «До свидания, Локкарт». Еще четыре шага — и он вышел.

Как театральное выступление, речь Робинса была великолепна. Сегодня эта сцена кажется исторической. Несомненно, он подготовил все эффекты с утра перед зеркалом. Но в тот момент его слова произвели на всех нас глубокое впечатление. Никто даже не улыбнулся. Даже «Бенджи» Брюс, несмотря на все свои ульстерские антиреволюционные предрассудки, был на некоторое время убежден, что признание или, по крайней мере, поддержка, большевиков против немецкого вторжения являлась правильной политикой. Генерал Пуль, позднее руководивший злосчастной архангельской экспедицией, придерживался тогда того же мнения.

Через три дня я впервые встретился с Троцким в Русском Министерстве иностранных дел. Наше свидание продолжалось два часа, в течение которых мы обсудили все виды англо-русского сотрудничества. В качестве одного из обвинений против меня впоследствии выдвигалось то, что я сразу же подпал под влияние Троцкого; поэтому приведу запись в дневнике, сделанную мной сразу же после нашего разговора:

«15 февраля 1918. Имел двухчасовой разговор с Л. Д. Т. (Львом Давыдовичем Троцким). Его озлобление против Германии показалось мне вполне честным и искренним. У него изумительно живой ум и густой, глубокий голос. Широкогрудый, с огромным лбом, над которым возвышается масса черных вьющихся волос, с большими горящими глазами и толстыми выпяченными губами, он выглядит как воплощение революционера с буржуазной карикатуры. Он одевается хорошо. Он носит чистый мягкий воротничок, и его ногти тщательно наманикюрены. Я согласен с Робинсом.

Если боши купили Троцкого, они купили настоящий алмаз. Он оскорблен в своем достоинстве. Он полон воинственного возмущения против немцев за унижение, которому они подвергли его в Бресте. Он производит впечатление человека, который охотно умер бы, сражаясь за Россию, при том условии, однако, чтобы при его смерти присутствовала достаточно большая аудитория».

Троцкий действительно был озлоблен против немцев. В этот момент он не был вполне уверен в том, как немцы будут реагировать на его знаменитое объявление: «Ни войны и ни мира», но он предчувствовал, что эта реакция будет не из приятных.

К несчастью, он был полон озлобления и по адресу англичан. Мы не сумели в свое время подойти должным образом к Троцкому. Во время первой революции он жил в изгнании в Америке. Тогда он не был ни меньшевиком, ни большевиком. Он был тем, что Ленин называет троцкистом, то есть индивидуалистом и оппортунистом. Революционер, наделенный темпераментом художника и несомненной физической храбростью, он никогда не был и не мог быть хорошим партийцем. Его поведение до первой революции вызвало серьезное осуждение со стороны Ленина. «Троцкий, как всегда — писал Ленин в 1915 году, — в принципе против социал-шовинистов, но на практике он всегда заодно с ними».

Весной 1917 года Керенский обратился к британскому правительству с просьбой содействовать возвращению Троцкого в Россию. Здравый смысл диктовал два выхода: отказать на том основании, что Троцкий представляет угрозу для обще союзнического дела; или позволить ему вернуться совершенно спокойно. Как это водится во всех наших поступках по отношению к России, мы вступили на путь губительных полумер. С Троцким обращались, как с преступником. В Галифаксе, Нью-Брэнсвике его разлучили с женой и детьми и интернировали на четыре недели в концентрационный лагерь в Амхерсе вместе с немецкими военнопленными. С его пальцев сняли дактилоскопические отпечатки. Тогда, возбуждив в нем жгучую ненависть к нам, мы дали ему вернуться в Россию.

Я передаю этот инцидент так, как мне изложил его сам Троцкий. Впоследствии я узнал, что в основном он был точен. Возмущенный Троцкий вернулся в Россию, примкнул к большевикам и выместил свою злобу, написав горячий антибританский памфлет, озаглавленный

«В плену у англичан». Следы его недовольства проявились и во время нашей беседы. Мне удалось, однако, успокоить его.

Немецкая опасность занимала его больше всего, и его последние слова при нашем расставании были: «Теперь перед союзниками открываются огромные возможности».

Вернувшись от Троцкого, я нашел спешное письмо от Робинса, немедленно вызывавшего меня к себе. Я нашел его в большом волнении. Он поссорился с **Залкиндом, племянником Троцкого** и в то время товарищем комиссара по иностранным делам. Залкинд обошелся с ним грубо, и американец, которому Ленин обещал при любых обстоятельствах приготовить в часовой срок поезд, решил добиться извинений или немедленно покинуть Россию. Когда я пришел, он только что кончил говорить по телефону с Лениным. Он поставил ему ультиматум, и Ленин обещал дать ответ через десять минут. Я ждал, а Робинс рвал и метал. Потом раздался звонок и Робине взял трубку. Ленин сдался. Залкинд будет снят с должности. Но он был старым членом партии. Не будет ли Робинс возражать, если Ленин пошлет его в качестве большевистского эмиссара в Берн? Робинс мрачно улыбнулся. «Благодарю вас, м-р Ленин, — сказал он. — Поскольку я не могу послать этого сукина сына в ад, сжечь его — это лучшее, что вы можете с ним сделать»⁴.

Это было началом чрезвычайно напряженного месяца. Немцы не теряли времени, и в ответ на отказ Троцкого подписать мирный договор на предложенных ими условиях пошли, к великому ужасу большевиков, в наступление на С.-Петербург. Вначале большевики пытались оказать какое-то сопротивление. В этом смысле были даны распоряжения флоту и армии. Сам Троцкий, которого я теперь видел ежедневно, сообщил мне, что, если даже Россия не сумеет сопротивляться, она будет вести партизанскую войну. Очень скоро, однако, выяснилось, что оказать сопротивление, в военном смысле этого слова, русские не могут. Большевики пришли к власти под лозунгом «Долой войну!». Лозунг за войну мог легко привести их к гибели. Буржуазия открыто радовалась наступлению немцев. Осмелевшие антибольшевистские газеты с остервенением набросились на большевиков. Решающим фактором было настроение войсковых частей. При слухах, что война будет возобновлена,

⁴ Игра слов: по-английски «сжечь» (burn) звучит почти как «Берн».

дезертирство с фронта приняло размеры панического бегства, и после ночного заседания комиссаров немцам была послана телеграмма с согласием капитулировать и заключить мир на каких угодно условиях.

В коалиции большевиков и левых социал-революционеров, из которой состояло правительство Ленина, была партия священной войны. В нее входили такие большевики, как Петров, Бухарин и Радек; численно она немногим уступала партии мира. Ленин, однако, стоял за мир. Без мира он не мог укрепить свои позиции. Именно тогда он сформулировал свою политику «лавирования»; лучший перевод слова «ларировать» — французская фраза «reculer, pour mieux sauter». Троцкий по обыкновению держался промежуточной позиции. Он не хотел воевать. Он считал войну неизбежной. Он сообщил мне, что, если союзники обещают свою помощь, он заставит правительство переменить решение и высказаться за войну. Я послал несколько телеграмм в Лондон, требуя официальных директив, которые позволили бы мне укрепить позицию Троцкого. Директивы присланы не были.

23 февраля были получены германские условия. В смысле территориальных требований, они были значительно более жесткими, чем Версальский договор. Снова в рядах большевиков произошел раскол. На следующий день после горячих и страстных споров Центральный исполнительный комитет большинством 112 голосов против 86 постановил принять немецкие условия. Холодная, расчетливая логика Ленина победила. Было, однако, 25 воздержавшихся. Среди них оказался Троцкий, во время дебатов прятавшийся у себя в кабинете.

В день обсуждения я позвонил Троцкому. Он дал мне свой личный номер телефона, по которому он отвечал сам. — Могу я поговорить с гражданином Троцким? — спросил я. В ответ прорычали: — Нет. Но я узнал его голос.

— Лев Давыдович, — быстро сказал я. — Говорит Локкарт. Мне нужно видеть вас немедленно. После минутной паузы снова послышалось рычание:

— Какой смысл? Впрочем, если хотите, приезжайте сейчас. Я в Смольном.

Смольный — в царское время институт благородных девиц — был главным штабом большевиков. Он живописно расположен рядом с монастырем, красивым синим и белым зданием на окраине города. Сам институт серого цвета, с входом, как у греческого храма. Он напомнил мне старое здание королевского военного колледжа в Сандхэрсте.

Когда я проходил мимо вооруженных пулеметами в штыками часовых, стоявших у ворот, мой пропуск, подписанный самим Троцким, подвергся тщательному исследованию. Наконец меня отвели к коменданту, высокому матросу, которого я впоследствии должен был встретить при менее благоприятных обстоятельствах. Через несколько минут я в сопровождении его прошел через лабиринт коридоров и классных комнат в святилище Троцкого, находившееся на третьем этаже. Про себя я отмечал надписи, еще висевшие на стенах: дортуар пятого класса, бельевая, класс рисования. Раньше в этих коридорах раздавался легкий стук девических каблучков. Все дышало непорочностью, разве только иногда вдруг слышалось глупое хихиканье. Теперь все покрылось грязью и пришло в беспорядок. Матросы, красногвардейцы, студенты и рабочие стояли, прислонившись к стенам. Все они выглядели так, словно не мылись две недели. Окурки и смятые газеты усыпали пол.

Кабинет Троцкого представлял исключение. Высокий и светлый, он был устлан красным ковром. В нем стоял прекрасный письменный стол карельской березы. В нем была даже корзина для бумаг. Всюду проявлялась свойственная его хозяину аккуратность.

Сам хозяин кабинета, однако, был в отвратительна настроении. «Вы не получили ответа из Лондона?» - спросил он, не переставая хмуриться. Я сказал ему что до сих пор не получил ответа на телеграммы, но что если большевики сделают серьезную попытку спасти половину России от германского ига, я уверен, что поддержка со стороны Англии обеспечена.

— Вы не получили ответа, — сказал он. — Ну вот, а я получил. В то время, как вы здесь пускаете мне пыль в глаза, ваши соотечественники и французы интригуют против нас, поддерживая украинцев, продавшихся Германии. Ваше правительство подготавливает японскую интервенцию в Сибири. Ваши здешние миссии вместе со всей

буржуазной накипью строят против нас заговоры. Поглядите-ка. — закричал он.

Он схватил кипу бумаг со стола и швырнул мне ее в руки. Это были якобы подлинныe, но на самом деле поддельные документы, которые я уже видел раньше. Они были отпечатаны на бумаге со штампом германского генерального штаба. Они были подписаны различными немецкими штабными офицерами, в том числе, кажется, и полковником Бауэром. Они были адресованы Троцкому и содержали различные инструкции, которые он дол жен был выполнить в качестве немецкого агента. Одна из инструкций была приказом провезти по железной дороге две немецкие подводные лодки из Берлина во Владивосток.

Я уже видел эти документы раньше. Некоторое время они циркулировали в кругах, связанных с союзническими миссиями в С.-Петербурге. Одна серия «оригиналов» была приобретена американским агентом. Через несколько месяцев обнаружилось, что эти письма, якобы пришедшие из таких различных мест, как Спа, Берлин и Стокгольм, были отпечатаны на одной и той же машинке.

Я улыбнулся, но Троцкий был неумолим. «Так вот на что ваши агенты тратят время и деньги, — прошипел он. — Ваши интриги здесь только помогли немцам. Надеюсь, вы гордитесь делом рук своих. Ваше Министерство иностранных дел не достойно выиграть войну. Ваша политика по отношению к России была с самого начала нерешительной и колеблющейся. Ваш Ллойд Джордж похож на человека, который играет в рулетку и ставит на все номера подряд. Теперь я покончу со всем этим. Знаете ли вы, что в то время, как вы, дурацкие шпионы, пытаетесь доказать, что я немецкий агент там — он махнул рукой по направлению к комнате внизу где заседал Центральный исполнительный комитет, - мои друзья называют меня антантофилом».

В его нападках была доля правды. Британское правительство смотрело на большевизм, как на бедствие и на зло. Оно могло объявить ему войну или просто игнорировать его целиком и полностью. Было безумием, однако, продолжать смотреть на него как на движение, поощряемое исключительно для достижения немецких целей. Когда я сказал Троцкому, что не получил ответа на мои телеграммы, я говорил чистую правду. Между тем я получил несколько писем от нашего

Министерства иностранных дел. Они по-прежнему выражали сомнения и подозрения лорда Роберта Сесилия относительно Троцкого. Если мне и удалось убедить Уайтхолл в том, что Троцкий не был переодетым немецким штабным офицером, он всё-таки продолжал оставаться для них германским агентом. Мое свидание с ним не привело ни к чему. Единственное, чего мне удалось добиться от Троцкого, было то, что мир будет заключен на короткий срок. Большевики не собирались соблюдать поставленные немцами условия. Он обещал, однако, подробно информировать меня обо всем. В ту же ночь Покровский, Чичерин в Карахан выехали в Брест-Литовск, чтобы подписать мирный договор.

Развал железнодорожного транспорта и способность большевиков все затягивать задержали фактическое заключение мира еще на неделю.

В это время неизвестность относительно хода мирных переговоров и наступление немцев на С.-Петербург привели союзнические посольства в полное смятение. Часами длились бесконечные совещания о политике, которой следовало придерживаться. Что делать с посольствами и миссиями — оставлять их в С.-Петербурге или эвакуировать? Оставаясь слишком долго, они рисковали быть захваченными немцами. Решение эвакуироваться было принято после того, как немцы отказались приостановить наступление до того момента, как большевики фактически подпишут продиктованный им мирный договор.

Когда решение было принято, предстояло получить от большевиков визы на выезд для большого количества британских представителей и агентов, многие из коих не вошли в дипломатические списки. Это было дело тонкое и нелегкое, тем более что большевики смотрели на отъезд союзнических посольств почти так же, как игрок, теряющий туза.

Мне было поручено выхлопотать визы. Вооружившись грудой паспортов, я направился попытать счастье в Министерство иностранных дел. За отсутствием Троцкого и Чичерина меня принял Петров. Пребывание в английской тюрьме не увеличило его расположения к английским представителям. Сообщив мне, что против отъезда аккредитованных дипломатов возразить ему нечего он направил меня к Луцкому, неприятному еврею юристу, заведовавшему отделом паспортов.

Он сидел за столом в большой комнате. Кроме него там находилась молодая машинистка, сидевшая за маленьким столиком в углу. Грубость Луцкого привела меня в бешенство. Это была крыса, которую я с удовольствием придушил бы. Пока он просматривал толстую пачку паспортов, я сохранял спокойствие. «Мне приказано давать визы только настоящим дипломатам, — сказал он. — Все эти люди не входят в штат посольства». Я терпеливо объяснил ему, что мой список подлинный и что владелец каждого из паспортов в той или иной форме связан с посольством. Он внимательно пересмотрел все фотографические карточки. К моему великому облегчению, он пропустил генерала Пуля и нескольких других офицеров, снятых в военной форме. Пачка почти кончилась, и я уже думал, что достиг полного успеха. Крыса, однако, хотела попользоваться своим кратковременным превосходством. Он хотел заставить меня почувствовать только что достигнутую им власть. Он вытащил один из паспортов.

— Я знаю этого человека, — сказал он. — Это шпион. Вы пытаетесь обмануть меня, как французы и итальянцы.

Он бушевал несколько минут. «За то, что вы хотели обморочить меня, я отказываю вам вообще в визах». Я стоял, все еще сдерживаясь. «В таком случае, — ответил я, — разрешите мне поговорить по телефону с Троцким. Вот номер его телефона, и вот мой пропуск, подписанный его собственной рукой». Луцкий пробормотал что-то и сразу переменял тон. «Очень хорошо, — сказал он, откладывая в сторону отвергнутый паспорт, — я поставлю печать на все остальные, кроме вот этого».

В этот момент доложили о приходе маркиза Делла Торретта, итальянского *charge d'affaires*, а впоследствии итальянского посланника в Лондоне и министра иностранных дел при Муссолини. Луцкий вскочил на ноги. Готовясь к новой сцене, он стал относиться ко мне почти дружелюбно. Он снова бегло просмотрел паспорта, выбрал из них несколько, принадлежавших членам британкой колонии и положил их вместе с отложенным ранее. Он позвал машинистку.

— Садитесь за мой стол и поставьте штамп на этих паспортах, — сказал он, указывая на большую пачку, — остальные задержаны впредь до дальнейших распоряжений.

Потом, выпячивая свою маленькую грудь, он вышел на середину комнаты, чтобы стоя встретить итальянского маркиза. Последовала самая необычайная сцена, какую я только видел, может быть, даже самая необычайная из всех тех, которые когда-либо имели место между двумя представителями иностранных держав. Как только маркиз вошел в комнату, Луцкий набросился на него с потоком ругательств. Дело шло об итальянском депутате по имени граф Фрассо, которого арестовали большевики и которого итальянцы включили в список лиц с официальными паспортами. Не было конца эпитетам, которыми Луцкий награждал несчастного итальянца. Самыми мягкими из них были: бандиты, доносчики, сукины дети... Оба собеседника были небольшого роста. Вначале Торретта, мягкий, корректный и педантично вежливый, пытался возражать. Его протесты вызвали новую бурю ругательств. Тогда Торретта начал нервничать и едва не расплакался. Его лицо смертельно побледнело. Седовласый, одетый в короткий черный сюртук, он напомнил мне кролика из «Алисы в стране чудес». Руки его нервно подергивались. Потом он тоже начал кричать. Казалось, еще несколько секунд, и оба дойдут до рукопашной.

Я с увлечением наблюдал за сценой, однако, мне нужно было сделать еще одно свое дело. Среди отвергнутых паспортов лежал паспорт Теренса Кейса, брата адмирала Кейса, служившего полковником в нашей контрразведке. Я знал, что он участвовал в различных антибольшевистских планах. Если его паспорт задержат, это может грозить для него неприятными последствиями. В это время машинистка ставила печати, одним глазом смотря на работу, а другим следя за развертывающейся перед нами драмой. Она была хорошенькая. Я сказал ей какую-то любезность, и она улыбнулась. Я продолжал говорить, перебирая в то же время груды паспортов. Продолжая нашептывать ей любезности, я сунул паспорт Кейса в большую пачку. И, да благословит Бог ее голубые глаза, она поставила на нем печать.

В тот момент, когда она кончала работу, я услышал последние слова Луцкого: «Ни один итальянец не выедет отсюда», и подавленный и сгорбившийся маркиз Торретта вышел из комнаты. Вполне довольный собой Луцкий вернулся за свой стол. Я держал в руке визированные паспорта, среди которых был и паспорт Кейса. Полдюжины отвергнутых паспортов лежали на столе. «Можно мне уйти?» — вежливо спросил я.

— Разумеется, — ответил он.

Я пошел к выходу, но вернулся с полдороги.

— Может быть, мне лучше взять и остальные, — сказал я. — Их владельцы могут без них попасть в неприятное положение.

Он пожал плечами. Его мысли были все еще заняты битвой с Торреттой. «Возьмите их», — сказал он. И, медленно собрав паспорта, я с достоинством покинул комнату.

В тот же вечер британские и французские чиновники (итальянцев, разумеется, не было) выехали специальным поездом в Белоостров на финскую границу. Петров, заместитель народного комиссара по иностранным делам, явился на вокзал для окончательной проверки паспортов. С французами были какие-то неприятности, но все наши, включая Теренса Кейса, благополучно проехали границу.

Если даже моя миссия в России была во всех других отношениях неудачной, она дала какие-то результаты хотя бы в том отношении, что она спасла 40 или 50 британских представителей от оскорблений, которым подверглись их коллеги французы и итальянцы.

Драма с паспортами закончилась приятным трюком под занавес. На другой день после отбытия посольств Луцкого арестовали за незаконную выдачу виз некоторым французским гражданам. Его обвинили в том, что он получал от них взятки. В этот вечер я хорошо пообедал по поводу удачного исхода дела. Мне помогли не взятки, а моя врожденная кельтская способность убеждать людей и пара русских глаз.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Союзнические посольства выехали 28 февраля. На следующий день я пошел в Смольный, где впервые встретился с Лениным.

Я почувствовал себя несколько растерянным. Моя позиция была теперь еще более неясна, чем всегда. Но я решил остаться на посту по двум причинам. Большевики еще не подписали мирный договор. Они, очевидно, подпишут его, но даже тогда мир будет недолговременным. Эту ситуацию я мог использовать в своих целях. Во-вторых, поскольку большевики все еще держали в своих руках власть в России, я чувствовал, что было бы глупо прервать всякие сношения с ними и

оставить поле битвы немцам. Я был убежден, что большевики внутренне гораздо сильнее, чем предполагали в большинстве своем иностранные наблюдатели, и что в России не было силы, способной заменить их.

В этом то заключалось основное расхождение между мной и Уайтхоллом. В лондонских официальных кругах господствовало мнение, что большевизм будет сметен через несколько недель. Мой инстинкт говорил мне, что, какими бы слабыми ни были большевики, их деморализованные противники в России были еще слабей. Во вспыхнувшей гражданской войне мировая война потеряла всякое значение для всех классов русского общества. Поскольку нашим главным врагом была Германия (а в то время очень немногие из англичан рассматривали большевизм как серьезную угрозу западной цивилизации), разжигание гражданской войны не принесло бы нам никакой пользы. Если бы мы стали на сторону врагов большевизма, мы поставили бы на более слабую лошадь и нам пришлось бы бросить много сил, чтобы добиться хотя бы временного успеха.

Информируя Линдли о своем желании остаться, я повторил ему все эти аргументы. Он не возражал. Поэтому я отпустил в Англию Филена и Бёрза, которые при создавшемся положении вещей вряд ли смогли бы быть мне полезными, и попросил, чтобы мне разрешили взять к себе Рекса Хоара, взгляды которого совпадали с моими и растущее влияние которого представило бы для меня большую ценность. Он хотел остаться, но Линдли — и в этом он, может быть, был прав — решил, что, поскольку моя миссия была номинально неофициальной, он не имел права разрешить мне держать у себя на службе профессионального дипломата. Он не возражал, если бы я взял любого чиновника, желавшего остаться, но не входящего в штат посольства. Желавших нашлось несколько, из них я выбрал Давида Гарстина, брата известного романиста. Это был молодой кавалерийский офицер, довольно хорошо говоривший по-русски. Кроме того, из английских представителей остались морской атташе капитан Кромби, не хотевший допустить, чтобы Балтийский флот попал в руки немцев, консул Вудхауз, майор Мак Альпайн и капитан Швабе из миссии генерала Пуля и еще несколько офицеров и чиновников нашей контрразведки. Они совершенно не зависели от меня и сами посылали отчеты в Лондон.

Следовательно, отъезд Линдли оставил меня на произвол судьбы. Кроме того, проезд через Финляндию был закрыт, и на ближайшие шесть месяцев мне предстояло потерять всякую возможность сношения с Англией, иначе как по телеграфу. Робинс также присоединился к американскому посольству, бежавшему в Вологду. Он сообщил мне, что, по всей вероятности, посол со своим штатом на следующий день выедет в Америку через Сибирь. Если бы мне удалось заручиться содействием со стороны Ленина, он остался бы и постарался убедить американского посланника последовать своему примеру.

Мое настроение было поэтому подавленным, когда я шел утром в Смольный на свидание с вождем большевиков. Он принял меня в маленькой комнате в том же этаже, где был кабинет Троцкого. Комната была грязноватая и лишенная всякой мебели, если не считать письменного стола и нескольких простых стульев. Это была не только моя первая встреча. Я видел его вообще впервые. В его внешнем виде не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего сверхчеловека. Невысокий, до вольно полный, с короткой толстой шеей, широкими плечами, круглым красным лицом, высоким умным лбом, слегка вздернутым носом, каштановыми усами и короткой щетинистой бородкой, он казался на первый взгляд похожим скорее на провинциального лавочника, чем на вождя человечества. Что-то было, однако, в его стальных глазах, что привлекло внимание, было что-то в его насмешливом, наполовину презрительном, наполовину улыбающемся взгляде, что говорило о безграничной уверенности в себе и сознании собственного превосходства.

Позднее я проникся большим уважением к его умственным способностям, но в тот момент гораздо большее впечатление произвела на меня его потрясающая сила воли, непреклонная решимость и полное отсутствие эмоций. Он представлял полную противоположность Троцкому, который, странно-молчаливый, тоже присутствовал при нашей беседе. Троцкий был весь темперамент — индивидуалист и художник, на тщеславии которого я мог не без успеха играть. Ленин был безличен и почти бесчеловечен. Его тщеславие не поддавалось лести. Единственное, к чему можно было в нем апеллировать, был сардонический юмор, высоко развитый у него. В течение ближайших нескольких месяцев меня засыпали запросами из Лондона, где хотели проверить слухи о серьезных расхождениях

между Лениным и Троцким; наше правительство многого ожидало от этих расхождений. Я мог бы ответить на них после этого первого свидания. Троцкий был великим организатором и человеком огромного физического мужества. В моральном отношении, однако, он был неспособен противостоять Ленину, как блоха не может противостоять слону. В Совете комиссаров не было человека, который не считал бы Троцкого равным себе; с другой стороны, не было комиссара, который не смотрел бы на Ленина как на полубога, решения которого принимаются без возражений. Ссоры, нередко происходившие между комиссарами, никогда не касались Ленина.

Я вспоминаю, как Чичерин описывал мне заседание Совета комиссаров. Троцкий выдвигает предложение. Другие комиссары горячо оспаривают его. Следует бесконечная дискуссия, во время которой Ленин делает заметки у себя на колене, сосредоточивая все внимание на какой-нибудь своей работе. Наконец кто-нибудь говорит: «Пусть решает Владимир Ильич» (имя и отчество Ленина). Ленин подымает глаза от работы, дает в одной фразе свое решение, и все успокаиваются.

В своей вере в мировую революцию Ленин был беззастенчив и непреклонен, как иезуит. В его кодексе политической морали цель оправдывала все средства. Иногда, впрочем, он умел быть изумительно откровенным. Таким он был в беседе со мной. Он дал мне все сведения, которые я спрашивал. Дальнейшие события показали правильность его информации. Разрыв мирных переговоров — это была чистейшая выдумка. Условия были такими, каких можно ожидать от милитаристического правительства. Они скандальны, но на них придется согласиться. Предварительное подписание состоится завтра; договор будет ратифицирован подавляющим большинством партии.

Как долго продержится мир? Этого он не может сказать. Правительство переедет в Москву, чтобы укрепить свои позиции. Если немцы вмешаются и захотят поставить буржуазное правительство, большевики будут бороться, даже если им придется отступить за Волгу или за Урал. Но они будут бороться своими средствами. Они не хотят быть орудием в руках союзников.

Если союзники способны понять это, им представляется блестящая возможность сотрудничества. Большевикам англо-американский капитализм почти так же ненавистен, как германский милитаризм, но

в данный момент последний является непосредственной угрозой, поэтому он доволен, что я остался в России. Он предоставит мне все возможности, гарантирует, насколько простирается его власть, мою личную безопасность и даст мне в любой момент возможность свободно покинуть Россию. Но он сомневается в возможности сотрудничества с союзниками. «Наши пути различны, — сказал он, — Мы идем на временный компромисс с капиталом. Это даже необходимо, так как если капиталисты объединятся, они раздавят нас в первой же стадии нашего развития. К счастью для нас, капитализм по самой своей природе неспособен к единению. До тех пор, однако, пока существует немецкая опасность, я готов рискнуть на сотрудничество с союзниками, которое временно будет выгодно для обеих сторон. В случае немецкой агрессии я соглашусь даже на военную помощь. В то же время я совершенно убежден, что ваше правительство никогда не сумеет увидеть вещи в этом свете. Оно — реакционное правительство. Оно будет сотрудничать с русскими реакционерами».

Я выразил опасение, что теперь, когда появилась уверенность в заключении мира, немцы бросят все свои силы на западный фронт. Они раздавят союзников, и что тогда будут делать большевики? Еще более серьезная опасность заключалась в том, что Германия сумеет спасти свое население от голодной смерти при помощи хлеба, насильственно вывезенного из России. Ленин улыбнулся: «Как все ваши соотечественники, вы мыслите в конкретных военных терминах. Вы игнорируете психологический фактор. Эта война разрешится в тылу, а не в окопах. Но даже с вашей точки зрения ваши аргументы ошибочны. Германия давно убрала свои лучшие военные части с восточного фронта. В результате этого грабительского мира она будет вынуждена содержать на востоке большие, а не меньшие силы. А насчет того, что она сможет получить из России большие запасы продовольствия, вы можете успокоиться. Пассивное сопротивление — это выражение пришло с вашей родины — есть более мощное оружие, чем неспособная драться армия».

Я вернулся домой в глубоком раздумье. У себя на столе я нашел кипу телеграмм из Министерства иностранных дел. Они были полны жалоб по поводу мира. Как я мог утверждать, что большевики не германофилы, если они отдавали без единого выстрела половину России немцам? Среди телеграмм был и написанный в сильных выражениях протест против деятельности Литвинова в Лондоне. Мне

предлагалось немедленно предупредить большевистское правительство, что подобное поведение мы не можем терпеть. Я сидел, переводя смысл протеста на русский, позвонил телефон. Это был Троцкий. Он получил известие, что японцы готовятся высадить десант в Сибири. Что я мог бы предложить в этом случае и как я могу объяснить цель своей миссии перед лицом этого акта открытой враждебности? Я выразил сомнение в подлинности его сведений и снова сел за стол. Мой слуга принес мне еще одну телеграмму. Она была от Робинса, который советовал мне выехать в Вологду. Я связался с ним по телефону, сказал ему, что останусь несмотря ни на что до самого конца в С.-Петербурге, и попросил его информировать посланника о японском недоразумении. Японская интервенция в Сибири уничтожит всякую возможность соглашения с большевиками. Здравый смысл говорил, что как мера восстановления восточного антигерманского фронта этот шаг более чем бессмыслен. Последним ударом этого дня была телеграмма от моей жены. Составленная в загадочных выражениях, эта телеграмма несомненно указывала на то, что мои усилия не встречали одобрения в Лондоне. Я должен быть осторожным, если не хочу погубить свою карьеру.

Лондон не одобрил и не осудил мое решение остаться после отъезда Линдли. Исходя из того, что Министерство иностранных дел продолжало бомбардировать меня телеграммами, я заключил, что они мирятся с создавшейся ситуацией. Я предался небольшой оргии жалости к самому себе, что еще больше укрепило мое упорство. Несомненно, моя участь была не из легких. Потом я лег в постель и прочел жизнь Ричарда Бэртона. При сложившихся обстоятельствах это было, пожалуй, самое опасное успокаивающее средство, какое я только мог принять. Бэртон всю жизнь боролся с Уайтхоллом, и результаты были губительны для него.

В этот период С.-Петербург жил странной, жизнью. Большевикам еще не удалось установить железную дисциплину, характерную для их режима сегодня. По существу говоря, они почти не пытались сделать это. Террора не было, и население не слишком боялось своих новых хозяев. Продолжали выходить антибольшевистские газеты, осыпавшие руганью политику большевиков. Особенно старался тогдашний редактор «Новой жизни» Горький, выступавший против людей, которым теперь он предался всей душой. Буржуазия, все еще верившая, что немцы скоро пошлют большевиков ко всем чертям,

веселилась так, как трудно себе представить при подобных обстоятельствах. Население голодало, но у богатых еще были деньги. Были открыты рестораны и кабаре; последние, во всяком случае, были всегда переполнены. По воскресеньям перед нашим домом устраивались бега, и было странно сравнивать красивых, упитанных беговых лошадей с голодными, костлявыми клячами несчастных извозчиков. Реальную опасность для человека представляли в эти первые месяцы после революции не сами большевики, а анархисты — банды воров, бывших кадровых офицеров и авантюристов. Они захватили несколько лучших домов в городе, и, вооружившись винтовками, ручными гранатами и пулеметами, распоряжались по праву сильного в столице. Они подстерегали своих жертв из-за угла и бесцеремонно расправлялись с ними. Они не чувствовали никакого уважения к личности. Однажды вечером Урицкий, впоследствии глава петербургской ЧК, возвращался из Смольного в центр города. Бандиты стащили его с саней, раздели и предоставили ему продолжать путь в таком виде. Ему повезло: он остался в живых. Когда мы выходили из дома вечером, мы никогда не ходили поодиночке, даже на очень короткие расстояния. Мы шли всегда посреди улицы, держа руку в кармане, где лежал револьвер. Беспорядочная стрельба не смолкала всю ночь. Большевики, видимо, были совершенно неспособны бороться с этим бичом. Много лет они громко возмущались тем, что царское правительство лишает их свободы слова. Они еще не начали собственную кампанию против свобод.

Я отмечаю эту относительную терпимость большевиков потому, что позднейшие жестокости были следствием усиления гражданской войны. **За усиление этой кровавой борьбы, возбудившей столько тщетных надежд, в значительной мере была ответственна союзническая интервенция.** Я не хочу сказать, что политика невмешательства во внутренние дела России сколько-нибудь повлияла бы на ход большевистской революции. **Я считаю только, что наше вмешательство усилило террор и увеличило кровопролитие.**

В субботу третьего марта русские делегаты в Бресте подписали перемирие, а на следующий день был созван в Москве съезд Советов, который должен был формально ратифицировать мирный договор. В то же время большевики объявили о создании нового Верховного Военного совета и издали приказ о вооружении всего народа. Троцкий

был назначен председателем нового Совета, а Чичерин был назначен на его место в большевистском Министерстве иностранных дел.

Я виделся с Чичериным после его возвращения из Бреста. Он был настроен подавленно и поэтому дружелюбно. Он сообщил мне, что немецкие условия вызвали в России взрыв негодования, подобный тому, какой имел место во Франции после 1870 года, и что теперь для союзников настал самый благоприятный момент для того, чтобы выразить свои симпатии. Мир был продиктован России, и она нарушит его, как только будет достаточно сильна. Такова была позиция всех комиссаров, с которыми я в то время приходил в соприкосновение.

Так как правительство собралось эвакуироваться из Петербурга, я спросил Чичерина, что он может сделать, чтобы поместить мою миссию в Москве. По обыкновению, он был весь обещания и неопределенность. Тогда я пошел к Троцкому, который, когда он был в настроении, умел устраивать всякие дела, и быстро устраивать. Я нашел его в возбужденном состоянии. Его актерский темперамент применился к новой роли. Почти за одну ночь он превратился в солдата. Слова его дышали войной. Ратификация или не ратификация, но война будет.

На небольшом заседании большевистской верхушки которая уже решила ратифицировать мир, он воздержался от голосования. Он не будет присутствовать при формальной ратификации в Москве. Он останется С.-Петербурге еще на неделю. Он будет доволен, если я останусь с ним. Мы поедем вместе, и он обещает устроить меня в Москве. Предпочитая мужественную активность Троцкого колебаниям Чичерина, я решился остаться.

Несмотря на беспокойство по поводу японской интервенции, упоминание о которой немедленно зажигало огонь в глазах Троцкого (кстати сказать, русская буржуазия отнеслась к известию об интервенции равнодушно правильно решив, что она не облегчит её страдания), я провел последнюю неделю в С.-Петербурге довольно приятно. Я ежедневно встречался с Троцким, но кроме того работы у меня было меньше, чем всегда. Погода была прекрасная, и мы провели время довольно весело, развлекаясь с нашими русскими друзьями.

В это время я впервые встретился с Мурой, которая была старым другом Хикса и Гарстина и часто навещала нас в нашей квартире. Ей было 26 лет. Чистокровная русская, она с высокомерным презрением

смотрела на мелочи жизни и отличалась исключительным бесстрашием. Ее огромная жизнеспособность, которой она, может быть, была обязана своему железному здоровью, вселяла бодрость во всех, кто приходил с ней в соприкосновение. Где она любила, там был ее мир; ее жизненная философия делала ее хозяйкой всех возможных последствий. Она была аристократка. Она могла бы стать коммунисткой. Она никогда не могла бы быть мещанкой. Впоследствии ее имя было связано с моим в финальном эпизоде моей карьеры в России. В эти первые дни нашего петербургского знакомства я был слишком занят, слишком поглощен своими важными делами, чтобы обратить на нее должное внимание. Она показалась мне очень привлекательной женщиной; разговоры с ней были ярким пятном в моей повседневной жизни. Увлечение началось после.

Кроми, наш морской атташе, был ее другом, и в день его рождения Мура устроила небольшой званый обед, на который мы все пришли. Была масленица, и мы ели бесчисленные блины и пили водку. Я написал шуточное стихотворение на каждого из гостей, а Кроми произнес одну из своих самых остроумных речей. Мы пили за нашу хозяйку и неумеренно смеялись. Для всех нас это был едва ли не последний беззаботный час в России. Из четырех присутствовавших англичан остался в живых один я. Кроми умер славной смертью, защищая наше посольство от вторжения большевиков. Несчастный Давид Гарстин, со всем своим мальчишеским энтузиазмом работавший за дело установления сношений с большевиками, был отозван военным министерством и послан в Архангельск, где он пал жертвой большевистской пули. Уилл Хикс, или Хикки, как все его называли, умер от туберкулеза в Берлине весной 1930 года.

Последнюю неделю мы провели в тихом теперь С.-Петербурге. Никогда он не был столь прекрасен. Опустевшие улицы придавали ему еще большее очарование.

Центр тяжести был перенесен в Москву. Ленин выехал десятого марта. Только в конце дня 15-го Троцкий сообщил мне, что мы выедем на следующее утро. Его только что назначили военным комиссаром. В тот самый момент, когда было объявлено о его назначении, открылся съезд Советов, который должен был ратифицировать мир, и Ленин, отвечая на нападки сторонников войны, произнес историческую фразу:

«Один дурак может задать в минуту больше вопросов, чем дюжина мудрецов может ответить в час».

На следующее утро, оставив большую часть нашего громоздкого багажа в посольстве, мы встали в семь часов и прибыли в Смольный к восьми. Мы напрасно поспешили, так как поезд Троцкого был подан только в десять. Большую часть дня мы провели на вокзале, греясь на солнце и наблюдая за погрузкой 700 латышей — преторианцев Красного Наполеона. Они выглядели свирепо, но дисциплинированы были прекрасно. Скуку долгого ожидания рассеяли забавные выходки **Билля Шатова, веселого проходимца с прекрасно развитым чувством юмора. Годы изгнания он провел в Нью-Йорке и знал бесчисленное количество ист-сайдских анекдотов. В большинстве случаев предметом издевательства были в них Россия или русские, к которым Шатов, несмотря на свои убеждения, относился слегка презрительно.** Его вид был еще смешней его анекдотов. Миниатюрный Карнера, он был одет поверх костюма и овечьего полушубка в рабочую одежду. На голове у него была английская кепка с огромным козырьком. Два огромных револьвера висели на ремне у него на боку. В общем все это выглядел как помесь пулеметчика и джентльмена с рекламы.

Наконец в четыре часа явился Троцкий, великолепный в своей шинели цвета хаки. Мы отдали ему честь, пожали руку, и он сам провел нас в наши купе. Их было два, а так как нас, считая наших двоих слуг русских, было всего шестеро, нам было просторно, тем более что поезд был переполнен. Мы ехали в одиночестве, но не доезжая Любани получили записку от Троцкого. Он приглашал нас к обеду.

Этот обед я буду помнить всю жизнь. Мы сидели на верхнем конце длинного стола в станционном буфете. Я сидел справа от Троцкого, Хикс слева. Кушанья были простые, но вкусные: густые щи, телячьи котлеты с жареным картофелем и солеными огурцами и огромный торт. Было кроме того пиво и красное вино. Троцкий, однако, пил минеральную воду. Он был в хорошем настроении и был прекрасным хозяином. Огромная толпа молча глазела, как мы обедали. Казалось, люди собрались со всей округи, чтобы посмотреть на человека, давшего мир России, а теперь отказывавшегося от него. В конце обеда я поздравил его с назначением военным министром. Он ответил, что еще не принял назначения и примет его лишь при том условии, что Россия будет воевать. Я верю, что он был искренен тогда. Почти в тот

же момент начальник станции вошел и подал ему телеграмму. Она пришла из Москвы. В ней сообщалось, что съезд Советов ратифицировал мир огромным большинством голосов.

Это не помешало нам хорошо выспаться и приехать в Москву на следующее утро без дальнейших приключений.

На вокзале Троцкий лишней раз показал себя хорошо воспитанным человеком. Он заказал нам комнаты в единственном еще функционировавшем отеле и настоял на том, чтобы мы поехали в его двух автомобилях; сам он остался на вокзале.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В одном смысле я был рад вернуться в Москву. Мне был знаком чуть ли не каждый камень ее булыжных мостовых. Это была почти моя родина. Я провел в ее стенах большее количество лет моей жизни, чем в каком-либо другом городе.

Но меня встретила новая Москва. Многие из моих друзей русских и англичан уехали. Челноков сбежал на юг. Львов скрывался. Большинство роскошных особняков богатых купцов были заняты анархистами, которые бесчинствовали здесь даже с большей дерзостью чем в С.-Петербурге. Самый город также был неестественно весел веселостью, которая шокировала меня. Буржуазия с нетерпением ждала немцев и уже заранее праздновала час своего освобождения. Кабаре процветали. Кабаре были даже и в отеле, где теперь была наша главная квартира. Цены были высокие, особенно на шампанское, но у посетителей, которые с ночи до утра толпились за столиками, не чувствовалось недостатка в деньгах.

Однако мне было не до рассуждений. Через 24 часа после приезда я окунулся в водоворот самой кипучей деятельности. Я нашел Робинса и его представительство Красного Креста в отеле, где мы закрепили за собой рядом удобные помещения с гостинными и ванными комнатами. Генерал Лавернь и крупная французская военная миссия тоже обосновались в Москве. Генерал Ромэй находился здесь с несколько меньшей итальянской миссией. Майор Риггс представлял американские военные интересы. Существенно было, если не обнаружится самых диких разногласий во мнениях, координировать наши усилия. Я сделал визиты всем представителям союзных держав,

и по предложению Ромэя мы устраивали ежедневные совещания у меня на квартире, на которых всегда присутствовали Ромэй, Лавернь, Риггс и я. Часто на них присутствовал и Робинс. Нам удалось организовать очень удачное сотрудничество. Почти вплоть до печального конца мы относительно политики держались полного согласия. Мы следили за положением изнутри, и нам было ясно, что без согласия большевиков военная интервенция может вылиться только в гражданскую войну, которая без участия больших союзных сил окажется губительной для нашего престижа. Интервенция с согласия большевиков — вот политика, которую мы старались провести, а через десять дней после моего приезда мы провели общую резолюцию, признающую бесплодной японскую интервенцию. В свою защиту я должен указать на зависимость всех наших действий от положения на западном фронте, где большое наступательное движение немцев было на всем ходу. Мы знали, что заветным желанием Высшего союзного командования было отвести как можно больше немецких солдат с запада. Но принимая во внимание каждый фактор, мы не могли поверить, что эта цель может быть достигнута с по мощью Алексеева или Корнилова, которые в это время были предвестниками Деникина и Врангеля. Эти генералы, как Скоропадский, который был поставлен немцами главой белого правительства в Киеве, не были непосредственно заинтересованы в войне на западе. Они могли быть искренни в своем желании восстановить восточный фронт против Германии, но прежде, чем они могли сделать это, им приходилось иметь дело с большевиками. Без мощной иностранной поддержки они были недостаточно сильны для этого дела. Вне офицерства — а оно также было деморализовано — у них не было поддержки в стране. Хотя нам было ясно, что большевики будут драться только в том случае, если они будут вызваны на войну нападением немцев, мы были убеждены, что такое положение легко может возникнуть и что путем обещания поддержки мы можем помочь событиям принять желаемый оборот. Мы понимали негодование союзных держав против большевиков. Мы не могли согласиться с их рассуждениями.

В этом миниатюрном совете союзников Ромэй и я были независимы. Ромэй сносился непосредственно с итальянским генеральным штабом. Он не зависел от итальянского посольства. После отъезда нашего посольства я был один. Лавернь, хотя он был главой военной миссии, был также военным атташе. Он был под непосредственным контролем

своего посла. Риггс был в еще более подчиненном положении. А послы союзников находились в Вологде, маленьком провинциальном городке, за сотни верст от центра действий. Это было похоже на то, как если бы три иностранных посла, сидя в деревушке на Гебридских островах, старались бы договориться со своими правительствами по поводу министерского кризиса в Англии. Добавим к тому же, что они удивительно не соответствовали своему назначению. Френсис, американский посол, был очаровательный старик лет около 80 — банкир из Сен-Луи, который, впервые покинув Америку, попал в водоворот революции. Нуланс, французский посол, был тоже вновь прибывший. Это был профессиональный политик, поведение которого определялось преобладающей политикой его собственной партии в Палате депутатов.

В штате у Лаверня был также социалист — капитан Жан Садуль, известный французский адвокат, бывший депутат социалистов. Садуль, который был в дружеских отношениях с Троцким, был ставленником Альбера Тома. Он служил Лаверню добросовестно и честно, но Нулансу он был, как красный флаг быку.

Политик не доверял политику. Тут были постоянные трения. Нуланс задерживал переписку Садуля с Тома, и в конце концов его упрямство и гонения довели несчастного Садуля до того, что он связался с большевиками. Торретта, итальянский уполномоченный, хорошо знал Россию и владел русским языком. Его Россия была, однако, Россия старого режима. Если бы даже он и хотел, он был морально неспособен противостоять мужественному и агрессивному Нулансу. Кроме того, у него было это отчаянное интервью с Луцким. На Торретту было мало надежды.

Вологда больше даже, чем Лондон или Париж, жила чудовищными антибольшевистскими слухами. Редко проходил день без того, чтобы Лавернь не получал приказа от своего посла расследовать новые несомненные германофильские происки большевиков. Ромэй и я обычно разражались хохотом, когда Лавернь спрашивал нас, не слышали ли мы о германской контрольной комиссии в С.-Петербурге. Во главе ее стоял граф Фредерикс, бывший министр двора при царе. Она работала закулисно, но большевистский наркоминдел находился под ее полным контролем, и ни один иностранец не сможет выехать из России без ее разрешения.

«Еще телеграмма из Вологды!» — говорили мы. Но Лавернь не смеялся. К этим маленьким беспокойствам господина Нуланса нужно было относиться серьезно, и, в то время как Лавернь делал свои разведки, Садуль отправлялся к Троцкому с заявлением официального протеста против учреждения подобной комиссии. Троцкий разводил руками. Иногда он сердился. Иногда смеялся и предлагал выписать бромю для успокоения нервов их сиятельств в Вологде. Его отец был фармацевтом, и знакомство Троцкого с фармакопеей обогащало его словарь.

Лаверню довольно часто приходилось совершать скучное путешествие в Вологду. Ромэй и я ездили туда только один раз. Ромэй выражался так: «Если бы мы посадили всех представителей союзных держав в котел и размешали бы их как следует, ни одной капли здравого смысла не выдалось бы из этого месива».

Период, когда большевики скорей всего могли пойти на соглашение с союзниками, был март 1918 года. Они боялись дальнейшего германского наступления. У них было мало веры в собственное будущее. Они бы приветствовали помощь офицеров союзных держав в воспитании новой Красной армии, которую тогда формировал Троцкий.

Благодаря стечению несчастных обстоятельств, нам представился замечательно удобный случай снабдить большевистское военное министерство офицерами Антанты, в которых оно нуждалось. Большая французская военная миссия, возглавляемая генералом Бертело, только что прибыла в Москву из Румынии. Рассуждая, что для нас будет лучше, если Красная армия будет инструктирована офицерами союзников, чем немцами, мы предложили Троцкому воспользоваться услугами генерала Бертело. Красный вождь, который уже доказал нам свое расположение, учредив комитет из офицеров союзников для содействия ему, охотно принял это предложение. На первом собрании этого нового комитета, который состоял из генерала Ромэя, генерала Лаверня, майора Риггса и капитана Гарстина, Троцкий внес формальное предложение о помощи. Генерал Лавернь принял это предложение, и было согласовано, что миссия генерала Бертело остается. Казалось, мы приобрели тактическое преимущество.

Через два дня весь план рухнул. Вмешался г-н Нуланс. Генерал Лавернь был распечен за превышение власти, а генералу Бертело с его штабом

офицеров было приказано немедленно отправляться во Францию. Барометр темперамента Троцкого сильно упал, и «Известия» вышли с передовицей, где заявлялось, что **только Америка умела подобающим образом вести себя с большевиками** и что союзники сами, вопреки желанию русского народа, мешают установлению дружественных отношений с Антантой.

Если у генерала Лаверня были свои неприятности, у меня их было не меньше.

С помощью наших секретных агентов британское правительство раскрыло новую угрозу германской ориентации большевиков.

Согласно полученным им сведениям. Сибирь была запружена немецкими отрядами, составленными из военнопленных, вооруженных большевиками. Они занимали обширную область. В этом было лишнее доказательство того, что большевики повсюду в России соединяются с врагом. Я получил резкую телеграмму, где указывалось, что мои донесения расходятся с действиями большевиков.

Я изложил дело моим коллегам-союзникам в Москве. Здравый смысл говорил мне, что эта история — вздорная выдумка. Сибирь, однако, была далеко. Мы не могли убедиться в действительности собственными глазами. Робинс и я отправились в военный комиссариат для интервью с Троцким. Его ответ был недвусмысленен. Не было смысла требовать от него отрицания. Мы ему не поверим. Мы должны отправиться и посмотреть сами. Он предлагал предоставить все возможности человеку, которого мы захотим послать расследовать это на месте.

Как ни трудно мне было обойтись без него, я решил послать Хикса, моего самого надежного помощника. Он уехал в ту же ночь с капитаном Вебстером, офицером американской миссии Красного Креста. Троцкий сдержал свое обещание. Он дал обоим офицерам личное письмо, инструктирующее местные советы оказывать им полное содействие. Им разрешалось ездить всюду и все видеть.

Хикс отсутствовал в течение шести недель. За это время он объездил всю Сибирь, осматривал лагеря военнопленных и производил свои расследования с большой тщательностью. В его телеграммах ко мне были потрясающие сведения, в особенности по поводу Семенова,

казачьего генерала, который из-за китайской границы совершал разбойничьи набеги на большевиков. Но вооруженных немецких или австрийских военнопленных в Сибири не было следа.

Я обработал его донесения и, зашифровав их, отправил в Министерство военных дел. Лондон реагировал немедленно телеграммой из военного министерства, приказывающей Хиксу тотчас же вернуться в Англию. Я догадывался, почему отзывают Хикса. Но я больше не мог без него обходиться. Работы у меня было столько, что я не мог справляться, и у меня в штате не было ни одного хорошего кодиста. После целого дня работы мне приходилось сидеть до ночи и шифровать самому. Я послал телеграмму о моем затруднительном положении в Министерство иностранных дел. Одновременно я указывал, что Хикс был послан в Сибирь под мою ответственность и, если его отзывают, мне не остается ничего другого, как просить, чтобы отозвали и меня. Я получил от Джорджа Клерка, чью доброту и терпеливость к моим резкостям я вспоминаю с благодарностью, частную телеграмму, извещающую меня о том, что Хикс может остаться.

Инцидент окончился, но он не прибавил мне популярности в Лондоне. Через четыре дня я получил две тревожные телеграммы от моей жены. Во второй было следующее: «Имею исчерпывающую информацию. Не делайте ничего необдуманного. Беспokoюсь за вашу будущую карьеру. Понимаю ваши личные чувства, но надеюсь скоро видеть вас здесь. Будет лучше для вас. Немедленно подтвердите получение».

Смысл был безошибочен. Я знал, откуда моя жена получила информацию. Я должен был махнуть рукой и вернуться домой. Я заупрямился и затаил в себе свои огорчения.

Независимо от вопросов политики, жизнь здесь в данный момент была полна мелких неприятностей. Между британским и русским правительствами происходили постоянные мелкие стычки-уколы, которые служили для того, чтобы замаскировать настоящее положение.

У нас были небольшие миссии по всей России, и у каждой миссии была своя политика. В то же время мы всячески протестовали против конфискации большевиками собственности союзников. Большевики отвечали нападками на военные цели союзников и попытками

склонить в свою пользу британскую рабочую партию. Литвинов в особенности становился помехой в Лондоне.

В этой игре протестов и контрпротестов на мою долю выпала роль волана, подбрасываемого ракетками двух правительств.

Однако некоторые лучи просвета были и в этом мрачном окружении. Успехи немцев на западном фронте встревожили большевиков. Они готовы были идти на интервенцию союзников в случае возобновления немецкого наступления. Атмосфера в Москве лучше всего может быть иллюстрирована тем фактом, что в отчете о мартовских сражениях на западном фронте в большевистской прессе были запрещены немецкие бюллетени. Буржуазная пресса печатала их полностью.

Немцы, казалось, тоже играли нам на руку в России. Их поведение в отношении большевиков было агрессивно и возмутительно.

Они выражали бесчисленные протесты против нашего пребывания в Мурманске, где мы все еще оставались, и для соблюдения формы большевистский наркоминдел прислал мне несколько нот, которые, согласно принятой так называемой открытой дипломатии, были опубликованы в официальных органах печати.

Я понес эти ноты к Чичерину.

— Что я должен с ними делать? — спросил я.

Он ответил, что в них был бы некоторый толк, если бы мы побольше считались с местными советами. «В противном случае, — цинично заметил он, — вы можете бросить их в корзину».

Троцкий, несмотря на то что он был в отчаянии от отношения союзников, держался по-прежнему дружески.

— Как раз теперь, когда мы накануне вступления в войну, — говорил он, — союзные державы делают все на руку немцам.

В истории иудеев, которая в то время — не без основания — была моим обычным чтением на ночь, я прочел молитву Бар-Кохба, иудейского «Сына Звезды», который во время борьбы с римлянами в 132 году молился так: «Молим тебя не помогать нашим врагам: нам твоя помощь не нужна». Это были почти те же слова, с которыми Троцкий обращался ко мне ежедневно.

В это время я имел однажды случай убедиться в физической смелости Троцкого.

Я разговаривал с ним в военном комиссариате на площади позади храма Спасителя. Вдруг в комнату влетел его помощник в состоянии совершенной паники. Снаружи собралась огромная толпа вооруженных матросов. Им не платили жалованья, или оно было недостаточно. Они желали видеть Троцкого. Если он не выйдет, они разнесут дом.

Троцкий тотчас же вскочил со сверкающими глазами и вышел на площадь. Я наблюдал сцену из окна. Он не сделал попытки уговорить матросов. Он обрушился на них с яростной руганью. Это были псы, недостойные флота, который сыграл такую славную роль в революции. Он рассмотрит их жалобы. Если они справедливы, они будут удовлетворены. Если нет, он заклеит их, как предателей революции. Они должны вернуться в казармы, или он отберет у них оружие и лишит их прав. Матросы поплелись обратно, как побитые дворняжки, а Троцкий вернулся ко мне продолжать прерванный разговор. Был ли Троцкий другой Бар-Кохба? Во всяком случае, он был очень воинственным.

Ленин, которого часто видел Робинс, охранялся лучше, но он тоже готов был на многое, чтобы обеспечить дружественное сотрудничество с союзниками.

Другие комиссары тоже давали доказательства дружественного отношения. Я завязал прекрасные деловые отношения с Караханом, который вместе с Чичериным и Радеком составлял триумvirат в большевистском наркоминделе. Армянин, с черными волнистыми волосами, с выхоленной бородой, это был Адонис большевистской партии. У него были прекрасные манеры. Он был великолепный знаток сигар. Я никогда не видел его в дурном настроении и за все время нашего контакта, даже когда я был объявлен шпионом и убийцей его коллегами, я не слышал от него ни одного неприятного слова.

Из этого не следует, что он был святым. Он обладал коварством и хитростью своего народа. Дипломатия была его сфера.

Но Радек был нашим любимцем среди комиссаров. Еврей, его настоящее имя Собельсон, он был в некотором смысле гротескной фигурой. Маленький человек с огромной головой, с торчащими ушами,

с гладко выбритым лицом (в те дни он еще не носил этой ужасной мочалки, именуемой бородой), в очках, с большим ртом с желтыми от табака зубами, в котором всегда торчала большая трубка или сигара, он всегда был одет в темную тужурку, галифе и гетры.

Он был большой друг Рэнсома, корреспондента «Манчестер гардиан», и через Рэнсома мы близко его узнали. Чуть ли не каждый день он заходил ко мне на квартиру, в английской кепке, лихо сидящей на голове, с жестоко дымящей трубкой, со связкой книг под мышкой и с огромным револьвером, торчащим сбоку. По внешности он был нечто среднее между профессором и бандитом.

В блеске его ума, во всяком случае, можно было не сомневаться. Это был виртуоз большевистского журнализма, и его разговор был так же блестящ, как и его передовицы.

Послы и иностранные министры были мишенью для его острот. В качестве заместителя комиссара по иностранным делам он принимал послов и министров во второй половине дня, а на следующее утро под прозрачным псевдонимом Viator он атаковал их в «Известиях» Это был гoblin, полный коварства и очаровательного юмора. Это был большевистский лорд Бивербрук.

Когда приехало немецкое посольство, он всячески испытывал терпение представителей кайзера, так как в те дни, во всяком случае, этот маленький человечек был свирепым антигерманистом. Он присутствовал в Брест-Литовске, где с особым удовольствием пускал дым своей скверной сигары в физиономию генерала Гофмана. При всяком удобном случае он голосовал против мира. Вспыльчивый и непосредственный, он раздражался обуздыванием, которому время от времени его подвергали более осторожные коллеги. Когда он приходил к нам и получал полфунта морского табака, он с неподражаемой легкостью высмеивал свои огорчения. Его сатиры были направлены на всех и на все. Он не щадил никого, даже Ленина, и во всяком случае не щадил русских. Когда мир был ратифицирован, он чуть ли не со слезами восклицал: Боже! Если бы в этой борьбе за нами стояла другая нация, а не русские, мы бы перевернули мир.

Он был невысокого мнения как о Чичерине, так и о Карахане. Чичерин — это старая баба, а Карахана он изображал ослом классической красоты.

Он был увлекательный и интересный актер и считался опаснейшим пропагандистом из всех возникших из большевистского движения.

Первые два месяца нашего пребывания в Москве Робинс и я пользовались привилегированным положением. Мы свободно виделись с разными комиссарами. Нам даже разрешалось присутствовать на некоторых совещаниях Центрального Исполнительного Комитета. Однажды мы отправились слушать прения по вопросу о новой армии.

В те дни большевистский парламент устраивал заседания в главном ресторане гостиницы «Метрополь», которая была переименована в Дом Советов. Депутаты сидели рядами на стульях, как в концерте. Разные ораторы выступали с маленькой трибуны, с которой когда-то капельмейстер Кончик услаждал бесчисленные буржуазные души рыданиями своей скрипки. На этот раз, конечно, оратором был Троцкий. Как оратор-демагог, Троцкий производит удивительно сильное впечатление, пока он сохраняет самообладание. У него прекрасная свободная речь, и слова льются потоком, который кажется неиссякаемым. В разгаре красноречия его голос подобен свисту.

В этот вечер он был в ударе. Это был человек действия, докладывающий первый успех своего великого начинания — создания Красной армии. Было достаточно оппозиции (в марте и апреле в ЦИК еще входило несколько меньшевиков), чтобы вызвать в нем отпор, но не лишить его самообладания, и он разбивал своих оппонентов с решимостью и ясным удовольствием. Он вызвал необыкновенный энтузиазм. Его речь была, как объявление войны. Сам он казался воплощением воинственной ненависти.

Прежде чем открылись прения, нам с Робинсом подали чай с бисквитами и представили разным комиссарам, с которыми мы еще не встречались. То были: с мягкими манерами и бархатной речью Луначарский; Бухарин, маленький человек с большим мужеством и единственный большевик, не боявшийся критиковать Ленина или скрещивать с ним шпаги в диалектической дуэли; Покровский, известный русский историк; **Крыленко, эпилептический дегенерат, будущий общественный прокурор** и самый отталкивающий тип из всех, с кем мне когда-либо приходилось встречаться среди большевиков. Эти четыре человека, вместе с Лениным и Чичериным, были чистым русским элементом в этой мешанине из евреев, грузин,

поляков и прочих национальностей. (прим. – вообще-то вся эта «мешанина» состояла из интернациональных евреев)

Во время прений мы сидели за боковым столиком с Радеком и Гумбергом, американским евреем, помощником Робинса. Ленин входил в зал несколько раз. Он подсел к нам и поболтал с нами несколько минут. Он был, как всегда, в хорошем настроении — и по правде сказать, я думаю, что из всех этих общественных фигур он отличался наиболее уравновешенным темпераментом — но участия в прениях он не принимал. Единственное внимание, которое он оказал речи Троцкого, было то, что он слегка понизил голос в разговоре с нами.

Было здесь еще два комиссара, которых я в тот вечер встретил впервые. Один — Дзержинский, глава ЧК, человек с корректными манерами и спокойной речью, но без тени юмора в характере. Самое замечательное — это его глаза. Глубоко посаженные, они горели упорным огнем фанатизма. Он никогда не моргал. Его веки казались парализованными. Он провел большую часть своей жизни в Сибири, и лицо его носило следы изгнания. Я также обменялся рукопожатием с плотно сложенным человеком, с бледным лицом, с черными усами, густыми бровями и подстриженными бобриком черными волосами. Я мало обратил на него внимания. Он не сказал ни слова. Он не казался мне достаточно значительной фигурой чтобы включать его в мою галерею большевистских портретов. Если бы кто-нибудь тогда провозгласил его собравшейся партии, как преемника Ленина, делегаты встретили бы это хохотом. Человек этот был грузин Джугашвили, известный ныне всему миру как Сталин, человек из стали.

Из этих новых знакомых наибольшее впечатление произвел на меня Луначарский. Человек блестящего ума и широкой культуры, он с большим успехом, чем кто-либо, обращал в большевизм буржуазных интеллигентов или внушал им терпимость к большевистскому режиму. Это он вернул Горького большевикам, к которым он, может быть, не подозревая сам, принадлежал всегда. Это он настаивал на сохранении буржуазного искусства, отстаивал сокровища русских музеев, и ему в первую очередь обязаны тем, что до сих пор в Москве существуют опера, балет и знаменитый Художественный театр. Это Луначарский, в прошлом приверженец православия, поднял «большевизирующее» движение в русской церкви. Блестящий оратор, он выдвигал

оригинальные аргументы в защиту своей пересмотренной религии. Это было в первый год большевистского режима, когда он произнес свою знаменитую речь, в которой он сравнивал Ленина, преследовавшего капиталистов с Христом, изгонявшим менял из храма, и закончил ее поразительным выводом — «Если бы Христос был жив теперь, он был бы большевиком».

В этот период, март — апрель 1918 года, Робинсу и мне выпало еще одно переживание. Одной из первых задач Троцкого как комиссара по военным делам было освобождение Москвы от анархистских банд, которые терроризировали город. В три часа ночи 12 апреля была произведена одновременная облава на 26 анархистских гнезд. Это предприятие завершилось полным успехом. После отчаянного сопротивления анархисты были выгнаны из занятых ими домов, и все их пулеметы, винтовки, амуниция, и все, ими награбленное, было конфисковано. Около ста человек были убиты во время сражения, 500 были арестованы. Днем позже по приглашению Дзержинского Робинс и я поехали осматривать места сражений. Нам дали автомобиль и вооруженную охрану. Нашим проводником был Петерс, латыш, помощник Дзержинского и мой будущий тюремщик.

Анархисты присвоили лучшие дома в Москве. На Поварской, где раньше жили богатые купцы, мы заходили из дома в дом. Грязь была неопишная. Пол был завален разбитыми бутылками, роскошные потолки изрешечены пулями. Следы крови и человеческих испражнений на обюсонских коврах. Бесценные картины изрезаны саблями. Трупы валялись где кто упал. Среди них были офицеры в гвардейской форме, студенты — 20-летние мальчики и люди, которые, по всей видимости, принадлежали к преступному элементу, выпущенному революцией из тюрем. В роскошной гостиной в доме Грачева анархистов застали во время оргии. Длинный стол, за которым происходил пир, был перевернут, и разбитые блюда, бокалы, бутылки шампанского представляли собой омерзительные острова в лужах крови и вина. На полу лицом вниз лежала молодая женщина. Петерс перевернул ее. Волосы у нее были распущены. Пуля пробила ей затылок, и кровь застыла зловещими пурпуровыми сгустками. Ей было не больше 20 лет. Петерс пожал плечами.

— Проститутка, — сказал он, — может быть, для нее это лучше.

Это было незабываемое зрелище. Большевики сделали первый шаг к восстановлению дисциплины.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Хотя мы и жили в состоянии хронического кризиса, жизнь давала некоторые передышки. Благодаря американскому Красному Кресту нас хорошо снабжали продовольствием и табаком. Хикс, кроме того, был хорошим организатором, и в те дни, когда еще было сносное сообщение, он сделал запас вина, которого хватило нам до конца пребывания. Мы обедали у себя, поддерживали отношения с нашими коллегами и на пышное гостеприимство, которое они могли оказывать нам в силу их численного превосходства и больших удобств, отвечали, как могли. После обеда обычно играли в покер с американцами. Робинс не играл. Он читал Библию или беседовал со мной. Но штат его играл. Мои товарищи были для них плохими партнерами, и, когда я принимал участие в игре, мне тоже приходилось — увы — расплачиваться за свое воспитание. Среди них был один американизированный ирландец О'Каллаген, равного которому по игре в покер я еще не встречал. Он был убежденный пессимист. Всякий раз, как он играл, он вынимал свои часы и говорил: «Удача изменяет в 12 часов, позже везет меньше». Его удача или искусство ему никогда не изменяло. Он загребал наши деньги с неизменной регулярностью.

По воскресеньям мы ходили в балет. За исключением того, что царская ложа была набита «товарищами», представление шло, как и в царское время, и так же хорошо. На несколько часов мы могли забыть о наших заботах, и, глядя на те же декорации и на тех же исполнителей, мне трудно было представить себе, что мы находимся в самом центре величайшей революции в мире. Потом занавес опускался, оркестр играл «Интернационал», и мы возвращались к мрачной действительности сегодняшнего дня. На протяжении нескольких месяцев «Интернационал» был третьим национальным гимном, который я слышал в исполнении все того же оркестра. Когда наступила весна, мы стали выезжать за город, устраивали пикники в лесу и бродили по полям. Наше любимое место было Архангельское, чудесная загородная дача князя Юсупова. Странно было видеть это место заброшенным. Крестьяне завладели землей, но, насколько мы могли судить, не тронули дома, здесь все, казалось, было в нетронутом

виде. После Москвы это уединение действовало умиротворяюще. По дорогам не было движения, и, как только пригород оставался позади, нам редко кто попадался навстречу. Отсутствие движения, однако, нас чуть было не привело к катастрофе. Возвращаясь однажды вечером, когда уже стемнело, мы налетели на шлагбаум. Сторож, оказывается, спал. К счастью, мы ехали не очень скоро и отделались только тем, что разбилось переднее стекло, — автомобиль не пострадал. Все же я сильно изрезал руки стеклом, и до сих пор у меня остались шрамы от этого приключения.

Мы даже ходили однажды в кабаре — погреб, называвшийся «Подполье», в Охотном Ряду. Это было идиотское предприятие, потому что заведение было нелегальным, и мы бы очутились в дурацком положении, если бы нас там накрыли. Зал был набит буржуями богатейших слоев. Была прекрасная сцена, отдельные столики и ряд кабинок в глубине. Цены были высокие, но шампанское было на каждом столе. Мы взяли кабинку и стали слушать превосходное исполнение, которого, кроме как в России, нигде не услышишь. Здесь я впервые услышал Вертинского, молодого декадентского гения, чьи песни, сочиненные и исполняемые им самим, выражали безнадежное настроение русской интеллигенции. Особенно одна песня произвела на меня глубокое впечатление: «Я не знаю, зачем». Это была антивоенная песня, и Вертинский с его напудренным, белым как смерть лицом, исполнял ее с громадным успехом. Я запомнил только несколько первых строчек:

Я не знаю, зачем
И кому это нужно,
Кто послал их на смерть
Не дрожащей рукой.
Только так беспощадно,
Так зло...

Он повторял эту песню еще и еще. Она отражала настроение антибольшевистской аудитории, потерявшей свою душу и мораль. Это была песня класса, который уже потерял все надежды, класса, который готов пойти на что угодно, лишь бы избежать смерти в борьбе.

И, однако, только сегодня утром я получил из Министерства иностранных дел телеграмму, в которой приводилось мнение британского эксперта по военным делам, утверждавшего, что России

нужна только небольшая, решительная группа британских офицеров, которые повели бы к победе «благородный русский народ».

Пока я сидел и раздумывал над тяжелой участью человека, находящегося на месте действий, поднялся шум у дверей и раздался решительный окрик: «Руки вверх!». Двадцать человек в масках вошли в зал и навели на аудиторию браунинги и револьверы.

Наступила мертвая тишина. Живо и без всякой суеты четыре бандита обыскали карманы присутствующих, отбирая деньги, драгоценности и все ценное. Большинство из них были в офицерской форме, по праву или нет — я не имел возможности определить.

Когда они подошли к нашей кабинке их вождь обратил внимание на английскую форму Хилла и Гарстина. Я уже успел отдать им мои часы и бумажник. Человек отдал нам честь. «Вы английские офицеры? — сказал он. Я с все еще поднятыми к небу руками ответил: «Да». Он вернул мне деньги и часы. «Мы не грабим англичан, - сказал он. - Я прошу прощения за состояние моей родины, которое принуждает меня прибегать к такому образу действий, чтобы заработать на существование».

Нам повезло. К счастью, нам уже не могло больше представиться случая повторить этот опыт. Когда Троцкий истребил анархистов, он уничтожил и кабаре.

Что касается нашей жизни в Москве, мы, союзники не могли считать себя несчастными. Лавернь и Ромэй были прекрасные товарищи, и за все эти тяжелые восемь месяцев у нас не было ни одной ссоры, и мы не обменялись ни одним резким словом. Ромэй в особенности был большой поддержкой. Это был самый хладнокровный итальянец из всех мной виденных. Он оценивал любой кризис объективно, и можно было быть уверенным, что к решению любой проблемы он подойдет со здравым смыслом. У него не было никаких иллюзий насчет пригодности России, как боевого аппарата, и он решительно восставал против всяких авантюр.

С другими британскими миссиями в России у меня были не такие хорошие отношения. Я поддерживал насколько можно тесный контакт с Кроми, морским атташе, и помог ему в его работе, введя его в соприкосновение с Троцким. Он был храбрый и очень работоспособный морской офицер, но без всякого опыта в

политической работе. Время от времени я встречался с МакАльпином, бывшим чиновником Министерства финансов и человеком выдающегося ума. Его главная квартира была в Петербурге. Он также умел смотреть объективно на положение и до конца оставался убежденным противником интервенции. Были, однако, другие британские уполномоченные, которые осуждали мою политику и, не будучи осведомлены о моих действиях, интриговали против меня. Дело в том, что в наших различных миссиях и остатках миссий была неразбериха. Не было ни одной на правах полного авторитета, и, хотя Министерство иностранных дел адресовало мне телеграммы, как «Британскому агенту, Москва», а большевики упорно величали меня «Британский дипломатический представитель», - я был в полном неведении относительно деятельности целой группы британских офицеров и уполномоченных, присутствию и протекции которых в России единственной гарантией служило мое положение у большевиков.

Поскольку одновременно семь различных политик не могут быть названы политикой, британской политики не существовало. А для усугубления этой неясности Министерство иностранных дел настаивало, чтобы я насколько возможно сохранял неопределенность своего положения. Если в Палате общин какой-нибудь ярый сторонник интервенции запрашивал, с какой целью британское правительство держит уполномоченного представителя в стране головорезов, которые стремятся разрушить цивилизацию, м-р Бальфур или его секретарь совершенно правдиво отвечали, что у нас нет официального представителя, аккредитованного при большевистском правительстве. Если, с другой стороны, какой-нибудь революционно настроенный либерал обвинял британское правительство в том, что оно не имеет уполномоченного представителя в Москве для защиты британских интересов и для помощи большевикам в их борьбе с немецким милитаризмом, мистер Бальфур с такой же правдивостью отвечал, что такой полномочный представитель имеется в Москве — человек с большим знанием России, и на него возложены именно эти обязанности.

Ясно, что перед британским правительством стояла задача огромной трудности. Оно не было в состоянии послать большие силы в Россию.

Оказать поддержку небольшим офицерским армиям на юге значило толкнуть большевиков на нечестивый союз с немцами. Оказать поддержку большевикам — здесь была серьезная опасность, по крайней мере на первых порах, что немцы будут наступать на Москву и Петербург и посадят здесь свое буржуазное германофильское правительство. Я лично предпочитал эту возможность, так как это стянуло бы немецкие войска в Россию. Без военной поддержки немцев ни одно буржуазное правительство не удержалось бы и месяца. Большевики безусловно сладили бы с русскими антибольшевистскими отрядами. Но, кроме этого, было физически невозможно для нашего правительства не отставать от положения, которое менялось радикально через каждые двое суток. Вполне естественно, что британские министры не усматривали никакого порядка в этом хаосе. Их можно было обвинить только в том, что они слушали слишком много советников, и не понимали одной основной истины — **того, что в России образованный класс представляет несоизмеримое меньшинство, неорганизованное и без политического опыта,** и без всякого контакта с массами. Высшая глупость царизма заключалась в том, что за пределами собственной бюрократии он решительно подавлял всякое проявление политики. С крушением царизма рушилась и бюрократия, и не осталось ничего, кроме масс. В Москве, где можно было слышать пульс событий, всякий, кроме самого упрямого традиционалиста, мог убедиться в том, что здесь налицо был катаклизм, который сметал до основания все прежние представления о России. Лондон, однако, продолжал считать это преходящим штормом, после которого все уляжется и станет на место. Plus «са change, plus c'est la meme chose». Это один из самых опасных исторических афоризмов (чем больше меняется, тем больше остается неизменным). Весной и летом 1918 года это изречение было на устах у всех британских сторонников интервенции.

История имеет свои приливы и отливы, но в отличие от приливов отлив наступает медленно и редко в одном поколении.

Еще одним гнетом для меня в этот период был мой контакт с моими старыми политическими друзьями дореволюционных времен. Те, кто остался в Москве, навещали меня. Одни приходили в гневе, другие в горе, третьи дружески. Их можно было разделить на три категории: те, что были сторонниками всеобщего мира, те, что находились в связи с белыми генералами на юге и верили в так называемую союзническую

ориентацию, и те, что с грустью признавали, что большевики пришли, чтоб остаться. Я не включаю сюда сторонников немецкой ориентации. Они меня не навещали.

Эти интервью доставляли мне немало огорчений. Эти люди были моими друзьями и коллегами в деле укрепления англо-русских дружественных отношений. Отказать им в помощи казалось почти предательством. С защитниками всеобщего мира (идея заключалась в том, чтобы заключить мир с Германией и позволить немцам расправиться с большевиками) мне было сравнительно легко себя вести. Я мог грустно качать головой и говорить, что при существующем положении на западном фронте вряд ли это достижимо. Они тем не менее упорствовали, и когда немецкое посольство приехало в Москву, один известный русский известил меня, что он совещался с немецким послом и мог устроить мне частное совещание с ним в своем доме.

Я изложил это Министерству иностранных дел и получил инструкции не связываться с этим предложением.

Гораздо труднее было мое положение с защитниками интервенции союзников. Положение, которое я занимал не давало мне возможности обещать никакой помощи или поддержки. Я этого и не делал, но в целях информации поддерживал с ними более или менее регулярные отношения. Ко мне являлись даже разные эмиссары от генерала Алексеева, от генерала Корнилова и позже от генерала Деникина, но, так как я был окружен провокаторами, к тому же не мог быть уверенным в честности намерений эмиссаров, я был сух и осторожен в своих ответах.

Третья категория людей, которых я назвал бы реалистами, была немногочисленна. Сюда входили люди, как Авинов, бывший товарищ министра внутренних дел, молодой Муравьев, экс секретарь Извольского и брат первой леди Читэм. Авинов, человек большого ума и объективного мышления, был самый рассудительный из всех моих друзей. Это был человек, которого нельзя было не любить. Он был прекрасно образованным и хорошо воспитанным человеком. Его жена, урожденная графиня Трубецкая, принадлежала к одной из самых старинных русских фамилий. Революция уничтожила все, к чему он был привязан в жизни. Но он был проницательней большинства своих соотечественников.

Однажды в разговоре, блестяще анализируя революционное движение, он с грустью сказал мне, что большевики — это единственное правительство, которое с момента революции проявило признаки силы, и что, не смотря на их диктаторскую тиранию, корни их в массах, и что контрреволюционерам не на что надеяться еще много лет.

Были у нас и еще гости — застрявшие английские миссии, возвращающиеся из Румынии и с Юга.

Был Лепаж, бородатый, хорошо владеющий собой офицер-морьяк, у которого была трудная обязанность поддерживать сношения с русским флотом на Черном море. Был де Кандоль, эксперт по железнодорожному транспорту, у которого было поручение в Румынии. Проездом через Москву он оставил со мной своего помощника Тэмплина, которого я включил в штат своей миссии.

Несколько позже я встретил Лингнера, который был по делам пропаганды в Тифлисе и которому, чтобы попасть в Москву, пришлось пережить целую эпопею опасных приключений. Оба — Тэмплин, который пре красно говорил по-русски, и Лингнер, у которого была деловая голова — были мне большими помощниками. Нельзя еще, конечно, не упомянуть об Артуре Рэнсоне, корреспонденте «Манчестер гардиан», который, не будучи членом нашей миссии, был все же больше чем гостем. Он жил в нашем отеле, и мы виделись с ним почти каждый день. Рэнсом был Дон Кихотом, с усами, как у моржа, сентименталист, готовый вступить за любого обиженного, и наблюдатель, воображение которого было зажжено революцией. Он был в прекрасных отношениях с большевиками и часто сообщал нам очень ценные сведения. Неисправимый романтик, он мог из ничего создать волшебную сказку и был приятный и занимательный собеседник. Он был отчаянный рыболов, у него есть несколько очаровательных очерков на эту тему. Я относился к нему с теплым чувством и всячески защищал его от идиотов нашей контрразведки, которые позже пытались выдать его за большевистского агента.

Но самыми необыкновенными гостями были немцы, которых мы видели часто, но никогда с ними не раскланивались. Прямым следствием Брест-Литовского мира было назначение немцами графа Мирбаха послом в Москву. Он должен был приехать 24 апреля. Первая из целой серии стычек произошла 22 апреля, когда большевики

привели меня в ярость, реквизировав сорок комнат в нашем отеле для нового посла и его штата. Большая часть комнат была в том же этаже, что и моя.

Задыхаясь от злобы, я отправился к Чичерину с протестом против этого оскорбления. Чичерин извинялся, но оставался пассивен. Я бушевал и неистовствовал. Чичерин смотрел устало, и в его хорьковых глазках отражалось изумление при виде ярости такого обычно мягкого человека, как я. Он разводил руками, оправдывался, пообещал, что нашествие это только на несколько дней, и извинялся тем, что в их распоряжении не было ничего более подходящего.

В отчаянии я пошел к Троцкому, который, во всяком случае, был вправе принять какое-то решение. Я его не застал, но у него был очень способный и с большим тактом секретарь, Евгения Петровна Шелепина, ныне английская подданная и супруга Артура Рэнсома. Я сказал ей, что мне необходимо переговорить с Троцким немедленно и что дело не терпит отлагательства. Через пять минут я разговаривал с ним по телефону. Самым внушительным русским языком я сказал ему, что не потерплю этого оскорбления и что, если ордер о реквизиции не будет отменен тотчас же, я со своей миссией и со всем имуществом немедленно отправляюсь на вокзал и буду находиться там до тех пор, пока он мне не даст поезд. Я требовал ответа немедленно. Троцкий, который был на заседании народных комиссаров в Кремле, принял мое заявление должным образом. Он согласился, что положение наше будет невыносимо, и обещал принять меры сейчас же. Он сдержал слово. Через полчаса он позвонил мне, что дело улажено. Он отдал категорическое распоряжение, чтобы для немцев, он еще не знал где, но было найдено другое помещение. На несколько дней их поместили без особых удобств во второклассной гостинице. Потом их перевели в роскошный особняк в Денежном переулке. Этим небольшим триумфом я всецело обязан Шелепиной. Я расплатился с ней позже, когда она пожелала уехать из России, дав ей британский паспорт, — поступок незаконный, но за который, я надеюсь, теперь меня не привлекут к ответственности.

26 апреля граф Мирбах явился для вручения верительных грамот в Кремль. Он был принят не Лениным, а Свердловым, председателем Центрального Исполнительного Комитета. Процедура прошла формально и холодно-вежливо. Свердлов в своей речи сказал: «В

вашем лице мы приветствуем нацию, с которой мы заключили Брест-Литовский мир».

Штат немецкого посольства состоял почти целиком из русских экспертов. Мирбах сам был советником немецкого посольства в Петербурге до войны.

Рицлер, его главный помощник, обладал глубоким и многосторонним опытом в русской политике. Хаусшильд, первый секретарь, был мой старый приятель. Он приехал в Москву вице-консулом в одно время со мной. Это был честный человек. До начала войны он был англофилом.

Несмотря на их широкую осведомленность в русских делах, я не думаю, что в своих деловых отношениях с большевиками немцы были успешнее, чем мы. Несомненно, они совершали не меньше ошибок, и не было времени, когда их положение можно было считать надежным или счастливым. Мы ходили всюду без оружия и без охраны. Немцы без охраны не выходили ни на шаг

Тем не менее их присутствие в Москве было для нас значительной помехой, а большевики находили детское удовольствие сталкивать нас друг с другом. Они делали это очень успешно. Они держали нас вместе в приемной наркоминдела. Если им хотелось досадить Мирбаху они принимали меня первым. Если они за что-нибудь были обижены на британское правительство, они миндальничали с Мирбахом и заставляли меня ждать.

Если немцы были слишком настойчивы в своих требованиях, большевики угрожали им интервенцией с союзниками.

Если союзники старались навязать интервенцию большевикам, они рисовали ужасную картину опасностей наступления немцев на Москву.

Так как ни немцы, ни союзники не могли остановиться на какой-то определенной и ясной политике по отношению к России, у большевистской дипломатии были все преимущества.

Встречи мои с немцами в наркоминделе были для меня большой неприятностью. Иногда нас оставляли вместе почти на час, и мы в течение всего этого времени поворачивались спиной друг к другу и глазели в окна или читали «Известия». Особенно тяжелая встреча была у меня, когда я столкнулся в первый раз лицом к лицу с Хаусшильдом. Он был один в приемной, когда я вошел, и он двинулся ко мне

навстречу с открытой улыбкой. Я отвернулся, как будто мы были незнакомы. Это был поступок, о котором я потом всегда жалел. Позднее, когда я был арестован и жизнь моя подвергалась опасности, он пристыдил меня, присоединившись к дипломатическим представителям нейтральных держав в ходатайстве о моем освобождении. Через шведского посла (charge'd'affaires) он передал мне дружеский привет, когда я был в тюрьме.

Теперь он умер, и у меня не было возможности отплатить ему благодарностью или извиниться за свой поступок.

Был еще один посетитель, который так же, как и Артур Рэнсом, сделался своим человеком. Это была Мура. С тех пор, как мы простились с ней в Петербурге в начале марта, мне недоставало ее больше, чем я мог себе в этом признать. Мы писали друг другу регулярно и письма ее сделались необходимостью моего повседневного существования. В апреле она приехала к нам в Москву. Она приехала в десять часов утра, а у меня были интервью до часу. Я сошел вниз в помещение, где мы обедали. Она стояла около стола, и весеннее солнце освещало ее волосы. Когда я подошел поздороваться с ней, я не мог выговорить ни слова. В жизнь мою вошло новое чувство — чувство сильнее и крепче, чем сама жизнь. С этих пор она не расставалась с нами до того времени, пока нас не разлучила вооруженная сила большевиков.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

С прибытием немецкого посольства в Москву перспективы возобновления войны между Германией и Россией начали отдаляться. Удобный момент для соглашения большевиков и союзников был в феврале и в марте, когда советское правительство все еще было в неизвестности относительно намерений немцев. С начала мая ленинская мирная политика взяла верх даже среди тех большевиков, которые больше других протестовали против Брест-Литовского мира. Странно, что Министерство иностранных дел, которое в феврале и в марте не поощряло меня, теперь начало проявлять признаки одобрения.

Меня начали настойчиво понуждать сделать все возможное, чтобы обеспечить согласие большевиков на военную союзническую интервенцию в России.

Момент был неблагоприятен, но еще не совсем прошел. Были еще некоторые факторы в нашу пользу, и самый значительный из них — это поведение немецких войск на занятой ими территории. Они посадили буржуазное русское правительство на Украине, первым действием которого было возвращение земель прежним собственникам. Это, естественно, вызвало крестьянское восстание, которое было подавлено с величайшей жестокостью. Большевики и левые эсеры, прибывшие с юга, были в ярости и делали все, чтобы вызвать партизанскую войну против немцев. Немцы могли брать и удерживать города с помощью военной силы. Они не могли справиться с деревней. Помимо этого, военная поддержка, которую немцы оказали белым финнам в финской гражданской войне, - был другой фактор в нашу пользу. Германия, казалось, была сторонницей реакции. Отсюда естественно, что левые силы должны были обратиться поддержкой к нам.

Троцкий тоже все еще говорил о войне, как если бы она была неизбежна. Когда я спросил его, примет ли он интервенцию союзников, он ответил, что он уже запросил союзников, чтобы они сделали предложение. Он хотел гарантий о невмешательстве во внутренние дела России. Я тогда спросил его, можем ли мы, в случае если союзники придут к соглашению в этом пункте, устроить получасовое совещание, чтобы набросать план соглашения?

Ответ его был характерен: «Когда союзники договорятся между собой, я уделю вам не полчаса, а целый день».

Правда, взгляды Ленина были менее удовлетворительными. Он тоже считал войну неизбежной и склонен был к соглашению с союзниками. Но он решил установить свой последний срок. Я видел его последний раз седьмого мая. Он откровенно сообщил мне, что для него ясно, что рано или поздно Россия станет ареной войны для двух враждебных империалистских групп, но что он решил для блага самой России не допускать этого как можно дольше.

Тем не менее до конца июня оставались разумные перспективы прийти к временному соглашению. К сожалению, хотя оба, как британское, так и американское, правительства делали некоторые попытки заигрывать с идеей союзнической интервенции с согласия большевиков, никакой определенной политики выработано не было.

А в Вологде сидел г-н Нуланс, французский посол, стремясь только к одной цели: не вступать ни в какие отношения с этими убийцами, которые оскорбили его. 29 апреля у меня на квартире было совещание представителей союзных держав. Генерал Лавернь осведомил нас, что г-н Нуланс стоял за интервенцию без согласия большевиков и без их спроса на это. Генерал, который ездил в Вологду, признал, что его посол не мог выдвинуть ни одного военного аргумента в пользу своего предложения.

Ромэй, Риггс и я подтвердили нашу приверженность к политике сотрудничества с большевиками.

Были еще трения между большевиками и нами - трения, которые сыграли значительную роль в провале действительного соглашения, к которому мы стремились прийти. Японская интервенция была первым камнем преткновения. Была минута, когда мы готовы были уже донести о благоприятном ходе дел с Троцким. Следующий день возвращал нас к тому же положению, где мы были раньше. Японцы высадили свои войска во Владивостоке. Выговоры Троцкого. Все привилегии англичанам отменены. Телеграммы в Лондон. И с промедлением на несколько дней приходит ответ, что инцидент следует рассматривать как носящий исключительно местный характер.

Перспектива соглашения не улучшилась благонамеренной речью господина Бальфура, который заявил, что японцы пришли помогать русским. В разговоре с Рэнсомом Ленин сразу поставил вопрос: «Каким русским?» — и в тонком анализе этой проблемы изложил причины, почему японская интервенция невыгодна ни Англии, ни большевистской России. Этот анализ был перепечатан на к машинке, и своей рукой Ленин удостоверил, что это действительно его точка зрения. Я сохранил этот документ в факсимиле с английским переводом на обратной странице, как: 1) образец ленинского почерка и 2) как иллюстрацию его образа мышления.

Другим источником неприятностей была чешская армия, состоящая из чешских пленных, которая сражалась за Россию вплоть до большевистской революции. Чехи, будучи дисциплинированной и хорошо вооруженной силой, были под командой французских офицеров. Однако для разрешения их эвакуации потребовались мои услуги, конечно, главным образом, благодаря моему

привилегированному положению у большевистского правительства. Эвакуация была делом нелегким.

Не было ничего неестественного в том, что немцы отчаянно протестовали против присутствия на ставшей нейтральной русской территории большой силы, которая должна была быть направлена против них. Тем не менее мне удалось заручиться благожелательством Троцкого, и, если бы не глупость французов, я уверен, что чехов удалось бы эвакуировать спокойно и без инцидента. Моя задача осложнялась еще полученными в последнюю минуту пожеланиями британского правительства, в смысле использования моего влияния на то, чтобы убедить Троцкого переправить чехов в Архангельск. И это в то время, когда на севере России генерал Пуль проводил политику интервенции, которая впоследствии была принята и была не чем иным, как вооруженной интервенцией против большевизма.

В конце концов чехи были причиной нашего окончательного разрыва с большевиками. Как я желал бы теперь, чтобы президент Массарик находился в России в то тяжелое время. Я убежден, что он никогда не дал бы санкции на сибирское восстание. Союзники послушались бы его, и мы избежали бы этой чудовищно безумной авантюры, которая обрекла на смерть тысячи русских и стоила миллионы фунтов золота британскому налогоплательщику.

Время близилось к концу. Мы быстро неслись к неизбежной трагедии. Не я один был в Москве без поддержки с родины. Робинс также потерял кредит в Вологде.

У него был отчаянный оппонент в лице Соммерса, американского генерального консула в Москве, который, будучи женат на русской из хорошей семьи, был душой и сердцем сторонником старого режима. Когда Соммерс в конце апреля внезапно умер, нашлись клеветники, которые распустили слухи, что он был отравлен большевиками, и при этом косились на Робинса. Французы тоже вставляли Робинсу палки в колеса, играя на тщеславии американского посла. Однажды в его присутствии член французского посольства спросил, кто был американским послом, Френсис или Робинс, так как они всегда противоречили друг другу. В результате этих интриг положение Робинса сделалось невыносимым, и в начале мая он уехал из России с личной жалобой к президенту Вильсону. Накануне отъезда он обедал с нами. Он читал в то время жизнь Родса и после обеда дал нам

прекрасное описание его характера. Подобно лорду Бивербруку, он обладал замечательным талантом извлекать из прочитанного то, что ему хотелось, а потом передавать это в разговоре живым изложением. Это был человек больших личных достоинств, открытого характера и железной решимости. Его отъезд был для меня большой утратой. Мне приходилось действовать почти в одиночестве, и его моральное мужество было мне большой поддержкой.

Лавернь тоже волей-неволей был вынужден принять политику Нуланса. Даже Ромэй, который как солдат предпочитал действие бездействию, дошел до того, что интервенция без согласия большевиков казалась ему лучше, чем невмешательство. В то время положение было таково, что президент Вильсон все еще был против интервенции без согласия большевиков. Французы орудовали вовсю для поддержки антибольшевистских сил. Британское Министерство иностранных дел — я умышленно пишу иностранных дел, потому что британское военное министерство проводило совершенно другую политику, — настойчиво понуждало нас добиваться от большевиков немедленного согласия на союзническую военную помощь. Можно полагать — хотя такие условия и не были никогда точно сформулированы, — они были готовы взамен этого согласия гарантировать большевикам полное невмешательство в русские внутренние дела.

В этой мрачной пустоте неожиданно сверкнул луч надежды. Троцкий стал гораздо более сговорчивым. Немцы на юге вели себя очень агрессивно, на что он реагировал со всей обычной воинственной манерой. Он шел на мировую относительно Мурманска и наших складов в Архангельске. Он даже выразил желание, чтобы английская морская миссия приняла участие в реорганизации русского флота и чтобы руководство русским железнодорожным транспортом было поручено англичанам. Я телеграфировал эти новости в Лондон, но в течение нескольких дней не получал ответа. Меня это не удивляло, телеграф плохо работал, опаздывания и даже пропажи телеграмм были нередки. Наконец однажды вечером я получил телеграмму, длинную, как донесение. Я просидел за полночь, расшифровывая ее. Она была от мистера Бальфура⁵. В дальнейшем я узнал, что он лично составлял почти все телеграммы, которые я получал в России. У меня

⁵ Артур Джеймс Бальфур (1848—1930) — премьер-министр Великобритании в 1902-1905 гг. В 1916-1919 гг. министр иностранных дел.

не осталось копии этой телеграммы. Я не могу вспомнить всех подробностей, но ее начало и конец врезались в мою память. Она начиналась так.

«У дипломатов есть три обязанности: первая состоит в том, чтобы сделаться *persona grata* для правительства страны, в которой он аккредитован. В этом вы весьма преуспели. Вторая заключается в том, чтобы излагать своему правительству политику правительства страны, в которой он аккредитован. В этом вы тоже преуспели. Третья состоит в том, чтобы излагать правительству той страны, где вы аккредитованы, политику своего собственного правительства. В этом, как мне кажется, вы недостаточно преуспели». Затем следовал список британских жалоб на большевиков. Вслед за этим списком тон неожиданно менялся. «В то время, когда я это писал пришла ваша телеграмма, где вы сообщаете мне о запросе Троцкого относительно британских морских и технических экспертов. Это хорошие новости. Если вы можете, постарайтесь убедить Троцкого сопротивляться немецкому внедрению, — и вы обретете благодарность вашей родины и всего человечества».

Эта телеграмма, хотя и подавала новые надежды была не совсем ласкова. По общему признанию, я недостаточно успешно излагал политику правительства Его Величества большевикам. Но в течение трех месяцев Лондон не давал мне никаких указаний относительно своей политики. В своем ответе я сослался на мою предыдущую телеграмму и покорнейше просил дать мне более точный ответ. Ответа не последовало. Морскую миссию не прислали. Англичанина для руководства русским железнодорожным транспортом не назначили. Но генерал Пуль и штаб офицеров были посланы в Архангельск и Мурманск.

Май был возбужденный и лихорадочный. Он начался внушительным парадом Красной армии на Красной площади. Троцкий принимал парад в присутствии иностранных дипломатических представителей. Мирбах из автомобиля наблюдал эту картину. Вначале он высокомерно улыбнулся. Затем он стал серьезным. Он был представителем старого германского империализма. В этих плохо одетых, неорганизованных людях, которые маршировали мимо него, была несомненная живая сила. На меня это произвело сильное впечатление.

Буржуазия, однако, не способна была оценить эти симптомы. Она была всецело под впечатлением слуха о необыкновенном чуде, случившемся в этот день. На Никольской большевики задрапировали икону красной материей. Едва это было сделано, материя была чудесным образом сброшена.

Шестого мая американский посол приехал на несколько дней в Москву. У меня было с ним несколько интервью, и он мне понравился. Это был приветливый старый джентльмен, который был падок на лесть и мог проглотить ее в любом количестве. Его знания за пределами банка и покера были весьма ограничены. У него была дорожная плевательница — странное сооружение с педалью, с которой он никогда не расставался. Когда он хотел придать особую выразительность своим словам — банг — нажим педали, и затем следовал исключительной ловкости плевков. Во время его пребывания в Москве с ним произошел случай, который не уступает рассказу, приписываемому Дюма, о любовниках, обменивающихся клятвой под развесистой клюквой.

Однажды днем Норман Армор, действительный секретарь американского посольства, вошел в комнату посла.

Господин начальник, — сказал он, — не хотите ли вы пойти в оперу сегодня вечером?

Нет, — последовал ответ, — я думаю сыграть в покер.

Я вам советую пойти, г-н начальник, сказал Армор. Жаль пропустить такую вещь. Сегодня «Евгений Онегин».

— Какой Евгений? — спросил посол.

— О, но вы, конечно, слышали, — сказал Армор, — Пушкин и Чайковский?

Педаль плевательницы выразительно хлопнула.

— О! — воскликнул посол. — Сегодня поет Пушкин!

Седьмого мая я пережил большую неприятность. В шесть часов вечера Карахан позвонил мне с просьбой прийти к нему. Он рассказал мне необыкновенную историю. Днем неизвестный британский офицер явился к кремлевским воротам и заявил, что он хочет видеть Ленина. Когда его спросили о его полномочиях, он заявил, что он послан Ллойд

Джорджем со специальным поручением узнать из первоисточника о целях и стремлениях большевиков. Британское правительство было не удовлетворено донесениями, которые посылал я. На него была возложена обязанность исправить дефекты. Ленина он не увидел, но у него было интервью с Бонч-Бруевичем, русским, из хорошей фамилии, ближайшим другом большевистского вождя. Карахан желал узнать, не был ли этот человек самозванцем. Имя этого офицера, он сказал, было Рейли. Я был поставлен в тупик и, не допуская мысли что этот человек мог быть действительно уполномоченным, чуть не выпалил, что это какой-нибудь переодетый русский или просто сумасшедший. Горький опыт приучил меня, однако, ко всяким сюрпризам, и, не обнаруживая перед Караханом своего замешательства я сказал ему, что наведу справки и сообщу ему результат. В тот же вечер я послал за Бойсом, начальником контрразведки, и рассказал ему эту историю. Он сообщил мне что это был новый агент, только что приехавший из Англии. Я пришел в страшное негодование, и на следующий день офицер пришел ко мне для объяснений. Он поклялся мне что все, что рассказал Карахан, была ложь. Однако он подтвердил, что он был в Кремле и видел Бонч-Бруевича. Отчаянная смелость этого человека поразила меня. Я инстинктивно чувствовал, что Карахан в данном случае сказал правду. Теперь на мне лежала неприятная и даже рискованная обязанность спасти британского агента, который, если я отрекись от него, может скомпрометировать меня, и за чью безопасность, хотя бы ни в коей мере не был мне подчинен, я чувствовал себя до некоторой степени ответственным.

Хотя он был много старше меня, я отчитал его со строгостью школьного учителя и пригрозил отправить в Англию. Он принял мой выговор покорно, но спокойно, и так остроумно оправдывался, что в конце концов рассмешил меня. Мне удалось уладить дело с Караханом, не вызвав в нем чрезмерных подозрений.

Человек, который так драматически ворвался в мою жизнь, был Сидней Рейли, таинственный агент британской контрразведки, известный теперь свету как искуснейший британский шпион. Мой опыт в войне и в русской революции привел меня к очень невысокому мнению о работе разведки. Несомненно, она имеет свои выгоды и свои функции, но в политической работе она не сильна. Покупка информации поощряет к фабрикациям сведения. Но даже сфабрикованные сведения менее опасны, чем честные донесения

людей, которые, как бы они ни были смелы и талантливы в качестве лингвистов, часто неспособны составить правильное политическое суждение. Тем не менее методы Сиднея Рейли были высокой марки, что вызывало мое восхищение. Вам еще придется услышать о нем в моей повести.

Приблизительно в это же время был таинственный визит ко мне некоего высокого гладко выбритого русского.

— Роман Романович, — обратился он ко мне.

Я смотрел на него с недоумением. Насколько я помнил, я никогда не видал его раньше.

— Вы не узнаете меня? — сказал он.

— Признаться, нет, — отвечал я.

Он прикрыл подбородок и рот рукой. Это был Фабрикантов, эсер и близкий друг Керенского. Когда я видел его в последний раз, он носил бороду. Он был в ужасном затруднении. Керенский был в Москве и желал выехать из России. Единственный возможный для него путь был через Мурманск или Архангельск. Фабрикантов уже был у Вардропа, британского генерального консула, с целью получить необходимую визу. Вардроп отказался сделать это без предварительного донесения в Лондон. Ответа пришлось бы ждать несколько дней. Сейчас представлялся удобный случай переправить Керенского с отрядом сербских солдат, возвращавшихся на родину через Мурманск. Каждая минута его пребывания в Москве подвергала его опасности быть выданным большевикам. Если англичане откажутся дать ему визу, они могут оказаться ответственными за его смерть. Что мог я предложить по этому поводу?

Я стал быстро соображать. Я не решался позвонить по телефону Вардропу из боязни, что наш разговор может быть перехвачен. Если он не считал себя полномочным дать визу без запроса в Лондон, вряд ли он переменит свое мнение. У меня не было времени пойти к нему. Я не мог также отпустить Фабрикантова в отчаянии и подвергать его опасности предложением зайти еще раз. У меня не было полномочий давать визы. Я был отверженцем, измаэлитом, которого британское правительство признавало или не признавало по собственному усмотрению. У меня не было уверенности, что моя виза будет принята британскими властями в Мурманске. Однако мы жили в странные

времена, и я готов был пойти на многое, чтобы не подвергать опасности жизнь несчастного Керенского.

Итак, я взял сербский паспорт, которым заручился Керенский, поставил визу и приложил к моей подписи штампованную печать, которая должна была сойти за нашу официальную печать. В тот же вечер Керенский, переодетый сербским солдатом, отправился в Мурманск. Только через три дня, когда можно было быть уверенным в его безопасности, я телеграфировал в Лондон и моем поступке и руководивших мною мотивах. Я боялся, что у большевиков был ключ к нашему шифру.

Мои подозрения на этот счет не были лишены некоторых оснований. Карахан сам признавался мне, что большевики делали всяческие попытки раздобыть немецкий шифр. Они инсценировали нападение на немецкого курьера. Карахан даже предлагал мне снабдить меня копиями немецких телеграмм, если у нас найдутся эксперты кодисты, чтобы расшифровать их. Я подозреваю, что своей популярностью у большевиков я обязан тому факту, что из моих телеграмм им было известно, что я противник всякой формы интервенции без большевистского согласия.

Между 15 и 23 мая Кроми дважды приезжал из Петербурга посоветоваться со мной. Он опасался за Черноморский флот, который, ввиду немецкого наступления вдоль Черноморского побережья, подвергался серьезной опасности захвата. Мы вместе отправились к Троцкому. За время пребывания Кроми у меня было несколько интервью с наркомом по военным делам, и, хотя у него были теперь всякие подозрения относительно союзников, он успокоил нас насчет флота и отнесся дружески. После нескольких дней переговоров он сообщил мне, что отдал приказ об уничтожении Черноморского флота. Несколько позже он действительно был взорван. Это было мое последнее интервью с Троцким. С тех пор двери его для меня были закрыты.

Следующий день (24 мая) был день рождения молодого Темплина, которому исполнился 21 год, и мы устроили для него обед в «Стрельне», загородном ресторане, в котором выступала Мария Николаевна со своим хором цыган. Не знаю, каким образом это место избежало бдительности большевиков, но мы повеселились там вдоволь.

Мы были в несколько приподнятом настроении. Все инстинктивно чувствовали, что нашему пребыванию в России наступает конец, и эта маленькая оргия так, мне кажется, следует назвать всякий ужин с цыганами — была для нас приятным развлечением после тяжелого напряжения предшествующих недель. Мы выпили бесчисленное количество «чарочек», в то время как Мария Николаевна пела для нас так, как она, может быть, никогда до сих пор не пела.

Она тоже знала, что дни ее царствования сочтены. Одну за другой она исполняла наши любимые старые песни: «Две гитары», «Эх, раз», «На последнюю пятерку», «Черные очи».

По обычаю чисто русскому.
По обычаю по-московскому,
Жить не можем мы без шампанского
И без пения, без цыганского.

Щемящие звуки гитар, глубокие низкие ноты чудесного голоса Марии Николаевны, теплая тишина летней ночи, благоуханье лип. Как часто это встает передо мной как всякое неповторимое переживание.

Помню одну песню, которую я никогда не слышал ни от кого, кроме Марии Николаевны. В те дни она отвечала смятению моих собственных чувств, и в эту ночь я просил Марию Николаевну повторить ее еще и еще, пока она наконец не расхохоталась и расцеловала меня в обе щеки. Она называлась «Забывать не могу» и начиналась так:

Все говорят, что я ветрена бываю,
Все говорят, что я многих люблю,
Ах, почему же я всех забываю,
Тебя одного я забыть не могу.

По-английски это звучит идиотски, но в исполнении Марии Николаевны это рыдающая песня, полная тоски и желанья.

Мы кутили до поздней ночи. Хикс, Темплин, Гарстин, Лингнер и Гилл один за другим уходили в сад освежиться, пока я наконец не остался один. Вернувшись, они застали меня все еще сидящим за столом. Я сидел, вытянувшись в струнку, очень серьезный и встретил их вздохом:

— Роман Романович почти пьян, — это была почти правда.

Их приход вывел меня из оцепенения. Я пришел в себя и, когда начало светать, отправил их домой, а сам поехал с Мурой на Воробьевы горы встречать восход солнца над Кремлем.

Оно вошло зловещим огненным шаром, как бы предвещающая гибель. Этот день не принес ничего доброго.

На следующий день я получил извещение из Петербурга, что генерал Пуль сегодня вечером должен прибыть в Архангельск. Полковник Торнхилл, бывший младший военный атташе, уже приехал в Мурманск и только что был в Петербурге. Хотя я ничего не знал об этих событиях из Лондона - Министерство иностранных Дел все еще понуждало меня: 1) добиваться согласия большевиков на военную союзническую поддержку и 2) содействовать отправке чешской армии из России - было ясно, что интервенты делали успехи.

Я получил новое доказательство их деятельности вечером, когда генерал Лавернь пришел на наше очередное совещание. Он передал мне предложение выехать в Вологду для свидания с союзными послами. Мистер Френсис и господин Нуланс выражали желание попробовать согласовать наши точки зрения и найти общую формулу.

По своему положению вряд ли я мог отказываться, но я принял это с неохотой. Мой визит в Вологду имел решающее влияние на мою карьеру. Но, хотя для меня ясно теперь, что было бы лучше тогда остаться в Москве, это путешествие в дикую глушь было для меня ценным опытом.

Вологда была сонным провинциальным городом, где церквей было не меньше, чем жителей. В качестве связующего звена с Москвой Вологда была не полезнее, чем Северный полюс. В качестве убежища для союзных представителей ее единственным преимуществом было то, что она была недалеко от Москвы.

После своего приезда я отправился к господину Нулансу, который принял меня весьма дружески. После недолгой предварительной беседы я отправился обедать с американским послом, у которого было прекрасное помещение в здании бывшего клуба. За все время моего пребывания там я пользовался его гостеприимством. Серьезные дела были отложены до следующего дня.

Вечер, который я провел с американцами, был для меня не менее приятен, чем поучителен. Мистер Френсис был радушный хозяин. В его доме я встретился с японским уполномоченным (*charge d'affaire*), с бразильским посланником и с серьезным и все еще не пришедшим в себя Тореттой. Мы сидели до поздней ночи, но о России речи почти не

было. От Френсиса я узнал, что президент Вильсон был ярый противник японской интервенции. По мимо этого, у Френсиса, казалось, не было никакой определенной точки зрения относительно России. У него было полное отсутствие знания русских политических дел. Единственная короткая заметка, носящая политический характер, в моем дневнике в этот вечер следующая: «Старик Френсис не отличает левого социал-революционера от картошки». Следует отдать ему справедливость, он не обнаруживал никаких претензий на понимание положения. Он был прост и отважен, как дитя. Ему никогда не приходило в голову, что он сам подвергается личной опасности.

За обедом он задал мне несколько вопросов относительно жизни в Москве. Я отвечал ему с похвальной краткостью, и все остальное время обеда прошло в болтовне бразильского посланника. Этот господин был отрадой Вологды. Я надеюсь, что он еще жив и все еще служит своей родине. Он свел искусство дипломатии к простой формуле: «Не делайте ничего — и повышения и награды обеспечены». Он старался жить согласно этой формуле. Днем он спал, а ночью играл в карты. Когда американский посол упрекал его в безделье, он поднимал страшный шум, доказывая, что его телеграфный счет больше американского. В этом он был прав. Правда, с февраля 1917 года он послал только одну телеграмму своему правительству. Но стоила она свыше тысячи фунтов. Он перевел и передал целиком по телеграфу в Рио всю первую речь Керенского о революции.

После предъявления доказательств он начинал оправдывать свою философию. Когда он поступил на службу молодым атташе, был полон усердия. Он был назначен в Лондон вторым секретарем, трудился над докладом по вопросу о торговле бразильским кофе с Англией, заручился разными рекомендациями. В награду он был понижен в чине и переведен на Балканы. В дальнейшем, когда его перевели в Берлин, он возобновил свое рвение и представил своему правительству прекрасный доклад по вопросу о техническом образовании в Германии. Его опять понизили. Тогда он поумнел. Усердие, по-видимому, совсем неуместно в дипломатии, и он решил ничего не делать в будущем, чтобы не напоминать правительству о своем существовании. С тех пор его дипломатическая карьера представляет собой триумфальное шествие, и повышения следуют с точностью часового механизма. Его рецепт не столь абсурден, как это

может показаться непросвещенному человеку. Он пригодился не одному британскому дипломату.

Как только обед кончился, Френсис стал проявлять признаки беспокойства, как ребенок, которому не терпится вернуться к своим игрушкам. Его коньком были карты, и, не теряя времени, все уселись за карточную игру. Но в покере старый джентльмен не был ребенком. Игра затянулась до глубокой ночи, и, как это обычно бывало у меня, когда я играл с американцами, я много проиграл.

На следующий день я завтракал с французским послом. В господине Нулансе не было ничего ребяческого. Если он и играл в покер — он играл без карт. Политика — и политика с узкой логической точки зрения француза — была его единственная игра.

Генерал Лавернь дал ему копию выработанного нами начерно доклада о военных нуждах настоящего положения. Доклад был основан на предположении, что большевики дадут свое согласие на нашу интервенцию. Мы начали обсуждать доклад. Г-н Нуланс расточал льстивые комплименты. Он был согласен с докладом. Он хотел внести только одну поправку. Если большевики не дадут своего согласия, мы должны вмешаться без оного. Он выдвинул массу аргументов в пользу этой новой формулировки. Он ссылался на критическое положение на западном фронте. Он цитировал телеграммы французского генерального штаба. Исход войны решается на западном фронте.

И французский генеральный штаб настаивал на необходимости некоторой диверсии в России, чтобы помешать немцам перебросить новые отряды с восточного фронта. Было весьма существенно, чтобы представители разных союзных держав в России образовали единый фронт. Разногласия в союзной политике были главной помехой в достижении победного конца. Он готов пойти на любые уступки, чтобы прийти к единству. Он готов принять нашу формулировку. Он надеется, я соглашусь с его поправкой. Я посмотрел на Лаверня. Я знал, что он уже сдался. Ромэй не приехал в Вологду, но он также испытывал давление со стороны итальянского генерального штаба. Он, как солдат, не мог идти против своего генерального штаба. Я был один. Робинс уехал. Садуль, французский Робинс, был отстранен. Господин Нуланс лишил его права телеграфировать непосредственно Альберу Тома. Я лихорадочно пытался взвесить свое собственное положение. Может быть, мне еще посчастливится как-нибудь повлиять на Троцкого.

Может быть, господин Нуланс был умнее, чем я думал. Я попал в тупик. Если я откажусь, господин Нуланс пойдет дальше со своей политикой. Он увлечет за собой итальянцев, японцев и даже Френсиса. Если я соглашусь — я по крайней мере не приму клейма отступника, идущего наперекор единодушному мнению всех представителей союзных держав. Я капитулировал.

Под ярким солнцем мы отправились на конференцию послов. Френсис был председателем, но Нуланс фактически вел совещание. Он, в сущности, был единственным среди дипломатических представителей, который не колебался. Он был одного мнения с нами относительно численности войск, необходимых для успешной интервенции. Даже относительно чешской армии, которая в то время, как змея, протянулась от Волги до Сибири, он был удивительно сговорчив.

Мы обсуждали этот вопрос со всех сторон и пришли к заключению, что чехи должны быть эвакуированы как можно скорей. После конференции я простился с господином Нулансом. Он был сплошная любезность. Когда спустя сутки я приехал в Москву, Хикс встретил меня сообщением, что в Сибири между большевиками и чехами произошло серьезное столкновение. Как это столкновение возникло, для меня до сих пор неясно. Согласно донесению французских офицеров, которые сопровождали чехов, большевики, уступая требованиям немцев, пытались разоружить чехов. Чехи оказали сопротивление и затем уже продолжали свой путь с оружием в руках. Большевики утверждали, что по наущению французов чехи сделали ничем не обоснованную атаку на местные большевистские власти и забрали власть в свои руки. С чьей стороны исходила провокация, по всей вероятности, останется спорным на вечные времена. Как бы то ни было, результат этого события совершенно ясен.

Первый камень в сооружении интервентов был заложен. Москву я нашел на осадном положении.

Чешский дипломатический корпус был арестован. Арестовано и посажено в тюрьмы множество контрреволюционеров. Газеты были запрещены. Я получил спешное поручение от Чичерина использовать мое влияние для мирного разрешения чешского инцидента. Была так же телеграмма от Кроми с просьбой немедленно выехать в Петербург

для свидания с одним из офицеров генерала Пуля, который должен был приехать туда на следующий день.

Я провел следующий день в интервью с Чичериным и Караханом. За неимением подробностей происшествия в Сибири мы не могли прийти к чему-нибудь определенному по поводу чешского инцидента. Было совершенно ясно, что большевики стараются уладить этот вопрос мирным путем, но, так как я еще не успел инструкций из Лондона, я мог только обещать сделать все, что в моих силах.

Одно было для меня несомненно после этого интервью: подозрения большевиков возникли со всей силой. Они были, как я всегда и думал, точно осведомлены о деятельности французов. Они знали, что генерал Пуль прибыл в Северную Россию. У них уже было подозрение, что чехи были авангардом антибольшевистской интервенции. Я мог им дать только один ответ: предложение британского правительства военной помощи против Германии еще в силе. Чичерин горько рассмеялся.

«Союзники были заодно с контрреволюционерами. У большевиков не было выбора. Они будут сопротивляться интервенции союзников, интервенции против желания России, так же, как они стали бы сопротивляться против немецкой интервенции».

В тот же вечер, решив, что я могу улучшить время, я выехал в Петербург. Там я нашел Кроми и МакГрэса, английского офицера, который выехал с генералом Пулем. МакГрэнс меня в одном смысле успокоил. Несколько недель тому назад Троцкий в минуту депрессии высказал предположение, что я был только орудием британского правительства, которое пользовалось мной для того, чтобы я успокаивал большевиков в то время, как оно подготавливало антибольшевистское нападение. Я тогда пришел в страшное негодование. Теперь я был сбит с толку. МакГрэнс меня несколько утешил. По его словам, интервенционистский план не очень продвигался, и у Англии, в сущности, не было политики относительно России. Пока Пуль не представит донесения правительству, никакого решения принято не будет.

В этом заявлении МакГрэса можно было найти некоторое утешение, хотя бы и отрицательного свойства, но он же меня расстроил. Пуль был сторонником интервенции. Торнхилл, который был в Мурманске, ярый сторонник интервенции. Линдли, который был нашим уполномоченным *charge d'affaires*, когда я прибыл в Петербург, теперь должен был приехать снова. Это могло означать только одно. Лондон

не доверял мне. Я вернулся в Москву в состоянии полной подавленности к которой еще примешивалось чувство унижения от того что весь Петербург знал о приезде Линдли, тогда как меня мое правительство не позаботилось поставить об этом в известность.

По приезде в Москву я нашел инструкции из Лондона касающиеся чешского события, и в тот же день вместе со своими французскими и итальянскими коллегами я отправился в Комиссариат иностранных дел.

Прием был холодно-формальный. В кабинете Чичерина, длинном и голом, не было никакой обстановки, за исключением стола посередине. Мы сидели на простых деревянных стульях против него и Карахана. Один за другим мы прочли наши протесты. Мой был самый резкий. Я сказал обоим комиссарам, что в течение не скольких месяцев я прилагал все усилия, чтобы привести их к соглашению с Антантой, но они всегда держались со мной неопределенно и уклончиво. Теперь, после того как они обещали свободный выход чехам, защищавшим в свое время славянские интересы и направлявшимся во Францию, чтобы продолжать сражаться против врага, который был также врагом большевиков, они уступили угрозам немцев и с оружием напали на тех, кто всегда оставался их друзьями. Мне было поручено моим правительством заявить, что всякая попытка разоружить чехов и всякое столкновение с ними будет рассматриваться, как акт, инспирированный Германией и враждебный союзникам.

Большевики выслушали наши протесты молча. Они были преувеличенно вежливы. Несмотря на то что у них был повод, они не сделали никаких попыток возражения. Чичерин, более чем когда-либо похожий на мокрую крысу, смотрел на нас грустными глазами. Карахан казался совершенно сбитым с толку. Наступило тяжелое молчание. Нервы у всех были несколько натянуты, и больше всех у меня, так как совесть моя была не совсем чиста. Затем Чичерин кашлянул.

«Господа, — сказал он, — я принял к сведению все сказанное вами».

Мы неловко пожали друг другу руки и один за другим вышли из комнаты.

Наш протест произвел глубокое впечатление, несколько месяцев спустя, когда я был в тюрьме, Карахан говорил мне, что его и Чичерина удивила запальчивость моих выражений. С этого дня они начали

подозревать меня. Их подозрения были обоснованы. Прежде чем я осознал это, я связал себя с движением, которое, какова бы ни была его первоначальная цель, было направлено не против Германии, а против фактического правительства России.

Я должен объяснить мотивы, которые вовлекли меня в такое противоречивое положение. Четыре с половиной месяца я был против японской интервенции и вообще всякой интервенции, не получившей санкции большевиков. Я плохо верил в силу русских антибольшевистских войск и совсем не верил в возможность восстановления восточного фронта против Германии. Кроме того, я был в тесном контакте с Чехословацким советом. Чешская армия, восстание которой вызвало кризис, состояла из военнопленных. Они были славяне, только формально австрийские подданные, и в начале войны тысячами переходили на сторону русских. Они не любили царского режима, который отказывался признать их как самостоятельную национальность. Они были демократы по инстинкту, сочувствовали русским либералам и социалистам-революционерам. Они не могли дружно работать с царскими офицерами, составлявшими основные кадры в армиях антибольшевистских генералов.

Почему я стал приверженцем политики, которая обещала очень мало успеха и навлекла на меня обвинения в непоследовательности? Несмотря на мое желание строго придерживаться правды, — ответить нелегко. Счастливые последователи традиции, которые с колыбели становятся сторонниками существующего строя и решают каждую политическую задачу при помощи простой формулы: «Эти люди — друзья, а те — враги», они мне чужды. Так смотреть на дело я не мог. Меня вернули в Россию для того, чтобы я осведомлял британское правительство о действительном положении дел. Эту задачу я старался выполнить по мере сил. Особенной симпатии к большевикам я не чувствовал, и постоянные обвинения в большевизме не могли увеличить настойчивости, с которой я выдерживал объективное и беспристрастное отношение к политической ситуации. В то же время я не мог не чувствовать инстинктивно, что за мирной программой большевизма и его экономической программой скрывается идеалистическое обоснование, которое ставит его гораздо выше обычного определения: «Движение черни под руководством германских агентов». В течение месяцев я жил бок о бок с людьми, которые работали 18 часов в сутки и в которых жил дух

самопожертвования и аскетизма, вдохновлявший пуритан и ранних иезуитов. Если считать, что быть современником движения, которое имеет большее историческое значение, чем Французская революция, значило быть сторонником большевизма то я имел право им называться. Из телеграмм моей жены — позже они подтвердились из других источников — я знал, что мои взгляды неприемлемы для английского правительства. Мне следовало подать в отставку и вернуться на родину. В настоящее время я пользовался бы репутацией пророка, который с замечательной точностью предсказал все фазы русской революции.

Я этого не сделал. Я мог бы сказать, что прежде всего у меня был долг по отношению к родине, что, когда моя родина повела иную политику, я не имел права противиться ей, что уходить в отставку в разгар войны было бы равносильно дезертирству. Я не ссылаюсь на эти оправдания. У меня были другие мотивы. Тремя месяцами позже, когда я был в тюрьме, Карл Радек в письме Артуру Рэнсому описывал меня как карьериста, который, увидев, что его тактика не имеет никаких шансов быть принятой, лихорадочно мечется, стараясь вновь завоевать милость своих хозяев. Это также несправедливое обвинение, хотя оно и ближе к истине. Два мотива определяли мое поведение. В глубине души, хотя тогда я не спрашивал себя об этом, мне не хотелось уезжать из России из-за Муры. Другой мотив, более сильный — и это я вполне признавал — заключался в том, что у меня не хватало духу уйти в отставку и занять позицию, которая навлекла бы на меня ненависть большинства моих соотечественников.

Был и еще один мотив, более достойный. В моей самонадеянности я воображал, что если союзники решатся на вооруженную интервенцию в России, то мое знание русской конъюнктуры пригодится и поможет им избежать главных ловушек. Я знал большевиков ближе, чем всякий другой англичанин в то время. Я был в курсе событий в России с января месяца. Кучка военных экспертов, которые извне вопили об интервенции и считали большевиков неорганизованной толпой, которую можно смести зарядом картечи, не имели этих знания в силу своего территориального положения. Перейдя на сторону интервенции, я сделал все что мог, чтобы обеспечить ей хоть какие-нибудь шансы на успех. До самого конца я был противником теории, что «лояльные» русские способны свергнуть большевиков даже при поддержке деньгами и вооружением союзников и под руководством

союзных офицеров. До конца я настаивал на необходимости иметь большие союзные силы, без чего весь план должен был провалиться. Я даже выработал специальную формулу: поддержка которую мы получим от лояльных русских, должна быть прямо пропорциональна количеству наших войск. Однако перемена фронта дискредитировала вала меня в глазах других. Интервенты смотрели на меня, как на упрямого осла, который в конце концов пришел к их образу мыслей. Я был препятствием которое удалось устранить. Теперь со мной можно было не считаться. Большевики разделяли мнение Радека на мой счет. Я сел между двумя стульями и до сих пор страдаю от этого. Для большевиков я — воплощение контрреволюции. Для интервентов я все еще сторонник большевизма, который разрушил их планы.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Интервенция началась только четвертого августа. Два месяца, с июня до августа, были подготовительными, в течение которых наше положение постепенно ухудшалось. И в результате усилившейся опасности, которая теперь угрожала большевикам, они укрепили свою дисциплину.

Десятого июня в Москву приехал «Бенджи» Брюс. Он приехал за своей невестой, очаровательной Карсавиной, привез мне много писем и первые новости из Англии. Там было письмо от Джорджа Клерка, в то время заведующего военным департаментом Министерства иностранных дел. Письмо было очень любезное. Действительно, только он и полковник Киш, в то время работавший в военном министерстве, сочувствовали мне и допускали, что моя оценка политической ситуации не была слишком ошибочной. Брюс, однако, не оставил меня в заблуждении относительно моей непопулярности в Англии за время моего так называемого большевизма. Он сообщил мне, что в марте меня чуть было не отозвали. Он пробыл

в Москве только 12 часов, но, вопреки новостям, которые он мне привез, его визит был словно струя свежего ветра в пустыне. В течение пяти месяцев я был взволнован его отчетом о положении в Англии на западном фронте. Ему и Карсавиной пришлось пережить кошмарные приключения по дороге в Мурманск. Пришлось ехать без разрешения большевиков. Помочь им было уже не в моей власти.

Июнь был невеселый месяц. Может быть, потому, что совесть моя была нечиста, я жил в атмосфере подозрений. Троцкий больше не желал иметь дела с нами, и, хотя я почти ежедневно виделся с Чичериным, Караханом и Радеком, наши разговоры ни к каким реальным результатам не вели. С изменением политической позиции большевиков изменилось и наше материальное положение. Нам было все труднее и труднее получать свежее мясо и овощи. Без консервов, которыми нас снабжала миссия американского Красного Креста, нам пришлось бы плохо.

Через Хикса я усилил свою связь с антибольшевистскими силами. Насколько нам было известно, они были представлены в Москве организацией, которая называлась «Центром» и разделялась на два крыла — правое и левое и Союзом возрождения России, основанным Савинковым. Между этими двумя организациями шли постоянные препирательства. Центр находился в тесном контакте с белой армией на юге. К Савинкову белые генералы относились подозрительно. Как раз в то время я получил письмо от генерала Алексева, в котором он заявлял, что скорей будет работать с Лениным и Троцким, чем с Савинковым или Керенским. Обе организации были согласны только по одному пункту: они нуждались в помощи союзников и в их деньгах. Я видел двух вождей, а именно: Петра Струве, блестящего интеллигента, который одно время был социалистом и помог Ленину составить первый коммунистический манифест, и Михаила Федорова, бывшего товарища министра. Оба пользовались прекрасной репутацией. Оба были преданы союзникам. Однако я был очень осторожен в разговоре с ними. Насколько мне было известно, британское правительство еще не решилось на интервенцию. Пока это решение мне не было сообщено, я не поддерживал белых ни деньгами, ни обещаниями. Этим мое отношение отличалось от отношения французов, которые как мне было известно от них самих, давали деньги Савинкову,

обещания они тоже не скупились. Белых уверяли, что военная поддержка союзников выразится в определенных силах. Обычно называли следующую цифру: две дивизии союзников для Архангельска и несколько японских дивизий для Сибири. Поощренные этими обещаниями антибольшевистские силы усилили свою работу. 21 июня Володарский, комиссар по делам печати в Петербурге был убит при возвращении с митинга на Обуховском заводе. Большевики

не замедлили с ответом. В своей речи к Петроградскому совету Урицкий, глава местной ЧК, энергично нападал на Англию и обвинял англичан в организации убийства. На следующий день Щастный, главнокомандующий Балтийским флотом, был приговорен к смерти и расстрелян. На суде Троцкий произнес весьма энергичную речь. Начинался террор.

Я поехал к Чичерину протестовать против обвинений Урицкого. Он отделался от меня полуизвинениями. «Очень жаль, но чего же мы хотим, если мы постоянно нарушаем нейтралитет России. Россия хочет только одного, чтобы ее оставили в покое пожинать плоды дорого купленного мира. Он смеялся над Троцким, который постоянно хочет с кем-нибудь воевать и теперь требует сильных мер против союзников».

— Удивительно, — сказал Чичерин, — до чего Троцкий носитя с мыслью о войне.

В марте Ленину пришлось пустить в ход свое влияние, чтобы Троцкий не объявил войны Германии. Теперь хладнокровие Ленина удерживает Троцкого от объявления войны союзникам.

Хотя интервенция задерживалась, наше пребывание в Москве, казалось, подходило к концу. Всем нам не везло. Денис Гарстин уже уехал. Он получил приказ присоединиться к генералу Пулю в Архангельске. Ему тоже пришлось уехать тайком, так как достать для него пропуск было трудно. Он уехал огорченный. Ему хотелось до конца оставаться с нами. Бедняга! Он был одной из первых жертв интервенции. Однако мы были не лишены оптимизма. Мы верили, что союзники высадятся соединенными силами и большевики не смогут оказать им серьезного сопротивления. Даже Рэнсом, который был против интервенции без согласия большевиков, сказал нам, что «все кончено», и начал готовиться к отъезду. Прежде чем нам позволили уехать, на нашу долю пришлось вдоволь сильных впечатлений.

Одним из замечательных событий этого времени было убийство графа Мирбаха, германского посла. Сопровождаемое внутренним восстанием против правительства, оно было самым замечательным политическим убийством нашего времени. Так как мне поневоле пришлось быть очевидцем покушения на государственный переворот, я дам подробный отчет об этом событии.

Для того чтобы понять ситуацию, читатель должен вспомнить, что после большевистской революции в ноябре 1917 года крайнее крыло партии социалистов революционеров присоединилось к большевикам и работало вместе с ними при образовании нового правительства. Они получили несколько постов в разных комиссариатах, удержали свои места в советах и были сильно представлены во ВЦИКе, который между съездами Советов является верховным законодательным и исполнительным органом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. В первые восемь месяцев своего существования советское правительство являлось коалицией. Левые социалисты революционеры, как партия, придерживались тех же крайних мнений, что и большевики в своей ненависти к капитализму и империализму. Поэтому они так же энергично, как и большевики, разоблачали союзников. Во внутренней политике, хотя они расходились с большевиками по аграрному вопросу, эсеры поддерживали советский строй и помогали большевикам вести гражданскую войну. Два члена партии, полковник Муравьев, бывший жандармский офицер, и поручик Саблин, сын владельца театра Корша в Москве, очень успешно занимали военные командные посты в новом правительстве в первое время советского строя.

В противоположность большевикам левые социалисты революционеры не были готовы идти до конца в желании мира. Они были против Брест-Литовского мира и не приняли его, хотя удержали своих представителей в правительстве. Они лишили своей поддержки Украину, оккупированную немцами. Немцы повернули дело круто: они водворили подставное реакционное русское правительство и вернули землю русским помещикам. Для левых социалистов революционеров такое положение было неприемлемо, и с самого заключения мира они повели ожесточенную партизанскую войну против русских помещиков и германских оккупационных войск. С обеих сторон эта война в миниатюре велась с ужасающей жестокостью. Доведенные почти до отчаяния страданиями своих соотечественников на Украине, левые социалисты революционеры протестовали против рабской зависимости большевиков от немцев и называли большевистских комиссаров лакеями Мирбаха. Даже официальной прессе почти каждый день приходилось констатировать нарушения Брестского договора немцами; много места уделялось едким комментариям на

угодливый тон кротких протестов Чичерина и едва ли вежливые ответы германского посла.

Реальное разногласие между двумя партиями русского правительства заключалось в том, что левые социалисты революционеры видели в Германии главную угрозу революции. Большевики, или, скорее, Ленин, так как он один разбирался в этой путанице, решили не делать ничего, что могло бы повредить их непрочному миру. Они теперь боялись скорее интервенции союзников, чем дальнейшего наступления немцев. В сущности, обе партии были и против немцев и против Антанты. Ситуация, однако, не была лишена комизма. Разоблачая деятельность левых социалистов революционеров на Украине, большевики секретно снабжали их средствами для ведения партизанской войны с немцами.

Была и еще причина, разделявшая обе партии. Среди крестьян левых социалистов революционеров поддержки вали главным образом кулаки. Частью для того, чтобы укрепить свое положение в стране, а частью для того, чтобы получить больше хлеба, большевики организовали комитеты бедноты из крестьян-бедняков, которых подстрекали нападать на богатых кулаков и захватывать их хлеб.

Эти разногласия, очевидно, должны были привести к кризису. Левые социалисты революционеры начали тайно готовить фантастические планы свержения большевистского правительства и возобновления войны с Германией. К четвертому июля, дню открытия V Всероссийского съезда, политическая ситуация была такова, что взрыв был неизбежен.

К этому съезду левые социалисты революционеры специально готовились. Несмотря на то что выборы бы ли подтасованы большевиками, им удалось провести около трети из восьмисот присутствовавших делегатов, и в первый раз с ноября 1917 года большевики встретили в своем тщательно ограждаемом парламенте официальную оппозицию.

Съезд заседал в московском Большом театре. В партере, где прежде сидели балетоманы и увешанные драгоценностями представительницы денежной буржуазии теперь разместились делегаты: направо, против сцены большевистское большинство, состоящее из солдат, одетых в защитную форму; налево — оппозиция

левых социалистов революционеров — по их мускулистым рукам и блузам было видно их деревенское происхождение.

На сцене, где Шаляпин впервые обессмертил роль Бориса, сидят члены ЦИКа — пестрое сборище интеллигентов — около полутора сотен, среди которых преобладают евреи.

За длинным столом поперек авансцены сидит президиум, в центре которого председатель — **Свердлов. Он еврей, настолько смуглый, что в нем можно подозревать присутствие негритянской крови.** Благодаря черной бороде и горящим черным глазам он похож на современное воплощение испанского инквизитора. Налево от него Афанасьев, секретарь ЦИКа, незначительный молодой еврей с нервно дергающимся глазом, и Нахамкес, редактор «Известий», более знакомый публике под псевдонимом Стеклова.

За этим же столом сидит Зиновьев, председатель Лен совета. Чисто выбритый, с огромным лбом, он производит впечатление умного человека, соответственно своей репутации направо от Свердлова сидят вожди левых социал-революционеров: Камков, Карелин, оба молодые евреи, чисто выбритые и хорошо одетые, по-видимому принадлежащие к интеллигенции, Черепанов, и с краю Мария Спиридонова, тридцатидвухлетний вождь партии. Очень просто одетая, с темными волосами, гладко зачесанными назад, и в пенсне, которым она беспрестанно играет, она похожа на учительницу Ольгу из чеховских «Трех сестер». В 1906 году, еще девочкой, она прославилась убийством Луженовского, тамбовского вице-губернатора. Она была выбрана партией для выполнения этого террористического акта; в середине зимы 1906 года она дождалась Луженовского на станционной платформе в Борисоглебске и выстрелила в него из револьвера, когда он выходил из вагона. Выстрелы попали в цель, но попытка покончить с собой не удалась. Она была уведена с платформы и позже изнасилована казаками. Ее приговорили к смертной казни, но, сжалившись над ее возрастом, царь заменил смертную казнь пожизненной каторгой. По серьезному, почти фанатическому выражению глаз видно, что страдания отразились на ее рассудке. Она, скорее, истерична, чем деятельна, но ее очевидная популярность среди последователей показывает, что ее все еще считают одной из трогательных фигур революции.

За столом президиума тесными рядами разместились остальные члены ЦИКа. Здесь находятся настоящие большевистские вожди и главные комиссары. Они присутствуют в полном составе от Троцкого до Крыленко хмурого, дергающегося общественного обвинителя. Нет только Дзержинского и Петерса. Этим мрачным вершителям большевистского правосудия некогда бывать на съездах. Ленин тоже опаздывает, по обыкновению. Он проскользнет позже, тихо, незаметно, но как раз вовремя.

Кругом, в ложах и ярусах сидят друзья и сторонники делегатов. Вход только по билетам, и каждый вход, каждый коридор охраняется отрядами латышских солдат, вооруженных до зубов винтовками, револьверами и ручными гранатами.

В большой царской ложе — представители официальной печати. Я занимаю место в большой ложе партера, направо от сцены, вместе с Лавернем, Ромэем и другими членами союзнических миссий. Как раз над нами сидят представители германского, турецкого и болгарского посольств. К счастью, мы сидим не друг против друга, а то это испортило бы нам зрелище.

С самого начала атмосфера заряжена электричеством. Первый день съезда посвящен речам делегатов меньшинства. Говорят только о политике партии. Левые социал-революционеры обличают три великих преступления — Брест-Литовский мир, комитеты бедноты и смертную казнь. Они подкрепляют свои обличения мирного договора рассказами о немецких зверствах на Украине. Большевики защищаются. Настоящее сражение открывается на второй день, когда с обеих сторон выдвигается тяжелая артиллерия. Бой открывает Свердлов, который мудро предупреждает атаку левых социалистов революционеров. Он допускает ужасы немецкой оккупации и доказывает, что Россия слишком слаба, чтобы вести войну. Меньше успеха имеет его защита комитетов бедноты. Он ядовито отмечает отношение левых социалистов революционеров к смертной казни: «Левые социалисты революционеры, — говорит он, — возражали против смертного приговора над адмиралом Щастным. В то же время они работают с большевиками в чрезвычайных комиссиях. Один из членов их партии — зампред московской ЧК, который привел в исполнение много смертных приговоров без суда. Следует ли это понимать так, что левые социалисты революционеры против смертной

казни по суду и за нее, когда нет суда». Он садится под аплодисменты и смех со стороны большевиков.

Затем встает Спиридонова, и с первых ее слов становится понятно, что это не обычный съезд и что с этого дня пути большевиков и левых социалистов революционеров расходятся. Она, очевидно, нервничает. Она говорит монотонно, но постепенно речь ее приобретает истерическую страстность, которая производит впечатление. Она нападает на комитеты бедноты. С гордостью упоминает она о том, что вся ее жизнь была посвящена борьбе за благо крестьян. Отбивая такт своей речи движениями правой руки, она ожесточенно нападает на Ленина: «Я обвиняю вас, — говорит она, обращаясь к Ленину, — в том, что вы изменили крестьянам, использовали их в собственных целях и не служили их интересам». Она обращается к своим сторонникам и кричит: «По философии Ленина вы только навоз, только удобрение». Затем, впадая в истерику, она обращается к большевикам: «Другие наши разногласия только временные, но по крестьянскому вопросу мы готовы дать сражение. Когда крестьян, крестьян большевиков, крестьян левых социалистов революционеров и беспартийных крестьян — всех одинаково уничтожают, гнетут и давят, — в моих руках вы найдете тот же револьвер, ту же бомбу, с которыми я когда-то защищала...» Конец фразы тонет в бурных аплодисментах. Большевистский делегат из партера бросает оратору непечатное оскорбление. Поднимается сущий ад. Крестьяне поднимаются с мест и кулаками грозят большевикам. Троцкий проталкивается вперед и пытается говорить. Крики заглушают его голос, и лицо его бледнеет от бессильной ярости. Напрасно Свердлов звонит в колокольчик и грозит очистить театр. По всей вероятности, ему придется привести свою угрозу в исполнение. Тогда Ленин медленно выходит на авансцену. По дороге он хлопает Свердлова по плечу и говорит, чтобы он убрал колокольчик. Держась за отвороты пиджака, он оглядывает залу, улыбаясь, совершенно спокойный. Его встречают насмешками и мяуканьем. Он добродушно смеется. Тогда он поднимает руку и шум затихает. Холодно и логично он отвечает на критику левых социал-революционеров. Он указывает с мягким сарказмом на непоследовательную и часто двусмысленную позицию. Его замечания вызывают новую бурю. Свердлов снова волнуется и хватается за колокольчик. Снова Ленин поднимает руку. Его самоуверенность почти раздражает. Тогда, слегка наклоняясь вперед, этим подчеркивая свои

слова и очень мало жестикулируя, он продолжает так же спокойно, как если бы возвращался к воскресной школе. На упреки в раболепстве перед немцами он отвечает, что левые социалисты революционеры, желая возобновить войну, проводят политику империалистов союзников. Холодно и совершенно спокойно он защищает Брестский договор. Указывает на его унижительность, но подчеркивает жестокий закон необходимости. Он даже преувеличивает трудности текущего момента, поощряет смелость тех, кто борется за социализм, советует вооружиться терпением и обещает награду за это терпение в блестящей картине будущего, когда утомление войной неизбежно породит революцию во всех странах. Постепенно самая личность этого человека и подавляющее превосходство его диалектики завоевывают аудиторию, которая слушает, как очарованная, и в конце речи раздражается вспышкой оваций, в которых, несмотря на то что многим из левых социалистов революционеров известно о приготовлениях к завтрашнему дню, участвуют не одни большевики. Однако левые социалисты революционеры недолго находятся под впечатлением этой речи. За Лениным следует Камков, блестящий оратор, который доходит до ярости. Он произносит боевую речь, и я удивляюсь его безрассудству. Он не щадит никого. Заключительная часть его речи великолепна по своему драматизму. Он поворачивается к ложе, в которой сидят немцы: «Диктатура пролетариата превратилась в диктатуру Мирбаха. Вопреки всем нашим предостережениям, политика Ленина остается все той же, и мы из независимой державы стали лакеями германских империалистов, которые имеют наглость показываться даже в этом театре».

В один момент левые социалисты революционеры поднимаются с мест, крича и грозя кулаками немецкой ложе. Театр потрясает рев: «Долой Мирбаха! Долой немецких мясников! Долой брестскую петлю!». Свердлов торопливо звонит в колокольчик, объявляет заседание закрытым, и лихорадочно возбужденные делегаты выходят из залы.

Один инцидент навел меня на размышление. Во время речи Камкова один офицер из французской контрразведки яростно аплодировал. Его отношение типично для многих из моих коллег союзников. Они не могли понять, что как для большевиков, так и для левых социалистов революционеров иностранная интервенция, германская или союзническая, была интервенцией контрреволюционной. Когда

состоялась наша интервенция, она не получила поддержки от левых социалистов революционеров. Прениям, которые закончились так драматически вечером пятого июля, не суждено было возобновиться на следующий день, в субботу шестого июля. Съезд собрался снова, но большевистские вожди отсутствовали. Вчерашняя революция на сцене была перенесена на улицы и на баррикады.

Я вошел в Большой театр в четыре часа. День был душный, и в театре было жарко, как в бане. Партер был полон делегатами, но на сцене оставалось много пустых мест. Не было ни Троцкого, ни Радека. К пяти часам исчезла большая часть большевиков — членов ЦИКа. Ложа, отведенная представителям центральных держав, пустовала. Было, однако, много левых социалистов революционеров, в том числе Спиридонова. Она выглядела спокойной. Ее поведение ничем не выдавало того, что партия социалистов революционеров уже решила начать войну. Однако случилось именно это, хотя прошло несколько времени, прежде чем мы осознали правду. В шесть часов в нашу ложу вошел Сидней Рейли и сообщил, что театр окружен войсками и все выходы охраняются. У него было самое смутное представление о совершающихся событиях. Какие-то беспорядки. Он знал, однако, что на улицах идут бои. Наши опасения еще усилились, когда в коридоре над нами раздался взрыв.

Неосторожный часовой уронил ручную гранату. Боясь, что большевики будут обыскивать их перед тем, как выпустить из театра, Рейли и французский агент начали рыться в карманах, ища компрометирующие документы. Некоторые из них они разорвали в клочки и засунули под обивку дивана. Другие, без сомнения, более опасные, проглотили. Положение было слишком напряженное, чтобы мы могли оценить его комическую сторону, и, решив, что в данном случае бездействие является лучшей политикой, уселись дожидаться развязки, на сколько могли, терпеливо.

Наконец в семь часов нас освободил Радек, который рассказал нам, в чем дело. Левые социалисты революционеры убили Мирбаха, надеясь этим спровоцировать Германию к войне. Во главе с Саблиным и Александровичем, зампредом ЧК, они намеревались арестовать большевистских вождей во время съезда в Большом театре. Вместо этого они сами попались в западню, расставленную противниками.

Историю переворота можно рассказать в нескольких словах. В субботу в два часа сорок пять минут к германскому посольству в Денежном переулке подъехал автомобиль с двумя седоками. Посольство охранялось отрядом большевистских войск. Лицам, приехавшим в автомобиле, доступ не представил никаких затруднений, так как у них были специальные пропуска, подписанные Александровичем в качестве зампреда ЧК. Некий Блюмкин, который в течение нескольких месяцев жил рядом со мной в комнате гостиницы, был главным действующим лицом в последующей трагедии. Как работник ЧК, он был немедленно принят Ризлером, советником германского посольства.

Он сообщил Ризлеру, что должен видеть Мирбаха лично. ЧК раскрыла покушение союзников на жизнь германского посла. Ввиду полномочий Блюмкина и важности его сообщения, доктор Ризлер сам повел его к графу Мирбаху. Когда граф спросил его, каким образом должно было совершиться убийство, Блюмкин, вынув револьвер из кармана, ответил: «Вот так» — и разрядил револьвер в несчастного посла. Затем, выскочив из от крытого окна, он бросил за собой ручную гранату, чтобы быть уверенным в исходе покушения, и скрылся. Тем временем левые социалисты революционеры собирали в Покровских казармах войска, которые им удалось перетянуть на свою сторону. Сюда входило 2000 солдат, подкупленных Поповым, агентом ЧК; восставшие солдаты из других полков и несколько сотен матросов Черноморского флота. В течение часа они достигли некоторого Успеха. Они арестовали Дзержинского, захватили телеграф. Дальше, однако, у них не хватило инициативы, и разослав по всей стране телеграммы, извещавшие об успехе переворота, они ничего не предпринимали. К вечеру эсеры сделали нерешительную попытку подойти к Большому театру, но, увидев, что он уже окружен сильным отрядом большевистских войск, они отступили на свои позиции. Их военные действия были так незначительны, что большинство московского населения не знало до следующего дня о готовившемся перевороте.

Между тем Троцкий не терял времени. Он вызвал из под Москвы два латышских полка. Он стянул в одно место броневики. Через несколько часов войскам левых социалистов революционеров пришлось сложить оружие, ввиду подавляющих сил противника. Некоторые из вождей скрылись. Александрович был захвачен на Курском вокзале и немедленно расстрелян. Делегаты социалистов революционеров в

Большом театре были арестованы, не оказав сопротивления. Революция, задуманная в театре, там же и закончилась.

Эта опера-буфф левых социалистов революционеров только укрепила большевиков и усилила партию мира. Отклики на события в глубине страны были незначительные. Через несколько дней Муравьев, главнокомандующий большевистских сил на Волге, попытался двинуть свои войска к Москве. К этому времени неудача переворота в Москве была уже известна, и его арестовали собственные солдаты. Он трагически покончил с жизнью, застрелившись в присутствии Симбирского совета. Спиридонова и Черепанов сидели под арестом в Кремле, где позже мне пришлось быть их товарищем по несчастью. Убийца Блюмкин скрылся. Большинство рядовых членов партии социалистов революционеров, чтобы спастись от репрессий, отступились от своих вождей, осудили их действия и снова были приняты в большевистский загон. Это несчастное дело, которое должно было послужить предметным уроком союзникам как наглядное доказательство того, что Россия готова на все, чтобы избежать войны с немцами или союзниками, отразилось на нашем положении и положении немцев. Германское правительство было вне себя, но не объявило войны большевикам, так как было уверено, что интервенция союзников неизбежна. Оно требовало разрешения выслать батальон немецких солдат для охраны посольства в Москве, но, когда большевики отказали в этом, оно ограничилось дипломатическим протестом. Англичане реагировали еще более комично. Через два дня после убийства Мирбаха у меня был Радек и сообщил, что большевистское правительство желает предоставить в мое распоряжение личную охрану. При этом он ухмылялся. Он знал, что я на это отвечу. Я ответил ему шуткой, и мы оба засмеялись – едва ли не в последний раз.

Наше положение было действительно не из приятных. Во время съезда Линдли приехал в Вологду и прислал мне первую тревожную телеграмму. Однако она не давала мне никаких указаний на тактику или на дату нашей интервенции. Попытка контрреволюции была уже близка. Савинков, подстрекаемый заверениями французов в помощи союзников захватил Ярославль, а Ярославль находился между Москвой и Архангельском - единственным открытым для нас портом. Между прочим, Троцкий в своей автобиографии обвиняет меня в том, что я раздувал и финансировал ярославское дело. Это совершенно

неверно. Я никогда не оказывал Савинкову финансовой помощи. Еще менее я поощрял его действия. Троцкий издал приказ, чтобы всем французским и британским офицерам не выдавали паспортов ввиду их контрреволюционной деятельности. Хотя теоретически этот приказ ко мне не относился, я знал, что на практике разницы не будет. Кроме того, телеграфное сообщение с Англией задерживалось, и я не был уверен, что нас не лишат совсем этого способа связи.

Вечером 17 июля я получил от Карахана официальное сообщение — об убийстве царя и его семьи в Екатеринбурге. Я думаю, что я был первым лицом, передавшим эту новость внешнему миру. Единственные данные из первых рук, которые я могу сообщить об этом преступлении, касаются официального положения большевистского правительства. Мое личное впечатление таково, что, встревоженный приближением чешских войск, которые переменили фронт и состояли в открытой войне с большевиками, местный совет самовольно расправился и только впоследствии получил одобрение центрального правительства. Конечно, не могло быть и речи о непризнании или неодобрении. В своих передовицах большевистская печать делала что могла в оправдание убийства и поносила царя, как тирана и палача. Газеты объявили, что немедленно начнут опубликовывать его дневники. Позже было напечатано несколько отрывков. Они обнаружили только то, что император был преданный муж и любящий отец. Когда увидели, что эти выдержки вызывали только симпатию к царю, их перестали печатать. Правда, Карахан заявлял, что он шокирован, и приводил смягчающие обстоятельства. Он выдвигал теорию, что угроза союзнической интервенции была непосредственной причиной смерти императора. Я должен сознаться, что население Москвы приняло эту новость с поразительным равнодушием. Апатия ко всему, кроме собственной участи, была полная, но она показательна для исключительного времени, в которое мы живем. В то время как эта трагедия происходила в Екатеринбурге, в Вологде разыгрывалась драма, богатая комическими положениями. Большевики послали Радека в этот союзнический рай для того, чтобы он в последний раз попытался убедить союзнических послов приехать в Москву. Может быть, ими руководило подлинное желание прийти к мирному соглашению. Более вероятно, что, сознавая неизбежность интервенции, они желали удержать послов в Москве в качестве заложников. Для этого щекотливого дела они выбрали

большевицкого гоблина, и если его постигла неудача, то его чувство юмора было удовлетворено. Он являлся к послам с револьвером. Он убеждал, льстил и даже угрожал. Он интервьюировал их всех вместе и каждого в отдельности, но послы не сдавались. Вечером он отправился на телеграф и по прямому проводу сообщил Чичерину о неудаче своей миссии.

Его радостная прогулка в Аркадию имела комическое продолжение. Я получил от одного из наших секретных агентов слово в слово отчет о разговоре Радека с Чичериным по прямому проводу. Документ был настолько достоверен, что американский генеральный консул в Москве послал его перевод своему посланнику. Не читая, Френсис положил его в карман и взял с собой на ежедневную конференцию послов. «Джентльмены, — сказал он, — я получил интересный документ из Москвы. Это отчет Радека о его переговорах с нами. Сейчас я вам его прочту». Мямля, он начал: «Посланник Френсис накрахмаленное чучело». Это было верно, но звучало из уст самого посла немного странно. Последовали дальнейшие остроты, достигшие высшей точки в заключительной фразе. «Линдли, единственный человек, у кого есть хоть капля смысла. Он на практике признает поведение Нуланса совершенно ребячьим». Сэр Френсис Линдли выдержал много трудных положений, не падая духом с полным хладнокровием, однако я сомневаюсь, чтобы он когда-либо чувствовал себя более неловко чем в эту минуту.

Перед финальной трагедией произошла еще одна комедия. 22 июля официальная английская экономическая миссия, состоявшая из сэра Вильяма Кларка, в настоящее время уполномоченного в Канаде, м-ра Лесли Уркварта, м-ра Армстида и м-ра Петерса из дипломатического торгового отдела, прибыла в Москву. Они приехали для переговоров о возможности торговых сношения с большевиками. Их приезд потряс меня. Насколько я знал (твердой уверенности у меня не было), наша интервенция была делом нескольких дней. Чешская армия продвигалась на Запад. Она взяла Симбирск и осаждала Казань. Чехи были наши союзники. Поскольку мы их поддерживали, мы поддерживали борьбу против большевиков. Савинков захватил Ярославль, Савинков финансировался французами. Более того, в эту самую минуту британские войска были на пути в Архангельск. А здесь, в Москве, британская экономическая миссия предлагает мир и торговый договор большевикам. Было ли когда-либо столь

двусмысленное положение? Мог ли я изумляться, когда позднее большевики обвиняли меня в макиавеллиевом коварстве и дополняли обвинение в преступлениях документальными ссылками на вероломство Альбиона. Увы! Ни обмана, ни предательства не было. Это был только пример того, как один департамент Уайтхолла не знает, что делает другой. Я отвез сэра Вильяма Кларка к Чичерину и Бронскому — комиссару торговли. Не могу сказать, чтобы я рад был свиданию с ними. Не много смог я узнать и от английских посетителей. Сэр Вильям Кларк ничего не знал о планах союзников, касающихся России. Уркварт, имевший паи в горной промышленности в Сибири, был убежденным интервентом. Я был доволен, когда через два дня после бесплодных разговоров они уехали в С.-Петербург. Если бы они остались еще на сутки, они могли бы задержаться до бесконечности. На следующий день пришло сенсационное известие, что союзные посольства оставили Вологду и бежали в Архангельск. Хотя они выпустили бесполезное заявление, что их отъезд нельзя рассматривать как разрыв сношений, большевики правильно учли его как прелюдию к интервенции. Их отъезд, предпринятый без единого слова предупреждения союзных миссий в Москве поставил меня в незавидное положение. Я ясно увидел, что роль заложников, первоначально предназначавшаяся послам, будет предоставлена нам. Вместе с моими французским, американским и итальянским коллегами я отправился к Чичерину, чтобы нащупать почву. Он был изысканно вежлив и очевидно старался не подать никакого повода для обвинения большевиков в разрыве сношений. Он просил нас остаться в Москве и заверил нас, что, что бы ни произошло, нам разрешат уехать, как только мы захотим. Мы дали уклончивый ответ. Мы все еще не имели официального указания от наших правительств. Мы допускали, что союзники решили высадить войска. Мы предполагали, что они высадятся в Архангельске, Мурманске и Владивостоке. Наверное, мы ничего не знали. Однако было ясно, что наше положение в Москве не прочно, и я вернулся к себе, чтобы начать приготовления к отъезду. Ближайшие дни относятся к самым печальным дням моего пребывания в России. Мура уехала из Москвы дней десять тому назад с целью навестить родных в Эстонии. Из-за борьбы на чешском и ярославском фронтах езда по железным дорогам строго контролировалась. Я не мог сноситься с ней. Могло случиться, что я вынужден буду уехать из России, не увидев ее больше. В течение четырех ночей я не спал. Часами я сидел в комнате, раскладывая

пасьянсы и мучая бедного Хикса идиотскими вопросами. Мы ничего не могли делать: самообладание меня покинуло, и я погрузился в мрачное уныние. 28 июля днем зазвонил телефон. Я схватил трубку. Говорила Мура. Она приехала в С.-Петербург после шестидневных ужасных приключений. Пешком перешла она через границу между Эстонией и Россией. Сегодня ночью выезжала в Москву.

Реакция была поразительна. Теперь все было нипочем. Если я опять увижу Муру, я знал, что смогу выдержать любой кризис, любую неприятность, все, что готовит мне будущее.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

События начали разворачиваться с невероятной быстротой. Через день после возвращения Муры в Киеве был убит генерал Эйхгорн, главнокомандующий немецкими войсками в России. Юноша, московский студент по фамилии Донской, член партии социалистов-революционеров, выполнил этот террористический акт. Он нанял извозчика и, проезжая мимо генерала, бросил в него бомбу, причинившую ему смерть. Я сидел с Чичеринскими Караханом, когда им сообщили об этом по телефону.

Они не скрывали своей радости, в особенности Чичерин; он обратился ко мне со следующими словами: «Видите, вот что происходит, когда иностранцы идут против воли народа». Их радость меня покорила. Мой рассудок говорил, что в глазах большевиков генерал был насильником, убийцу которого будут считать освободителем вроде того, как учили буржуазных детей преклоняться перед Брутом. В глазах большевиков немецкие и английские генералы принадлежали к одной категории, как только они вступали на русскую землю. Они были агентами контрреволюции и, следовательно, вне закона. Однако как союзники, так и немцы совершили ошибку, рассматривая Россию только в свете их личного конфликта. В немецком военном суде два дня спустя Донскому прежде всего были предложены следующие два вопроса: «Вы знаете Локкарта? Вы знаете главу английской миссии в Москве?».

Первого августа мы получили предписание оставить наше помещение. Оно было ликвидировано для Генерального совета русских профсоюзов. Большевики начали показывать зубы. Мы не заслуживали дальнейшего внимания. По счастью, мне удалось получить свою

старую квартиру в Хлебном переулке, в результате чего мы избежали весьма неприятного положения.

Четвертого августа Москва пришла в возбуждение: союзники высадились в Архангельске. В течение нескольких дней народ был во власти всевозможных слухов: союзники высадили значительные силы. Некоторые доводили их число до 100 000. Не менее двух дивизий. Японцы должны были двинуть семь дивизий из Сибири на по мощь чехам. Даже большевики потеряли голову и в отчаянии начали упаковывать свои архивы. В разгар кризиса я увиделся с Караханом. Он говорил о большевиках, что они уже погибли. Но они все же не сдадутся. Они уйдут в подполье и будут бороться до конца.

Было неопишное смятение. Через день после высадки десанта я отправился к Вардропу, нашему генеральному консулу, который обосновался с консульством во Дворце Юсупова около Красных Ворот. Во время нашего разговора генеральный консул был окружен вооруженным отрядом. Это были агенты ЧК. Они все запечатали и арестовали всех, находившихся в здании, за исключением меня и Хикса. Особый пропуск, который я получил от Троцкого, еще имел силу. Забавная подробность налета. Пока агенты ЧК допрашивали внизу чиновников консульства, наверху офицеры нашей контрразведки спешно жгли шифры и другие компрометирующие документы. Трубы извергали клубы дыма, которые проникали даже в нижние комнаты, но несмотря на это джентльмены из ЧК не увидели в этом ничего необычного. Как мы в этом убедились уже впоследствии, ЧК была страшным, но далеко не умным учреждением.

В одно и то же время налет был произведен и на французскую миссию и генеральное консульство. Хотя итальянцев и американцев не тронули, оскорбление нельзя было игнорировать (правда, в глазах большевиков наша высадка в Архангельске была также нарушением международного права), и на следующий день мы отправились к Чичерину вручить официальное извещение о разрыве сношений и просьбу выдать наши паспорта. Прямого отказа от Чичерина не последовало. Он казался подавленным событиями и повторил свою обычную просьбу повременить. Несчастный Чичерин был, конечно, серьезно встревожен. Утром к нему явился с подобным же визитом Гельферих, занявший после графа Мирбаха пост германского посла. Гельферих так же склонен был рассматривать интервенцию как

серьезную угрозу большевикам. Он не желал разделить участь графа Мирбаха или попасть в плен, когда войска союзников займут Москву. Вечером этого дня он выехал в Берлин, оставив всего несколько человек в Москве.

Покинутые сразу союзниками и немцами, большевики, казалось, попали в безвыходное положение. Чехи заняли Казань, и, хотя большевики отбили Ярославль у савинковцев, казалось, что они не способны оказать серьезное сопротивление крупным силам союзников, которые, как предполагали, наступают от Архангельска. В течение сорока восьми часов я тешил себя надеждой, что интервенция будет иметь блестящий успех. Для меня не ясно было, что мы сможем сделать, заняв Москву, я не верил, что буржуазное русское правительство сможет удержаться в Москве без нашей помощи. А еще меньше верил, что мы сможем убедить русских возобновить войну с Германией. В настоящих условиях интервенция неминуемо должна была принять скорее антибольшевистский, чем антигерманский характер. Поэтому было вероятно, что оккупация нами Москвы будет длиться до бесконечности. Но у меня не возникало сомнения, что с теми силами, которые, я полагал, находились в нашем распоряжении, мы сможем занять русскую столицу.

Разочарование не замедлило наступить. Десятого августа большевистские газеты вышли с сенсационными заголовками о большой морской победе русских над союзниками в Архангельске. Я принял это сообщение за шутку, или, в лучшем случае, за слабую попытку со стороны большевиков стимулировать мужество своих сторонников. Но днем, когда я увидел Карахана, меня охватили дурные предчувствия. Лицо его расцвело улыбкой. Подавленное настроение последних дней исчезло, и было очевидно, что он не притворялся. «Положение не опасно, — сказал он. — Союзники высадили всего несколько сот человек».

Я улыбнулся скептически. Позднее я узнал, что его заявление было правильно. Морская победа была мифом. Большевики потопили баржу союзников на Двине. Но сведения о силах союзников были буквально точны. Мы совершили невероятную глупость, высадив в Архангельске только 1200 человек.

Это была грубейшая ошибка, которую можно сравнить с наихудшими ошибками крымской кампании. При хаотическом состоянии России

было очевидно, что для того, чтобы интервенция была удачна, она должна хорошо начаться. Она началась так плохо, как только можно вообразить, и никакая личная храбрость уже не могла исправить первоначальную ошибку. По плану русские сторонники интервенции должны были вместе с чехами удерживать линию Волги, соединиться с союзниками на севере и генералами Алексеевым и Деникиным на юге. Последнему советовали продвигаться по направлению от Царицына к Самаре в надежде, что союзники смогут продвинуться, почти не встречая сопротивления, до Вологды и Вятки. Результатом слабости наших сил на севере явилась потеря линии Волги и временное крушение антибольшевистского движения в европейской России.

Скоро оправдались все мои худшие опасения. Благо даря отсутствию твердого руководства со стороны союзников различные контрреволюционные группы начали спорить и пререкаться между собой. Мои слова, что поддержка, которую мы получили от русских, будет прямо пропорциональна числу посланных нами войск, скоро оправдались. Широкие массы русских остались вполне равнодушными.

Последствия этой плохо обдуманной авантюры были губительны как для нашего престижа, так и для тех русских, которые нас поддерживали. Она возбудила неоправданные надежды. Она усилила гражданскую войну и послала на смерть тысячи русских. И косвенно она была ответственна за террор. Она дала дешевую победу большевикам, создала в них новую уверенность и спаяла их в мощную и безжалостную организацию. Интервенция вообще была ошибкой. Но предпринять интервенцию с неравными силами было примером беспочвенных полумер — в данных условиях это граничило с преступлением. Защитники этой политики утверждают, что она имела целью охранить Россию, чтобы она не попала в лапы Германии, и оттянуть германские войска с западного фронта. В июне 1918 года не было опасности занятия России немцами. Влияние интервенции на положение немцев на западном фронте было ничтожным. И, следовательно, каковы бы ни были намерения союзных правительств, поддерживавших интервенцию, русские видели в ней средство для низвержения большевизма. Она не удалась, и эта неудача поколебала наш престиж почти во всех классах русского населения. Оптимизм Карахана был для меня горьким разочарованием, но, раз интервенция

началась, я должен был сделать все от меня зависящее, чтобы помочь ей. В течение августа все мои усилия были сосредоточены: 1) на хлопотах о нашем отъезде и 2) на оказании финансовой помощи тем, кто нас поддерживал.

Что касается нашего отъезда, то дело стояло на мертвой точке. Чичерин занял позицию, типичную для большевистского дипломатического искусства. Конечно, мы можем получить паспорта. Мы можем уехать, как только пожелаем. Однако куда же мы намерены направиться. Германцы осуществляли контроль над Финляндией. В Константинополе были турки. Он не предполагал, что мы захотим проделать длинный путь к афганской или персидской границе. Однако только это, кажется, и было возможно. Я прервал все эти бесконечные разглагольствования. «А как насчет Архангельска?» — спросил я. Он, как бы извиняясь, а вместе с тем снимая с себя ответственность, сказал: «В Архангельске английские контрреволюционеры. Мы не можем отпустить вас туда» Казалось, все было потеряно. Было слишком ясно, что нас задержат в Москве как заложников. Оставалась еще одна надежда, финско-германское буржуазное правительство гарантирует нам безопасный путь через Финляндию. Мы вручили свою судьбу дипломатическим представителям нейтральных держав, которые тотчас же начали переговоры с финским и германским правительствами.

Я воспользовался этим временем для оказания финансовой помощи организациям, стоявшим за союзников; они сильно нуждались в деньгах. До сих пор эту помощь оказывали исключительно французы, и мой отказ от сотрудничества в этом деле вызывал неудовольствие политических представителей Алексева и Деникина. Теперь, когда у нас произошел открытый разрыв с большевиками, я внес свою долю. Хотя банки и были закрыты, а все операции с иностранной валютой незаконны, денег все же легко было достать. Много русских имели скрытые запасы денег в рублях. Они были очень довольны обменять их на письменные обязательства о выплате в Лондоне. Для избежания всяких подозрений мы собирали деньги через одну английскую фирму в Москве. Они имели сношения с русскими, назначали цену и выдавали обязательства. Для каждого обязательства мы давали английской фирме официальную гарантию, что оно будет полноценным в Лондоне. Деньги переправлялись в американское генеральное консульство и выдавались Хиксу, который передавал их уже по

назначению. Если не считать этих волнений, то дни проходили уныло. Никакой другой работы мы не могли вести. За исключением небольшого карманного кода на случай необходимых посланий, мы уничтожили все наши шифры и документы. Ежедневно все представители союзников собирались в американском генеральном консульстве, единственном безопасном убежище. **Как это ни странно, большевики не выказывали враждебности к американцам, несмотря на то что Соединенные Штаты присоединились к высадке в Архангельске.** О них не упоминали в официальных протестах против зверств французских и английских войск на севере России. В озлобленных статьях московской прессы, направленных против французов и англичан, о них также не говорили.

Мы составляли планы отъезда — переговоры с финским в германским правительствами двигались медленно, но не безрезультатно. Французы выплачивали бешеные деньги за поезд, который стоял под парами, так чтобы мы могли уехать, не теряя ни минуты. От англичан, живших в С.-Петербурге, мы были совершенно отрезаны. Через голландское посольство я послал Кроми записку с сообщением, что я ничем не могу ему помочь и что ему лучше всего хлопотать о своем отъезде вместе с другими английскими чиновниками. У меня было не сколько бесед с Рейли, который решил остаться в Москве после нашего отъезда. Положение было совершенно не обычно. Объявления войны не было, однако сражения шли по всему фронту от Двины до Кавказа. Мы не могли выехать из Москвы, однако свобода наших действий в городе была почти неограниченна. С другой стороны, мы очень мало знали, что творится на свете. Одно только было ясно: большевики не уступали. Против подавленного настроения мы боролись безуспешно. Французы обедали у нас, или мы у них и играли в бридж. Мы возобновили безуспешные сражения в покер с американцами. Следует отдать должное Пулю, американскому генеральному консулу, и Уордвеллю — главе американской миссии Красного Креста. Им не стоило бы большого труда выхлопотать себе разрешение на отъезд, но они твердо поддерживали нас до конца. Днем мы играли в футбол в английском генеральном консульстве. Здесь произошло историческое сражение между англичанами и французами, в котором принял участие даже генерал Лавернь, игравший в рубашке, бриджах и сапогах. Он совершал чудеса, голова его отливала серебром, освещенная августовским солнцем. Садуль,

французский социалистический депутат, впоследствии примкнувший к большевикам, был голкипером. Так как рефери не было, атаки были ужасны. У французов было несколько хороших хавбеков, а так как, кроме того, мы были в теннисной обуви, то было несколько несчастных случаев. Однако результат был такой же, как и при Ватерлоо, хотя на этот раз без помощи немцев. Одержав победу, мы вынесли генерала с поля битвы и выпили русское пиво за его здоровье. Это была последняя игра в футбол, в которой я участвовал.

Через несколько дней после этого международного состязания, а именно 15 августа, мне был нанесен визит, который повлек за собой международные осложнения более серьезного характера. Я сидел за завтраком у себя дома, когда раздался звонок и лакей доложил мне, что меня хотят видеть два латвийских джентльмена. Один невысокий юноша с бледным лицом, по имени Смидхен, другой, Берзин, высокий мужчина могучего сложения с резкими чертами лица и жестким стальным взглядом назвавший себя полковником. Он на самом деле командовал одним из латышских батальонов, которые образовали преторианскую гвардию советского правительства. Смидхен передал письмо от Кроми. Так как я всегда находился настороже, опасаясь провокации, я тщательно проверил письмо. Оно было, несомненно, от Кроми. Рука была его. В тексте была ссылка на мое письмо к нему, пересланное через шведского генерального консула Выражение, что он подготавливал свой отъезд из России и надеялся «хлопнуть дверью» прежде чем уедет, было типичным для этого храброго офицера. А кроме того, и правописание было, несомненно, его. Никто бы не мог это подделать, ведь подобно принцу Чарльзу Эдуарду, Фридриху Великому и м-ру Гарольду Никольсону, бедный Кроми не умел писать грамотно. Письмо заканчивалось рекомендацией Смидхена как человека, способного оказать нам некоторые услуги.

Я спросил их, чего они хотят. Говорил больше Берзин. Он объяснил, что, хотя латыши поддерживали большевистскую революцию, они не могут бесконечно сражаться за большевиков. Им хотелось бы вернуться к себе на родину. Пока Германия была могущественна, это было невозможно. С другой стороны, если союзники, что вполне возможно, выиграют войну, им, а не Германии, будет принадлежать последнее слово при решении дальнейшей судьбы Латвии. Поэтому они решили не ссориться с союзниками. Они не намереваются сражаться с войсками генерала Пуля в Архангельске. Если их пошлют на этот фронт,

они сдадутся в плен. Не могу ли я договориться с генералом Пулем, чтобы их не расстреляли союзные войска?

Предложение было заманчиво и правдоподобно, его следовало серьезно обсудить, но, прежде чем давать какое-либо обещание, я хотел посоветоваться со своими коллегами. Я сказал заговорщику, что, хотя и понимаю их нежелание сражаться против союзников, я не имею возможности им помочь. Я не имею никакой связи с генералом Пулем. Более того, я в любую минуту могу уехать из России. Самое лучшее для них послать своего представителя к генералу Пулю. В этом я мог им помочь. Я условился, что они зайдут ко мне на следующий день в это же время. Днем я всесторонне обсудил вопрос с генералом Лавернем и господином Гренаром, французским генеральным консулом, впоследствии посланником в Югославии. Мы решили, что, хотя мы должны быть очень осторожны из боязни скомпрометировать себя, весьма возможно, что латыши не хотят сражаться против союзников. Не будет особого вреда посоветовать им послать представителя к генералу Пулю. В этом мы им можем помочь, так как переговоры о нашем отъезде подходили к счастливому концу, мы передадим их Сиднею Рейли, который оставался здесь. Рейли будет наблюдать за ними и поддерживать в них нежелание воевать против наших войск. На следующий день я передал латышам бумагу, в которой было сказано: «Прошу пропустить через английские линии подателя сего, имеющего сообщить важные сведения генералу Пулю», — и познакомил их с Рейли.

Через два дня Рейли сообщил, что переговоры шли гладко и латыши не имели никакого намерения впутываться в неудачи большевиков. Он выдвинул предложение поднять после нашего отъезда контрреволюционное восстание в Москве с помощью латышей. Проект этот был категорически отвергнут генералом Лавернем, Гренаром и мною самим, и Рейли было дано особое предупреждение никоим образом не участвовать в столь опасном и сомнительном деле. После этого Рейли ушел в «подполье», то есть скрылся, и я уже не встречался с ним до его бегства в Англию.

Наше вынужденное безделье продолжалось еще две недели. Отъезд наш, так сообщили нам нейтральные дипломаты, был решен принципиально. Дата могла быть установлена в любую минуту. Мы упаковали наши пожитки, правильно рассудив, что нам надо ехать

налегке; с тяжелым сердцем я решился бросить свое имущество на квартире: коллекцию восточных книг, обстановку и свадебные подарки. Однажды поздним вечером мы поехали в Стрельну попрощаться с Марией Николаевной, царицей цыганок. Стрельна была закрыта, но мы нашли ее в соседней даче. Мария Николаевна пролила немало слез над нами, спела несколько любимых нами песен вполголоса, почти шепотом, и, расцеловав меня, умоляла нас остаться у нее. Она предчувствовала, что нас ждет несчастье. Она нас переоденет, спрячет, будет кормить и организует наше бегство на юг. Совет ее, хотя и разумный, не мог быть принят. Она вышла за калитку проводить нас, и мы распрощались под гигантскими елями Петровского парка, при свете луны, бросавшей фантастические тени вокруг. Мы трогательно прощались, бросая боязливые взгляды по сторонам. Мы больше никогда ее не видели. Я мельком услышал, что она умерла в нищете через несколько лет.

Несчастье, которое она предвидела, оказалось выстрелом из револьвера. В пятницу, 30 августа, Урицкий, глава петроградской ЧК, был убит русским юнкером по фамилии Каннегиссер. На следующий вечер социалистка революционерка, молодая еврейка Фанни Каплан, в упор два раза выстрелила в Ленина, выходявшего с завода Михельсона после митинга. Одна пуля прошла через легкое над сердцем, другая попала в шею около главной артерии. Лидер большевиков не был убит, но у него было мало шансов остаться в живых. Я узнал новости через полчаса после происшествия. Оно должно было повести к серьезным последствиям, и, предчувствуя ожидающую нас судьбу, мы засиделись с Хиксом довольно поздно, вполголоса обсуждая события и гадая, как они повлияют на наше незавидное положение.

Мы легли спать в час, и я крепко заснул, измученный всем напряжением последних месяцев. В половине четвертого меня разбудил грубый голос, приказывающий мне немедленно встать. Когда я открыл глаза, я увидел направленное на меня стальное дуло револьвера. В комнате было около десяти вооруженных людей. Я узнал одного из них, он был старшим. Это был Макаров, бывший комендант Смольного. Я осведомился, что значит это нарушение наших прав. «Никаких вопросов, — ответил он грубо. — Одевайтесь скорее. Вы сейчас отправитесь на Лубянку, 11.» (На Лубянке, 11 помещалась московская ЧК.) Такая же группа агентов ЧК явилась к

Хиксу, и, пока мы одевались, большинство налетчиков начали обыск квартиры в поисках компрометирующих документов. Как только мы были готовы, нас посадили в автомобиль, по сторонам сели конвоиры, и повезли в ЧК. Там нас поместили в маленькую квадратную комнату вся обстановка которой состояла из грубого стола и пары простых деревянных стульев.

После долгого ожидания меня повели по темному коридору. Двое вооруженных, сопровождавших меня остановились у двери и постучали. Раздался замогильный голос: «Войдите», и меня ввели в большую темную комнату, освещенную только лампой на письменном столе. За столом сидел человек, одетый в черные брюки и белую русскую рубашку, рядом с блокнотом лежал револьвер. Черные вьющиеся, длинные, как у поэта, волосы были зачесаны назад над высоким лбом. На левой руке были надеты большие часы. В тусклом свете его лицо выглядело более бледным, чем обычно. Губы его были плотно сжаты. Когда я вошел в комнату, он устремил на меня пристальный стальной взгляд. Вид его был мрачен и внушал опасения. Это был Петерс. Я не видел его с того дня, когда он сопровождал нас с Робинсоном при посещении оплота анархистов.

Можете идти, — обратился он к конвоирам, затем последовало долгое молчание. Наконец, он отвел глаза и открыл свой бювар.

Очень жаль, что вижу вас здесь, — произнес он. — Дело очень серьезно.

Он был щепетильно вежлив, но серьезен. Я попросил разъяснения, указывая, что я приехал в Москву по приглашению советского правительства и мне были обещаны дипломатические привилегии. Я заявил официальный протест против ареста и попросил разрешения поговорить с Чичериным. Он не обратил внимания на мой протест.

— Вы знаете эту женщину, Каплан?

Я не знал ее, но решил, что в данных условиях лучше будет не отвечать. Я повторил как можно спокойнее, что он не имеет права допрашивать меня.

— Где Рейли? — был следующий вопрос. Я не ответил по-прежнему.

Тогда он вынул бумагу из своего бювара. Это был пропуск к генералу Пулю, который я передал латышам.

— Это ваше письмо? — спросил он.

И еще раз я возразил с нарочитой вежливостью, что не буду отвечать на вопросы. Он не стал меня запугивать. Опять устремил на меня пристальный взгляд и сказал:

— Для вас будет лучше сказать правду.

Я ничего не ответил. Тогда он позвонил, и меня отвели обратно к Хиксу. Опять мы остались одни, мы почти не разговаривали и лишь перекидывались пустячными замечаниями. Было ясно, что наш разговор будет подслушан. У меня было очень смутное представление том, что случилось. Но было очевидно, что большевики пытались связать нас с покушением на Ленина. Этот маневр меня не смущал. Покушение на Ленина могло быть косвенным следствием интервенции союзников, но мы ничего не имели с ним общего. Меня больше беспокоило упоминание имени Рейли и мой пропуск к Пулю. Я догадывался, что это была какая-то ловушка и мои латышские посетители были провокаторами.

Пытаясь выяснить в уме всю ситуацию, я взялся за отвороты пальто и вдруг обнаружил в кармане записную книжку, в которой шифром был записан отчет об израсходованных мною суммах. Агенты ЧК перерыли мою квартиру, может быть, они еще обыскивали ее в ту минуту, но они не догадались обыскать наши костюмы, которые мы надели при аресте. Записи были понятны только мне самому. Но в них были цифры, и если бы они попали в руки большевиков, то они могли бы выдумать способ нас скомпрометировать. Они сказали бы, что цифры изображают передвижения большевистских отрядов или суммы, истраченные мною на организацию контрреволюции. Мысль о записной книжке мучила меня. Как мне от нее избавиться? Нас могут обыскать в любую минуту. Оставался только один способ решить дело. Я попросил разрешения у наших часовых пойти в уборную. Мне разрешили, но это было не так просто. Два часовых сопровождали меня до двери, и, когда я хотел ее закрыть, они сказали:

— Оставьте открытой, — и встали напротив меня.

Минута была трудная. Рискнуть или нет? По счастью, за меня решило дело антисанитарное состояние уборной. Не было бумаги. Стены были запачканы человеческими экскрементами. Как можно спокойнее я вынул записную книжку, вырвал преступные страницы и использовал

их. Я спустил воду. Водопровод работал, я был спасен. Я вернулся обратно к Хиксу и сел рядом. В шесть утра в комнату ввели женщину. Она была одета в черное платье. Черные волосы, неподвижно устремленные глаза, обведенные черными кругами. Бесцветное лицо с ярко выраженными еврейскими чертами было непривлекательно. Ей могло быть от 20 до 35 лет. Мы догадались, что это была Каплан. Несомненно, большевики надеялись, что она подаст нам какой-либо знак. Спокойствие ее было неестественно. Она подошла к окну и стала глядеть него, облокотись подбородком на руку. И так она оставалась без движения, не говоря ни слова, видимо, покорившись судьбе, пока за ней не пришли часовые и не увели ее. Ее расстреляли прежде, чем она узнала об успехе или неудаче своей попытки изменить ход истории.

В девять часов утра вошел сам Петерс и сообщил нам что мы можем отправиться домой. Мы были освобождены. Позднее мы узнали, что он сомневался, как ему поступить, и позвонил к Чичерину за указаниями. Чичерин протестовал против нашего ареста.

Было воскресное утро, шел дождь. Мы наняли старые дрожки и, усталые, подавленные, поехали домой. В квартире было все перевернуто вверх дном. Повар и двое слуг исчезли. От швейцара мы узнали, что Муру забрали в ЧК.

По дороге домой мы купили газету. В ней был ряд бюллетеней о здоровье Ленина. Он все еще был без сознания. Были также резкие статьи против буржуазии и против союзников. О нашем аресте не упоминалось, нас не пытались обвинить в убийстве Урицкого или покушении на Ленина.

Приняв ванну и побрившись, я направился в голландское посольство повидать Удендайка, голландского посла, который защищал наши интересы. Это был маленький человечек, прошедший большую часть своей жизни в Китае. Он был женат на англичанке и прекрасно говорил по-английски. Я нашел его чрезвычайно взволнованным. В С.-Петербурге произошла ужасная трагедия. В тот самый день, когда я был арестован, отряд агентов ЧК ворвался в наше посольство. Храбрец Кроми сопротивлялся налету, убил комиссара и был застрелен на верху лестницы. Все английские чиновники в С.-Петербурге были арестованы.

В угнетенном состоянии я отправился к Уорвелю. Я беспокоился о Муре и слугах и рассчитывал на его по мощь для их освобождения. Он обещал сделать все от него зависящее, и его спокойная уверенность восстановила мое самообладание. Он не мог видеть Чичерина, но ему был обещан прием на следующий день. Он также не знал какова подоплека этих арестов. Он предполагал, что в результате покушения на Ленина большевики потеряли голову. Он опасался, что угроза красного террора, которой были переполнены газеты, скоро будет исполнена.

Когда я возвращался домой, меня поразила пустота на улицах. Те, кто шел по делу, торопились и боязливо озирались. На перекрестках стояли небольшие отряды солдат. Снова господствовал страх. За сорок восемь часов вся атмосфера города изменилась. На следующий день не в состоянии дольше оставаться в неведении о судьбе Мury, я поехал в Комиссариат иностранных дел и попросил разрешения видеть Карахана. Меня сейчас же приняли. Не вдаваясь в политические рассуждения, я приступил прямо к делу. Как бы ни были недовольны мной большевики, было бесчеловечно мучить меня арестом Мury. Я обратился к его снисходительности и просил освободить ее. Он обещал сделать все, что он может. Это был день моего рождения — 31 год, — и я провел его один с Хиксом, приготовившим на ужин кофе черный хлеб и сардины.

Во вторник мы прочли полный рассказ о наших беззакониях в большевистской прессе, которая превзошла себя в фантастическом отчете о так называемом деле Локкарта. Мы обвинялись в заговоре на убийство Ленина и Троцкого, в организации военной диктатуры в Москве и желании обречь на голод население Москвы и Петербурга, взорвав все железнодорожные мосты. Весь заговор был раскрыт благодаря преданности латышского гарнизона, который союзники пытались подкупить щедрой раздачей денег. Вся история, которая читалась, как сказка, была окружена фантастическим описанием моего ареста. Заявляли, что я был захвачен на митинге заговорщиков. Я был взят в ЧК и тотчас по установлении личности освобожден. Столь же фантастически были описаны со бытия в С.-Петербурге. Убийство Кроми было изображено как акт самозащиты большевистских агентов, отвечавших на его выстрелы. Огромные заголовки изображали представителей союзников как «англо-французских бандитов», а в

комментирующих статьяx требовали применения террора и самых суровых мер против заговорщиков.

Вначале я склонен был рассматривать эти выпады как типичную для большевиков попытку: 1) оправдаться в убийстве Кроми, которое, я уверен, не было преднамеренным; 2) ободрить своих приверженцев и вселить ужас в сердце предполагаемых контрреволюционеров в самой Москве. Рейли, имя которого главным образом фигурировало в заговоре, исчез. Если он не вполне потерял голову, то весь рассказ был сплетением лжи.

Оказалось, что Пуль, американский генеральный консул, более серьезно отнесся к заговору. Он склонен был считать Рейли провокатором, инсценировавшим заговор для выгоды большевиков. В одном из рассказов о заговоре упоминалось о проекте не убивать Ленина и Троцкого а провести их по московским улицам в рубахах. Такое фантастическое предложение могло зародиться только в изобретательном воображении Рейли. Я засмеялся над опасениями Пуля. Позднее я ближе узнал Рейли, чем в то время, но мое мнение о его характере не изменилось. Ему было тогда сорок шесть лет. Это был еврей, я думаю, без капли британской крови. Родители его были родом из Одессы. Его настоящее имя Розенблюм. Фамилию Рейли он принял, взяв имя своего отчима, ирландца Каллахан. Как он сделался английским подданным, я не знаю до сих пор. До войны он провел большую часть жизни в С.-Петербурге, зарабатывая крупные суммы в качестве маклера по различным торговым делам. Это был человек с громадной энергией, очаровательный, имевший большой успех у женщин и весьма честолюбивый. Я был не очень большого мнения о его уме. Знания его охватывали большую область от политики до искусства, но были поверхностны. С другой стороны, мужество его и презрение к опасности были выше похвал. Капитан Хилл, его соучастник в опасном плане остаться в Москве после нашего отъезда, был человеком, лояльность которого была вне подозрений. Он был так же храбр и смел, как и Рейли. По-русски он говорил так же хорошо. Если была двойная игра со стороны Рейли, Хилл вряд ли смог бы ее не обнаружить. Как ни смехотворна была история о двойной игре Рейли, я узнал, что через Пуля она дошла даже до Лондона. Два месяца спустя я приехал в Англию и со всей убежденностью поручился за Рейли перед Министерством иностранных дел, когда этот удивительный человек,

будучи на волосок от смерти, наконец добрался до Бергена после целого ряда приключений.

Хотя я никогда не сомневался в верности Рейли союзникам, я никогда не был уверен, не уверен и сейчас, как далеко он зашел в своих переговорах с латышами. Это был человек наполеоновской складки. В жизни его героем был Наполеон, и одно время у него была одна из лучших в мире наполеоновских коллекций. Он видел себя брошенным в России, и перспектива свободы действия внушила ему наполеоновские замыслы. В последующих разговорах он всегда отрицал большую часть большевистских утверждений. По его теории Берзин и другие латыши, которых он знал, вначале искренно не хотели сражаться против союзников. Когда они поняли, что интервенция союзников не серьезна, они отшатнулись от него и выдали его, чтобы спасти свои шкуры. Как бы то ни было, так называемый союзнический заговор должен был иметь для нас серьезные последствия.

Любопытна дальнейшая карьера Рейли. По возвращении в Англию он поспешно договорился с м-ром Черчиллем и сторонниками послевоенной интервенции и уехал на юг России в качестве английского агента при армии Деникина. Когда эта авантюра окончилась крушением, Рейли объединился с Савинковым, осаждавшим в это время государственных деятелей Англии и Франции просьбами о поддержке так называемого «зеленого» движения. Рейли, расходовавший деньги с расточительностью, исчерпал на Савинкове свои финансовые ресурсы. Стесненный в средствах, он предпринял последнюю отчаянную попытку поправить свои дела и отправился в 1926 году в Россию с каким-то контрреволюционным планом, как говорят, организованным бывшими гвардейскими офицерами. Его дальнейшая судьба неизвестна с достоверностью. Большевики объявили, что он был застрелен при попытке перейти финляндскую границу. По имеющимся сведениям, он попал в большевистскую западню: его гвардейские офицеры, с которыми он познакомился за границей, были на самом деле агентами ЧК, он был отвезен на дачу около Москвы и там убит.

После этого длинного отступления, которое, насколько я знаю, содержит истинную правду о так называемом заговоре Локкарта, я должен вернуться к моему собственному положению в Москве. Сообщение о заговоре союзников появилось в русских газетах третьего

сентября. Несмотря на всю серьезность обвинений, я был оставлен на свободе на этот день. Позднее я узнал, что в официальных большевистских кругах было большое разногласие в мнениях относительно того, как со мной поступить. Было несколько комиссаров, которые не могли переварить целиком всю чекистскую историю. На следующий день я решил опять отправиться к Карахану и еще раз просить за Муру, которая все еще была в тюрьме. Он встретил меня дружелюбно. Я сказал ему что вся история в советской прессе была сплетением лжи и он добродушно засмеялся.

— Вы теперь знаете, — заметил он, — что мы терпим от ваших газет.

Однако он не особенно обнадеживал относительно Муры, и, решившись на отчаянное средство, я решил отправиться к самому Петерсу. Из русского Комиссариата иностранных дел я отправился на Лубянку и попросил разрешения его видеть. Просьба моя вызвала некоторое волнение и перешептывание между часовыми в прихожей. Добиться разрешения войти заняло у меня около получаса, а получить пропуск к Петерсу — еще дольше. Когда он меня принял, я сразу набросился на него с заявлениями насчет Муры. Я сказал ему, что заговор — это надувательство, и он сам это знает. Если даже во всем есть хоть крупица правды, то Мура ничего об этом не знала. Я просил немедленно ее освободить. Он терпеливо меня выслушал и обещал, что мое заявление о ее невиновности будет принято во внимание. Потом посмотрел мне прямо в лицо. «Вы избавили меня от хлопот, — сказал он. — Мои люди ищут вас в течение целого часа. У меня имеется приказ о вашем аресте. Ваши английские и французские товарищи все уже под замком». Последние слова были не вполне точны. Некоторые из них избежали заключения способом, который оказался единственным комическим эпизодом нашего позорного положения. Об этом я расскажу позднее. Что же касается меня, то на этот раз я уже по-настоящему попал в тюрьму.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Заключение мое длилось ровно месяц. Его можно разделить на два периода: первый продолжался несколько дней и был отмечен неудобствами и страхом; второй, длившийся двадцать четыре дня, можно назвать периодом сравнительного комфорта, сопровождаемого острым душевным напряжением.

На Лубянке, 11, в бывшем помещении Страхового общества, я сидел в комнате, которая была предназначена для регистрации и предварительного допроса второстепенных преступников. В ней было три окна, два из них выходили во внутренний двор. Обстановка состояла из стола, деревянных стульев, старого истрепанного дивана, на котором, если мне везло, разрешалось спать. Обычно я спал на полу. Однако самое тяжелое лишение состояло в том, что комната никогда не оставалась пустой и темной. Все время дежурили двое часовых. Работа младших комиссаров, в пользовании которых была комната, не прекращалась ни днем ни ночью. В большинстве своем это были латыши или русские матросы. Некоторые были настроены довольно дружелюбно. Они рассматривали меня с особым интересом, иногда разговаривали со мной и давали мне читать «Известия». Другие были грубые враждебны. Ночью за мной присылал Петерс и я подвергался насмешливому допросу. Я не могу сказать, что он обращался со мной плохо. Желание спать было тяжелым испытанием, и меня утомляли его ночные допросы. По большей части это были настойчивые предложения сообщить ему всю правду в моих же собственных интересах. Он говорил, что мои товарищи уже сознались (один из французских агентов написал анти-союзническое письмо, напечатанное в большевистской прессе), и Петерс предлагал мне сделать то же, если я хочу избежать передачи моего дела в Революционный трибунал. Он не был, однако, ни груб, ни даже невежлив. Наши отношения заключенного и тюремщика были приятны. Он сам был женат на англичанке, которую оставил в Англии. Его, казалось, интересовал мой роман с Мурой. Иногда он заходил ко мне в комнату и осведомлялся, хорошо ли меня кормят. Пища — чай, жидкие щи и картофель была непитательна, но я не жаловался. На второй день он принес мне две книги для чтения: Уэллса «Мистер Бритлинг...» и Ленина — «Государство и революция». Моим единственным утешением были официальные большевистские газеты, которыми меня снабжали мои тюремщики с радостью пропагандистов. Конечно, что касается моего личного дела, газетные сведения были далеко неутешительны. Они были все переполнены заговором Локкарта. Печатались многочисленные резолюции, принятые комитетами рабочих, требующие суда надо мной и смертного приговора. Отводилось также видное место и иностранным комментариям по поводу заговора. В особенности германская пресса отдавала ему должное. Во время войны она сильно страдала от

подобных же обвинений в недипломатическом поведении, особенно в деле Папена, а теперь она воспользовалась большей частью приписываемых нам проступков, называя их наиболее скандальными в истории дипломатии. Были также неутешительные отчеты о победах большевиков над чехами и союзниками и еще более грозные сведения о терроре, развернувшемся повсюду. Все эти подробности не могли рассеять мою тревогу. С самого первого дня моего заключения я решил, что, если Ленин умрет, моя жизнь не будет стоить ни гроша. Меня могло спасти только одно: из ряда вон выходящая победа союзных войск во Франции. Зная пристрастие большевиков к миру какой угодно ценой, я чувствовал, что такая победа может смягчить обращение со мной большевиков. А «Известия», к моей радости, содержали не только бюллетени о здоровье Ленина, но и новости о положении на западном фронте. И те, и другие были утешительны. Шестого сентября было объявлено, что Ленин вне опасности. На западе продвижение союзников сопровождалось действительным успехом.

От Петерса я узнал, что мои коллеги сидели все вместе в Бутырской тюрьме. Один я был выделен для одиночного заключения. Это усиливало дурное настроение.

Мое заключение в ЧК было отмечено двумя мрачными инцидентами. На третий день ко мне в комнату ввели бандита. Это был высокий здоровый детина лет двадцати пяти. Я был молчаливым свидетелем его допроса, который сильно разнился от того, что пережил я в руках Петерса. Сперва он, смеясь, утверждал свою невиновность. Не было более лояльного сторонника советского режима, чем он. Никто так добросовестно не соблюдал декреты. Обвинения в бандитизме и контрабанде были делом контрреволюционеров, хотевших его погубить. Он изобразил себя в прекрасном свете, но комиссар не обратил на это никакого внимания. Он безжалостно повторял свой вопрос: «Где вы были в ночь на двадцать седьмое августа?» Бандит сперва шумел, затем смутился, стал лгать, а когда заметил, что комиссар видит его ложь, начал рыдать и просить пощады. Комиссар засмеялся и нацарапал что-то на клочке бумаги. Он протянул бумажку часовому, бандит все еще стоял на коленях у стола. Часовой взял его за плечо, и тотчас все его поведение изменилось. Увидев, что судьба его решена, он вскочил на ноги, отбросил одного часового к стене и стремительно бросился к двери. Один из большевиков подставил ему

ногу и бандит упал, растянувшись на полу. Его схватили и вытащили из комнаты, а он продолжал драться и проклипать своих тюремщиков.

Второй инцидент, более потрясший мои нервы, произошел в последний день моего пребывания на Лубянке, 11. Я читал, когда Петерс вошел в комнату. Я отошел с ним к окну поговорить. Когда у него была свободная минута, он любил поговорить об Англии, войне, капитализме и революции. Он рассказывал мне необыкновенные вещи о своих переживаниях в бытность революционером. Он сидел в тюрьме в Рите во времена царизма. Он показывал мне свои ногти в доказательство тех пыток которые он перенес. Ничто в его характере не обличало бесчеловечного чудовища, каким его обычно считали. Он говорил мне, что каждое подписание смертного приговора причиняло ему физическую боль. Я думаю, это была правда. В его натуре была большая доля сентиментальности, но он был фанатиком во всем, что касалось столкновений между большевизмом и капитализмом, и он преследовал большевистские цели с чувством долга, которое не знало жалости.

В то время, как мы разговаривали, автомобиль вроде «Черной Марии» въехал на задний двор, из него вылез отряд людей с ружьями и патронташами и занял весь двор. В это же время как раз под нашим окном открылась дверь и три человека с опущенными головами медленно направились к автомобилю. Я их тотчас же узнал. Это были Щегловитов, Хвостов и Белецкий — три экс-министра царского режима; они сидели в тюрьме с начала революции. Затем последовала некоторая пауза и потом крик. Из двери наполовину вытолкнули, наполовину вытащили жирного священника и повели к «Черной Марии». Он был жалок. По лицу катились слезы. Колени его подогнулись, и, как мешок, он упал на землю. Мне стало нехорошо, и я отвернулся. «Куда их ведут?» — спросил я. «Они отправляются в другой мир», — сухо сказал Петерс. «Вот этот, добавил он, указывая на священника, — вполне это заслужил». Это был известный епископ Восторгов. Экс-министры были первой партией из нескольких сот жертв террора, расстрелянных в это время в качестве платы за покушение на Ленина. Ночью Петерс прислал за мной.

— Завтра, — сказал он, — мы перевозим вас в Кремль. Там вы будете один и вам будет удобнее.

В моем присутствии он позвонил коменданту Кремля.

— Готовы ли комнаты для гражданина Локкарта? — спросил он не допускающим возражения голосом.

Очевидно, ответ был отрицательным.

— Ничего не значит, — возразил Петерс, — дайте ему комнату Белецкого.

Белецкий был одним из экс-министров, расстрелянных днем. Это казалось зловещим намеком. Кремль предназначался только для наиболее несчастливых политических заключенных. До сих пор никто оттуда не вышел живым.

Меня перевезли в Кремль вечером восьмого сентября и поместили в кавалерском корпусе. Мои новые комнаты были чисты и удобны. Они состояли из маленькой прихожей, приемной, крошечной спальни, ванной комнаты — увы, без ванны — и маленькой кухни. Комнаты в прежнее время были предназначены для фрейлины. К несчастью, окна с обеих сторон выходили в коридор, так что я был лишен свежего воздуха. К несчастью также, я был не один, как мне обещал Петерс. У меня нашелся товарищ по заключению, латыш Смидхен, причина всех наших бедствий, которого обвиняли как моего агента и соучастника. Мы провели вместе тридцать шесть часов, и я все время боялся произнести слово. Затем его увели, и я никогда не узнал, что с ним случилось. До сих пор я не знаю, расстреляли его или щедро наградили за ту роль, которую он сыграл в разоблачении «большого заговора». Был еще один недостаток в моей новой тюрьме. По обе стороны ее стояли часовые, по одному у каждого окна. Они сменялись через четыре часа и при смене заходили ко мне в комнату проверить, там ли я; каждую ночь меня будили в 10, 2 и 6 часов. Часовые были по большей части латыши, но были также русские, поляки и венгры. Был еще старик, бывший кремлевский служитель, убиравший комнаты. Он был, насколько мог, любезен, но весь наш разговор ограничивался просьбой принести большевистские газеты и горячую воду для самовара. Из «Известий» я узнал, что союзные правительства послали резкую ноту большевикам, требуя нашего немедленного освобождения и считая их всех вместе и каждого в отдельности ответственными за нашу безопасность. В отплату в Англии арестовали Литвинова и посадили в тюрьму, Чичерин ответил на протест нотой, в которой излагались все наши преступления, но которая содержала предложение освободить нас в обмен на Литвинова и других русских

арестованных во Франции и Англии. Предложение Чичерина было до некоторой степени успокоительным. Однако в других отделах газеты сообщалось, что меня будут судить за преступление, которое карается смертью; я совсем не был уверен в своем освобождении и даже в личной безопасности.

Пища в Кремле была такая же, как и на Лубянке, 11, — суп, чай и картофель. Петерс извинился за это, говоря, что он и его подчиненные получают то же самое. Из того, что я мог заметить во время моего пребывания в ЧК, его слова были правильны. По приезде в Кремль я первым делом написал Петерсу по поводу Муры и своих слуг. Еще раз я обращался к его порядочности. Я сообщал ему, что слуги ни в какой мере не были ответственны за то, что я мог делать или не делать. Что же касается Муры, я спрашивал, какое удовлетворение он получает, сражаясь с женщинами. На третий день он приехал ко мне. Он сообщил, что, по всей вероятности, я буду передан для суда Революционному трибуналу. Однако он освободил Муру. И даже больше того, он дал ей разрешение принести мне пищу, одежду, книги и табак. Он брался передать ей от меня записку при условии, если она будет написана по-русски и не запечатана. Вместе с тем он отдал распоряжение коменданту Кремля давать мне ежедневно двухчасовую прогулку. Он был в великодушном настроении. Ленин выздоравливал. Новости с большевистского фронта были прекрасны. Большевики отбили у чехов Уральск. Казань была накануне капитуляции.

Петерс сдержал свое слово. Днем я получил конкретное доказательство освобождения Муры в виде корзины с одеждой, книгами, табаком и даже такими предметами роскоши, как кофе и ветчина. Было также от нее длинное письмо. Конечно, в нем не было никаких новостей, но оно пришло запечатанным. Его не могли прочесть пытливые глаза моих стражей. Петерс сам запечатал его официальной печатью ЧК с припиской, подписанной его решительным почерком: «Прошу передать это письмо запечатанным. Я его прочел. Петерс». Этот странный человек, которому я внушал почему-то интерес, решил доказать мне, что большевики в мелочах могут быть такими же рыцарями, как и буржуа.

Одежда и пища, но особенно одежда, были истинным благодеянием. Я не снимал костюма, не умывался и не брился вот уже шесть дней.

Тревога моя длилась еще две недели. Как раз накануне Крыленко, общественный обвинитель, выступал на митинге и под громкие возгласы одобрения объявил, что будет вести дело о союзных заговорщиках и что преступник Локкарт не избежит должного наказания. Однако с этих пор моя тюремная жизнь стала довольно спокойной. Конечно, время тянулось убийственно долго. Все же постепенно я завел порядок, который заставил проходить день быстрее. Как только я был одет, я начинал раскладывать китайский пасьянс. (С одеждой и книгами Мура прислала колоду карт.) Я как бы ставил ставку на себя самого. С кельтским суеверием я говорил себе, если пасьянс не сойдется день кончится несчастьем. С нездоровым волнением я сражался за свою жизнь в карты. К счастью, для спокойствия моего рассудка никогда не случалось, чтобы пасьянс не сходился. Однако бывали дни, когда я выходил победителем только к вечеру.

Окончив игру в карты, я принимался за чтение. Вот что я прочел за три недели пребывания в Кремле: Фукидида, Ренана — «Воспоминание детства и юности», Ранке — «История папства», Шиллера — «Валленштейн», Ростана — «Орленок», Архенгольтца — «История семилетней войны», Бельтцке — «История войны 1812 года в России», Зудермана — «Розы», Маколея — «Жизнь и письма», Стивенсона — «Путешествие с ослом», Киплинга — «Смелые капитаны», Уэллса — «Остров доктора Моро», Голланда Роза — «Жизнь Наполеона», Карлейля — «Французская революция» и Ленина и Зиновьева — «Против течения». Тогда я был серьезным молодым человеком. Другим времяпрепровождением было приготовление еды. После завтрака я гулял по Кремлю. Первая моя прогулка была одиннадцатого сентября. Это был день взятия большевиками Казани, и Кремль весь был украшен флагами и красными знаменами. В первые дни большевистского режима Кремль был крепостью, в которую редко или совсем не допускали посетителей. Даже в дни моих самых дружественных отношений с большевиками я ни разу не переступил его порога. Мои интервью с Лениным, Троцким, Чичериным и другими комиссарами были всегда вне кремлевских стен. Теперь я мог видеть все перемены, которые произошли там после Октябрьской революции. Гигантский памятник Александру Второму на площади для парадов был стащен с огромного пьедестала, крест на месте убийства великого князя Сергея снят.

Моим конвоиром в этот первый день был поляк. Он шел рядом со мной с заряженной винтовкой и разговаривал довольно дружелюбно. Он сообщил, что часто сопровождал царских экс-министров во время прогулок и что мало кто из кремлевских пленников вышел отсюда живым. Его товарищи держали пари два против одного, что я буду расстрелян.

В общем конвоиры мои были приличные, смышленные люди, не делавшие никаких попыток насмеяться надо мной. Во все время заключения я наткнулся только на одного, который был действительно мерзок: негодяй с недовольным лицом, проклинавший Англию, ругавший меня убийцей и отказавший в разрешении послать записку коменданту. Он был венгр. Лучше всех были латыши. Многие из них относились к русским презрительно, считая их стоящими ниже себя. Один латыш сказал мне, что, если бы Россия могла выставить в окопы миллион нерусских войск, она непременно выиграла бы войну. Каждый раз, когда латыши наступали, говорил он, их подводили русские, которые никогда не могли их поддержать. С другой стороны, он чрезвычайно уважал лидеров большевиков, считая их сверхлюдьми. Не все мои конвоиры были большевиками. Их можно разделить на три группы: во-первых — ярые коммунисты, убеждавшие каждого своей искренностью и преданностью делу. Таких было немного. Во-вторых, стадо: идущие за толпой — сегодня большевики, завтра — меньшевики. И в-третьих, — наиболее многочисленная — скептики, считавшие, что в России все возможно и все плохо. Все, однако, были уверены, что революция упрочилась. Даже те латыши, которые стремились вернуться в Латвию, смеялись над возможностью успеха контрреволюции. Для них контрреволюция означала возврат земли собственникам.

Эти прогулки были желанным развлечением в монотонности моего существования. Они не давали мне думать о себе, и, хотя вначале я не мог удержаться от косвенных вопросов конвоирам о своей судьбе, получаемые ответы скоро охладили дальнейшие попытки удовлетворить болезненное любопытство. Ежедневно во время прогулки я заходил в маленькую церковь, построенную в стенах Кремля. Там была знаменитая икона Божьей матери «Нечаянная радость» и небольшой сад вокруг церкви. Перед войной, вдохновленный этим очаровательным названием, я написал о ней

небольшой рассказ, напечатанный в «Морнинг пост». Теперь этот храм был в течение трех недель местом моих ежедневных молитв.

В конце первой недели, проведенной в Кремле, ко мне зашел Карахан. Он умалчивал о моем деле. Он также намекал, что общественный суд неизбежен. Он сказал мне, что Рене Маршан, член французской миссии, сообщил большевикам все данные о митинге союзников в американском генеральном консульстве. На этом митинге представители союзников обсуждали такие меры, как взрыв железнодорожных мостов, чтобы отрезать Москву и С.-Петербург от источников снабжения. По словам Карахана, он передал полный список всех присутствовавших. Я засмеялся. Большинство моих разговоров с Караханом велось в тоне легкой иронии.

Это почище выдумок «Таймс», — сказал я, — и хотите верьте мне, хотите нет, но это новая выдумка вашей ЧК.

Но это правда, — возразил он. — Через день или два мы опубликуем письмо. К счастью для вас, — добавил он с усмешкой, — вы, кажется, не присутствовали.

Рассказ его был более или менее справедлив. Маршан решил примкнуть к большевикам. После войны он вернулся во Францию и вступил во французскую коммунистическую партию. Он отрекся от коммунизма в 1931 году. Карахан передал мне новости о войне и о том, что делается на свете. Нейтральные дипломаты выпустили резкий протест против террора, из чего я заключил, что они работали для нашего освобождения. Силы союзников не имели успеха в России. Большевики отмечали дальнейшие успехи в борьбе с чехами и русскими контрреволюционными силами. С другой стороны, союзники гнали назад немцев на западе. Австрия и Болгария были накануне крушения. Он признавал, что теперь союзники могут выиграть войну.

Конечно, это были хорошие вести. Они были еще усилены разоблачением истинной цели визита Карахана. Он явился, чтобы узнать мое мнение относительно условий, на которых Англия согласится прекратить интервенцию и заключить мир с Россией. Большевики были готовы предложить амнистию всем контрреволюционерам, которые признают режим, и предоставить возможность убраться из России чехам и союзникам. Было очевидно, если большевики готовы обсуждать условия мира с союзниками, они меня не расстреляют. С другой стороны, союзники, казалось, не хотели

выслушивать никаких предложений такого рода. В общем, надежды мои ожили после его визита. Карахан сообщил мне, что Ленин уже может сидеть и принимать пищу.

Погода всю неделю с 14 по 21 сентября была дождливая и скверная, и два дня я не мог даже гулять. Я все еще получал ежедневные послания и роскошные посылки от Муры. Она мне прислала вечное перо, несколько записных книжек, и я занимался писанием скверных стихов и очень осторожного дневника моей тюремной жизни. Так как большевики меня больше не посещали, я не знал новостей, спал плохо и впал в новый период пессимизма.

Я часто видел Спиридонову, заключенную в одном коридоре со мной. Мы никогда не разговаривали, хотя торжественно раскланивались, проходя мимо друг друга во время ежедневных прогулок. Она выглядела больной и нервной, с черными кругами вокруг глаз. Она была неуклюжа и очень небрежно одета, но в молодости, вероятно, была очень хорошенькой.

Другим заключенным, кого я встречал иногда во время прогулок, был генерал Брусилов. У него случилось какое-то несчастье с ногой, и он ходил с трудом, опираясь на палку. В моем дневнике записано, что «он выглядел больным, измученным и очень старым, выражение лица было лисье, хитрое». Был еще заключенный Саблин, бывший советский командир, игравший руководящую роль в задуманном левыми социалистами-революционерами *coup d'etat* в июле месяце. Красивый, с привлекательной улыбкой и голубыми глазами, он выглядел почти мальчиком.

Высокое положение заключенных, по-видимому, забавляло наших сторожей. Однажды мой конвоир подвел меня к месту, где раньше стояла статуя Александра II, и с гордостью указал на изречение, грубо выцарапанное с одной стороны огромного пьедестала. Слова, вырезанные одним из наших часовых, гласили следующее: «Здесь красноармейцы 9-го стрелкового латышского батальона имели честь гулять с Брусиловым, Локкартом, Спиридоновой и Саблиным». Слово «честь» было в кавычках. Я мрачно подумал, что это, вероятно, единственный памятник, кроме могильного, на котором будет фигурировать мое имя.

21 сентября Карахан опять зашел ко мне. Он был возбужден успехами большевиков на Волге. Красная Армия заняла Симбирск и была полна

надежд. Он принес мне оттиски «Призыва», большевистской листовки, напечатанной по-английски, которую должны были сбрасывать с аэропланов над английскими войсками на архангельском и мурманском фронтах. Она содержала грозный рассказ о так называемом союзническом заговоре. Мое имя широко там фигурировало, и к моим другим преступлениям было еще добавлено обвинение в замысле состряпать ложный договор между Германией и Россией как средство заставить союзников сражаться против большевиков. Рассказ, как следовало из газеты, читался, как «Тысяча и одна ночь». Я указал Карахану на эти слова и поздравил его с талантливой аллегорией. Это был прекрасный пример выдумки, не лишенной воображения. Карахан, знавший все детали моего ареста, мягко улыбнулся. «Ваше правительство, — сказал он, — поддерживает войну против революции. Союзные войска совершили целый ряд беззаконий в нашей стране. Вы стали символом этих беззаконии. При столкновении между двумя мировыми силами отдельные личности всегда страдают».

На следующий день Петерс нанес мне неожиданный визит. Он привез с собой Муру. Был день его рождения (ему было тридцать два года), а так как он предпочитал не получать подарки, а дарить сам, в виде праздничного подарка он привез Муру. Но не только поэтому его визит был одним из самых волнующих моментов моего заключения. Петерс был в настроении, склонном к воспоминаниям. Он сел напротив меня за маленький столик около стены и начал рассказывать о своем революционном прошлом. Он сделался социалистом в пятнадцать лет, перенес изгнания и всякие преследования. Я слушал урывками. Мура, стоявшая позади Петерса напротив меня, бесцельно перебирала книги на небольшом столе перед зеркалом. Она поймала мой взгляд, вынула записку и сунула ее в книгу.

Меня охватил ужас. Легкий поворот головы — и Петерс все мог увидеть в зеркале. Я как можно незаметнее кивнул головой. Но Мура, казалось, думала, что я не видел, и вновь повторила все сначала. Сердце мое замерло, и на этот раз я закивал, как эпилептик. К счастью Петерс ничего не заметил, в противном случае судьба Муры была бы решена. О моей судьбе он не сказал ничего нового, кроме сообщения о приготовлениях, сделанных для суда надо мной, но обращался со мной чрезвычайно любезно, несколько раз осведомился как обращаются со мной часовые, регулярно ли я получаю письма Муры и нет ли у меня

каких-либо жалоб. Затем, извинившись за свой короткий визит ввиду срочной работы и пообещав еще раз привезти Муру, он уехал. Мы с Мурой едва перекинулись несколькими словами, но у меня теперь была надежда. Как только они ушли, я бросился к книге — это был Карлейль, «Французская революция» — и вынул записку. В ней было всего шесть слов: «Ничего не говори — все будет хорошо». Всю ночь я не мог заснуть. На следующий день снова приехал Петерс. Его второе посещение объяснило первое. На этот раз его сопровождала не Мура, а Аскер, шведский генеральный консул, обаятельный, большого ума человек, работавший день и ночь для нашего освобождения. Петерс прямо приступил к делу. Нейтральные дипломаты выражали тревогу относительно моей судьбы. Их сильно обеспокоили слухи, что я расстрелян, что меня подвергали китайским пыткам. Поэтому он привез шведского генерального консула, чтобы тот убедился лично: 1) что я жив, 2) что со мной хорошо обращаются. Мой разговор с Аскером был ограничен. Мы должны были говорить по-русски, а он плохо знал язык. Более того, ему не было разрешено говорить о моей судьбе. Удостоверившись, что я не голодаю и не подвергаюсь пыткам, он ухитрился сказать, что для меня делается все, что только возможно, и затем ушел.

На следующее утро большевистская пресса передала сообщение, что в то время, как буржуазная пресса распространяет по всему свету слухи об ужасных пытках, которым я подвергаюсь, я сам, отрицая это, сообщил шведскому консулу, что со мной обращаются крайне любезно.

Мое интервью с Аскером было все же не вполне удовлетворительно. Тот факт, что ему не разрешили говорить о моем деле, меня приводил в уныние. Я не боялся больше за свою жизнь, но вероятность публичного суда и продолжительного заключения влияли еще сильнее, чем прежде, на мой рассудок. Мои опасения еще усилились опубликованными на другой день в «Известиях» разоблачениями Маршана, французского агента. Они были в форме открытого письма к Пуанкаре и в резких выражениях разоблачали контрреволюционную деятельность союзных агентов в России. Хотя мое имя не было упомянуто в этом письме и хотя я никогда не принимал участия в деятельности, которая оттолкнула Маршана от родины, большевистская пресса ухватилась за возможность вылить всю грязь на мою голову. Еще раз меня называли зачинщиком всего того, что было

и чего не было, и архипреступным дипломатом. Думаю, я мог бы считать себя польщенным. Я был самый молодой из союзных представителей. И все же был выделен для одиночного заключения в Кремле, а мое имя фигурировало в каждой газете как вожака всех союзных представителей. Сомнительно, чтобы обращение большевиков со мной, столь сильно различное наедине и публично, определялось только политическими причинами. Я знал их более близко, чем любой из союзных представителей. Я почти до самого конца противился интервенции. Необходимо было использовать все средства и дискредитировать заранее все данные, которые я мог привести против них. Американские чиновники, гораздо больше меня замешанные в разоблачениях Маршана, избегли не только ареста, но даже оскорблений. Большевики знали, что президент Вильсон, как историк, помнил Наполеона и весьма равнодушно относился к русской политике союзников. Большевики решили не делать ничего, что могло бы повлиять на его отношение к этой политике.

Погода в это время была раздражающая. Были дни, когда светило солнце и жара стояла, как в июле месяце. Это были дни надежд. В другие дни дул ветер, дождь безжалостно стучал по кремлевским стенам. В воздухе чувствовалась зима. Холод и сырость еще более усиливали мое угнетенное состояние. В дневнике записано, что мои нервы, которые до сих пор прекрасно выдерживали все напряжение этих месяцев, начали сдавать.

Двадцать шестого сентября ко мне снова явился Карахан. Как и всегда, он был любезен и приветлив. Мы продолжали разговор о положении союзников в России и возможности начала переговоров о мире. Он сообщил мне, что вопрос о моем суде в настоящее время решен. Его не будет. Он полагал, что, возможно, я буду освобожден.

Когда он ушел, я сел за стол и перевел белыми стихами монолог Телля из Шиллера: «Он должен пройти эту пустынную долину».

Через два дня приехал Петерс с Мурой. Это было в субботу, в шесть часов вечера. На нем была кожаная куртка и брюки цвета хаки. Огромный маузер висел сбоку. На лице сияла улыбка. Он сообщил мне, что во вторник меня освободят. Он разрешит мне поехать домой дня на два уложиться. Я поблагодарил, он взглянул на меня, как бы стесняясь, сунул руку в карман и вынул оттуда пакет. «Я хочу обратиться к вам с просьбой, — сказал он. — Когда вы приедете в

Лондон, не передадите ли это письмо моей жене?» Кроме того, он дал мне свою фотографическую карточку со своей подписью и показал несколько снимков жены. Прежде чем я успел сказать: «Конечно, передам», он передумал. «Нет, я не буду вас затруднять. Как только вы отсюда уедете, вы начнете проклинать меня и называть злейшим врагом». Казалось, он был неспособен приписывать буржуазии человеческие чувства по отношению к пролетариату.

Я сказал ему, чтобы он не глумился и дал мне свое письмо. Отбросив политику, я ничего против него не имею и всю жизнь буду вспоминать его внимательность к Муре. Я взял письмо и, конечно, впоследствии передал. Затем он начал разговор сперва о политике, затем о заговоре. Он открыто признался в присутствии Муры, что американцы также были сильно скомпрометированы в нем, как и все другие. (Уже после моего ареста один американский агент был задержан с планами расположения Красной Армии, спрятанными внутри тросточки.) Он признался, что все показания, которые ему удалось собрать против меня, были ничтожны. Я был либо глуп, либо чересчур хитер. «Я вас не понимаю, — сказал он. Почему вы едете в Англию? Вы поставили себя в ложное положение. Ваша карьера окончена. Ваше правительство вас никогда не простит. Почему вы не останетесь здесь? Вы можете прекрасно здесь устроиться. Мы можем дать вам работу. Капитализм обречен на гибель».

Я отрицательно покачал головой, и он ушел удивленный. Он не мог понять, как я решаюсь оставить Муру. Он оставил нас с ней вдвоем.

Реакция была изумительной. Хотя, не считая первых дней, когда еще не было ясно, что Ленин поправится, я не боялся расстрела, все же напряжение было очень сильно, и я не был уверен, что при малейшей перемене все не обернется против меня. Мы смеялись и плакали. Потом принялись говорить. Так много надо было рассказать восполнить пробел за целый месяц, когда я ничего не знал о внешнем мире, о товарищах и самой Муре.

Это был бессвязный разговор, прерываемый постоянными отступлениями, но мало-помалу я восстановил всю историю. Мура была в женской тюрьме. Мои коллеги и большая часть французов заключены в Бутырках. Уордвелл, американец, вел себя геройски. Он добился от большевиков уступок. Ежедневно он кормил всех союзных заключенных и Муру из своих запасов. Она же узнала от него, что меня

могут расстрелять. В течение десяти дней за мою судьбу сильно боялись. Мое одиночное заключение весьма расстроило нейтральных дипломатов. Ужасная сцена произошла между голландским посланником и Чичериным, когда оба потеряли самообладание. Голландский посланник был убежден, что меня расстреляют, и телеграфировал о своем убеждении в Лондон. Британское правительство ответило угрожающей нотой большевикам. Положение казалось безнадежным, пока Ленин не был в состоянии заняться делом. Когда он пришел в себя, говорят, первая его фраза была: «Прекратите террор». Постепенно горячие головы по ту и другую сторону остыли, и из хаоса возник план: обменять нас на Литвинова и других большевиков в Англии. Было много всяких препятствий, прежде чем было достигнуто соглашение. Английское правительство, арестовавшее Литвинова, не доверяло большевикам. Оно не хотело выпустить из Англии Литвинова прежде, чем я перееду русскую границу. Несколько дней казалось, что переговоры не выйдут из тупика.

Я предвидел это затруднение, когда в первый раз прочел это предложение в «Известиях». Я знал, что большевики мало заботятся о Литвинове, но очень много о своем престиже. Единственный способ удовлетворительно разрешить такое дело, это поймать их на слове. И они его выполняют в точности. Если относиться к ним, как к бандитам, они будут вести себя, как бандиты. Я полагал, что английское правительство предпочитает бандитское обращение. Так оно и было. К счастью, Рекс Липер, бывший советником м-ра Бальфура при переговорах, понимал психологию большевиков. Он убедил м-ра Бальфура разрешить Литвинову уехать из Лондона в то же время, когда я выеду из Москвы, и м-р Бальфур, несмотря на оппозицию большинства кабинета, принял его совет. Шведы и норвежцы взяли на себя ведение переговоров. Нам разрешили переехать через русскую границу, как только Литвинов с товарищами приедут в Берген. В течение этого месяца, полного волнений, произошел в связи с нашим заключением один эпизод, заставивший смеяться всю Россию. Когда начались массовые аресты союзных представителей, около шести чиновников, включая Хикса и Гренара, французского генерального консула, укрылись в американском генеральном консульстве, которое после разрыва сношений было занято норвежским посланником. Официально это было теперь норвежское посольство.

Большевики скоро выследили пропавших союзных чиновников. Они хотели их арестовать. В то же время, встревоженные последствиями своего налета на английское посольство в С.-Петербурге, они не хотели вызывать новые нарушения международного права. Они хотели быть корректными. Они не хотели нарушить дипломатическую экстерриториальность. Но они принудят голодом сдать укрывшихся. Норвежское посольство помещалось в большом доме с маленьким флигелем, окруженным большим садом, где спали осажденные союзники. Он занимал целый квартал между двумя переулками и был вполне виден с обеих сторон. Большевики окружили квартал войсками, не позволяя никому входить в ворота или выходить из них, и закрыли водопровод и электричество. Ежедневно половина Москвы собиралась на улицах полюбоваться зрелищем. Но союзники не сдавались. Они ежедневно прогуливались по саду. Как только начинался дождь, они выбегали набрать воды в свои тэбы. Они не только не выглядели голодными, а, казалось, даже потолстели. Они выдержали до конца.

Тэбы были на самом деле только предлогом. В подвалах флигеля находились склады американского Красного Креста: мясо в консервах, молоко, бисквиты, масло, свечи, табак. Прекратив подачу воды, ЧК позабыла один кран, который был, по-видимому, соединен с другой магистралью. Неограниченные запасы пищи, чистое, хорошо меблированное помещение и игра в покер вечером за окнами с тяжелыми шторами, чтобы не нарушить иллюзии большевиков, более уютно обставили жизнь осажденных, чем их других товарищей по несчастью.

Вечером после ухода Муры я долго сидел, курил и обзирал положение. Когда испарилась первая радость освобождения, ее сменила глубокая депрессия. Мое будущее казалось безнадежным. Нервы сдали. Теперь, когда меня должны были освободить или, вернее, выслать из России, я не хотел уезжать. Я все время возвращался к предложению Петерса остаться в России с Мурой. Я обратил на него больше внимания, чем это может себе представить английский читатель. Оно было не так безумно невозможным, как казалось. Садуль и Паскаль, юный французский офицер, чертами лица похожий на святого, приняли подобные предложения. Думал я и о Маршане! Эти люди не были намеренными предателями. Как и на большинство из нас, на них оказал влияние социальный переворот,

который, они понимали, потрясет до основания весь мир. Были минуты, когда я спрашивал себя, что я сделаю, если мне придется выбирать между цивилизацией Уолл-стрита и варварством Москвы. Но теперь я не мог поступать свободно. Я стал центром маленькой международной бури — яблоком раздора для двух систем мира. Мне нельзя стать большевиком. Теперь, когда телеграфные провода половины Европы работали, чтобы обеспечить мне освобождение, я не мог отказаться от своих официальных обязательств.

Решение принесло с собой равнодушие и беспомощность. Несколько времени тому назад одна американская газета, критикуя американскую дипломатию в России, сделала сравнение не в пользу американского посланника «с холодным, искушенным Локкартом, беспощадно и расчетливо преследующим английские интересы». Какой сатирой на мое поведение казалось это теперь. Как ничтожны личные желания в этом водовороте международного конфликта.

Сама Мура была удивительна. Она была больна. Температура у нее доходила до 39, но она не жаловалась. Она отнеслась к разлуке с русским фатализмом. Она знала, что другого выхода не было.

Еще два дня меня продержали в Кремле. Мура оставалась со мной с утра до вечера. Вместе мы упаковали вещи: книги, колоду пасьянсных карт, заметки и письма — некоторые были написаны на бланках ЧК, она присылала их. Мы говорили главным образом о прошлом, избегая, насколько возможно, всяких разговоров о будущем.

Во вторник первого октября Карахан заехал попрощаться со мной. Он сообщил, что мы должны уехать на следующий день. В три часа дня меня освободили и под конвоем отвезли на квартиру. У дверей поставили часового и сообщили, что я нахожусь под «домашним арестом».

Квартира была в печальном виде. После моего вторичного ареста ее занимал отряд ЧК. Я обнаружил пропажу жемчужных запонок, нового непромокаемого пальто и значительной суммы денег. Солдаты выпили все наше вино и присвоили запасы провизии. При поисках компрометирующих документов они ободрали обивку со стульев и дивана. Они даже протыкали обои. И все же в закрытой пишущей машинке в моем кабинете я нашел листок бумаги, который ускользнул как от их внимания, так и от моего. На нем стояли следующие слова: «Я подтверждаю, что фирма кредитоспособна на сумму в ».

К счастью, секретарь, писавший это, не продолжил дальше.

Мне не было разрешено выходить, запрещения принимать посетителей не было. Вечером ко мне зашел Аскер. Он был самый деятельный и самый благоразумный из всех нейтральных представителей. Он сообщил, что в один момент мне серьезно угрожала опасность быть расстрелянным. Я благодарил его от всей души. Он был лучшим из шведов, и ему мы больше всего обязаны нашим освобождением. Вторым человеком, кому мы остались неоплатными должниками за его хлопоты, был Уордвелл. Позднее, когда мы вернулись в Англию, английское правительство пожаловало орден св. Михаила и св. Георгия нейтральным посланникам, ведшим переговоры о нашем освобождении. Мне удалось получить для Уордвелла, который, как американец, не мог получить ордена, серебряное блюдо с надписью, выражающей благодарность английского правительства за его услуги. Другим посетителем была Люба Малинина, племянница Челнокова. Она сообщила, что выходит замуж за «Хикки», который все еще отсиживался в норвежском посольстве. Не могу ли я обеспечить ему свободу на один час завтра, чтобы они могли обвенчаться?

Я обещал сделать все, что могу, и когда поздно вечером Петерс заехал попрощаться, я попросил его полшутя, полусентиментально, зная, что он это поймет. Он засмеялся: «Никто, кроме сумасшедшего англичанина не обратился бы с такой просьбой в такое время. Для них нет ничего невозможного. Посмотрю, что можно сделать». Он сделал, и «Хикки» с Любой обвенчались на следующий день.

Среда — день нашего отъезда — прошла в хлопотах. Петерс прислал письмо с извинениями за пропажу вещей, а в качестве компенсации в него были вложены деньги; я их вернул с благодарностью. Были длинные переговоры с Аскером о наблюдении за английскими интересами и о защите английских подданных в Москве.

В шесть часов вечера часового из моей прихожей убрали, а в 9 часов 30 минут приехал на своем автомобиле Аскер, чтобы отвезти меня на вокзал. Там я встретил своих французских и английских коллег; большинство из них были привезены на вокзал из тюрьмы прямо к поезду. Поезд стоял на боковой платформе за станцией. Когда я шел вдоль линии, я думал, не будут ли ругать меня товарищи за все то, что они перенесли. Все были как-то молчаливы и покорны. Поезд охраняла

рота латышских солдат, они должны были сопровождать нас до границы. Их присутствие создало подавленное настроение. Я думаю, все мы чувствовали, что не сможем вздохнуть спокойно, пока не выедем из России. Было несколько друзей, пришедших нас проводить: Мура, Уордвелл и несколько русских родственников новой миссис Хикс. В нашем прощании не было ничего драматического или натянутого. Наш отъезд затянулся на несколько часов из-за обычных русских препятствий. Холодной звездной ночью мы с Мурой болтали о пустяках. Мы говорили о чем угодно, только не о себе. А затем я отправил ее домой с Уордвеллом. Я смотрел ей вслед, пока она не исчезла в темноте. Тогда я вернулся в тускло освещенный вагон, чтобы остаться одному со своими мыслями. Было почти два часа утра, когда наш поезд, после бесконечного пыхтения и ложных попыток сдвинуться, медленно отошел от станции. Однако до конца было еще не близко. Обогнув С.-Петербург («Известия» сообщили, что наш поезд передали на другую ветку, чтобы возбужденное население не разорвало нас в клочки), мы достигли Бело-острова, пограничной русско-финской станции, в четверг вечером. Наша радость была преждевременна. Не было финского поезда. Командир латышского конвоя получил строжайший приказ не разрешать нам дальнейший путь, пока он не получит определенного подтверждения о прибытии Литвинова в Берген. От Литвинова известий не было. Оставалось только ждать. Эти три дня в Бело-острове показались более тяжелыми, чем мое заключение. Теперь, когда все уже было позади, я поддался нервной депрессии. Мы сбились в кучу в грязном, нетопленном поезде. Провизии у нас было только на несколько дней. Хотя я не боялся, что большевики передумают и вернут нас в Москву, возможность препятствий не была исключена. Дело затягивалось, нервы все напрягались, и настроение духа портилось. Были даже горячие головы, советовавшие прорваться ночью через узкую пограничную полосу. Лично для меня ночи были невероятным мучением. Теперь я почти совсем не спал. Я разговаривал с Лавернем и Хиксом. Мы все старались оправдаться, повторяя старые аргументы, и утешались мыслью, что, если бы союзники послушались нашего совета, они не попали бы в такую кашу. Я думаю, все мы поняли, что при всяких обстоятельствах интервенция была бы ошибкой. Мы предвидели, что нас будут ругать и что как генералы, так и политики будут прикрываться тем, что они плохо были осведомлены.

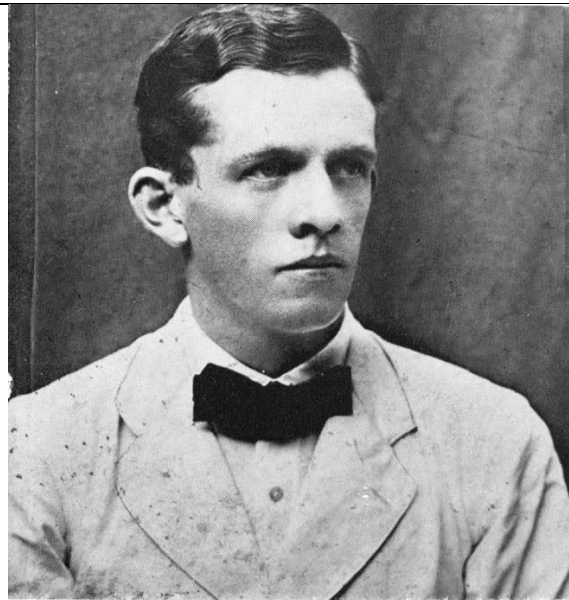

Больше всего я гулял по платформе. Я хотел быть один. Я страшился приезда домой и тех расспросов, которые придется перенести. Погода, на счастье, была прекрасная, и под звездным северным небом я мог бы пройти много миль. Надежда угасла в моем сердце. Иллюзий о приеме на родине у меня не было. В течение нескольких дней имя мое будет фигурировать на первых страницах газет. Меня окружают репортеры, фотографы, я буду принят кронпринцессой шведской, королем, м-ром Бальфуrom. Все вздохнут спокойно. Если бы со мной что-нибудь случилось, возникли бы неприятные осложнения и, может быть, некоторое угрызение совести в Уайт холле? Затем меня забросят на полку. Мое знакомство с запутанным положением, единственное для настоящего времени, покроется ржавчиной. Никого так скоро не забывают, как человека, политические способности которого дискредитированы. А мои политические способности были дискредитированы в глазах как защитников большевиков, так и интервентов. Будущее мое было не из приятных, и я подверг свою совесть суровому допросу.

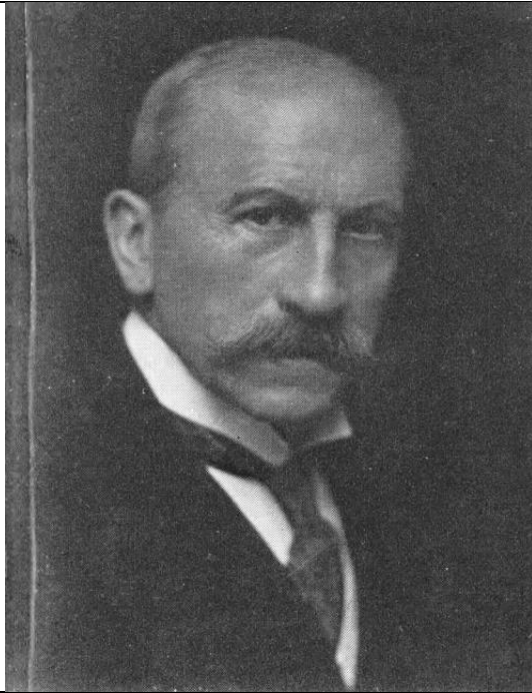
Несколько месяцев тому назад, когда мы слегка повздорили по принципиальному вопросу, Мура назвала меня «довольно умным, но недостаточно; довольно сильным, но недостаточно; немного слабым, но недостаточно». Сам Петерс охарактеризовал меня как человека «золотой середины» и презирал меня. Как казалось тогда, так кажется и теперь это хорошее определение моего характера. А теперь я покинул Муру. Чаша моего несчастья переполнилась.

Каковы бы ни были мои сокровенные мысли, я должен был на людях быть бодрым. Роль надо разыграть до конца. В поезде было около сорока или пятидесяти французов и англичан. Мы должны были поддерживать хорошие отношения с латышом-командиром и стараться убедить его ускорить наш отъезд. Для поддержания духа я организовал ряд матчей в pitch а cross между нами и французами. Мы играли на платформе, которая служила нам площадкой, окруженные латышскими солдатами и русскими станционными чиновниками. Они были увлечены так же, как и мы. Без сомнения, было забавно видеть французского генерала с серебряной головой, становившегося на одно колено, чтобы измерить носовым платком расстояние между кучками рублей на платформе. Может быть, они считали нас сумасшедшими, но это им нравилось, и недолго пришлось бы убеждать латыша-командира принять участие в игре, правда, он отказался, но в его

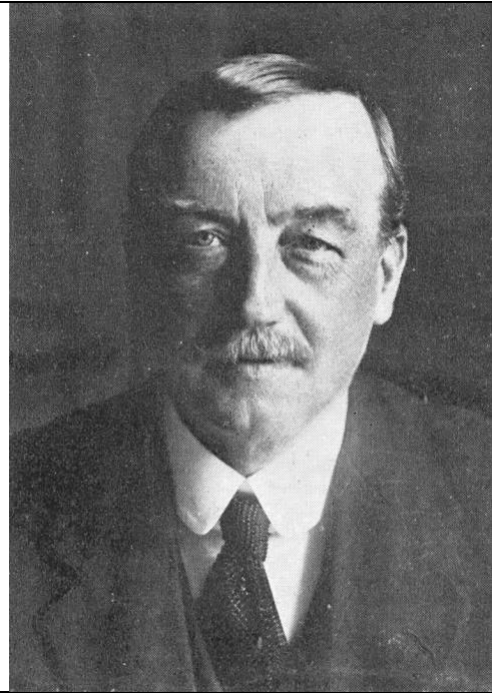
отказе чувствовалось колебание. Может быть, он боялся, что в Москве сочтут его участие в игре непролетарским. Англия или, скорее, Шотландия выиграла. В дни моей пресвитерианской юности я прилежно играл в эту игру каждое воскресенье, и мы были более опытными игроками. К концу матчей настал конец и нашим волнениям. В то время как мы собирали свои монеты, командир подошел с телеграммой в руках. Все было в порядке. Финский поезд готов, и мы должны ехать немедленно. Он принес нам русские газеты из С.-Петербурга. В них была масса новостей. Болгария была побеждена и подписала перемирие. Австрия просила мира. Линия Гинденбурга на Западе была прорвана. На моих товарищей новости подействовали, как укрепляющее лекарство. Большинство из них смотрели на отъезд, как на счастливое освобождение от кошмара, рассеявшегося под утренним солнцем. Они могли с надеждой смотреть на будущее. У меня в душе не было ликования. Мое тело двигалось вперед, но мысли шли назад в Москву, в ту страну, которую я покидал, вероятно, навсегда.

Приложение

	
<p>Автор в Малае, 1910 г.</p>	<p>Автор</p>



Лорд Мильнер



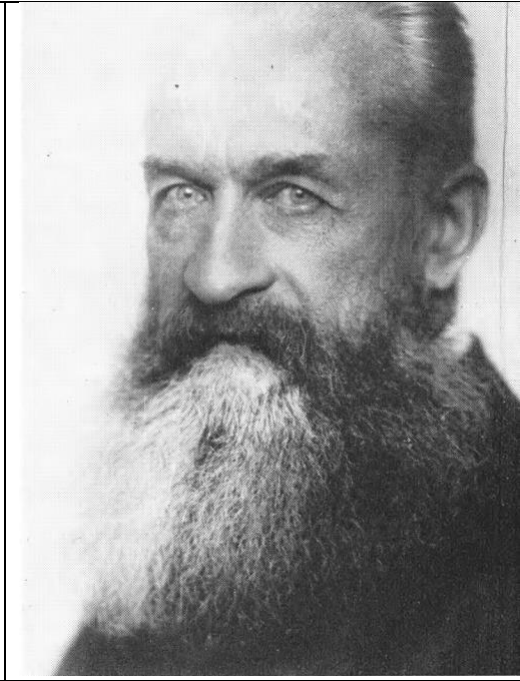
Артур Хендерсон



Сэр Джордж Бьюкенен,
британский посол в Москве.



С. Д. Сазонов, царский министр
иностраннных дел



Князь Георгий Львов



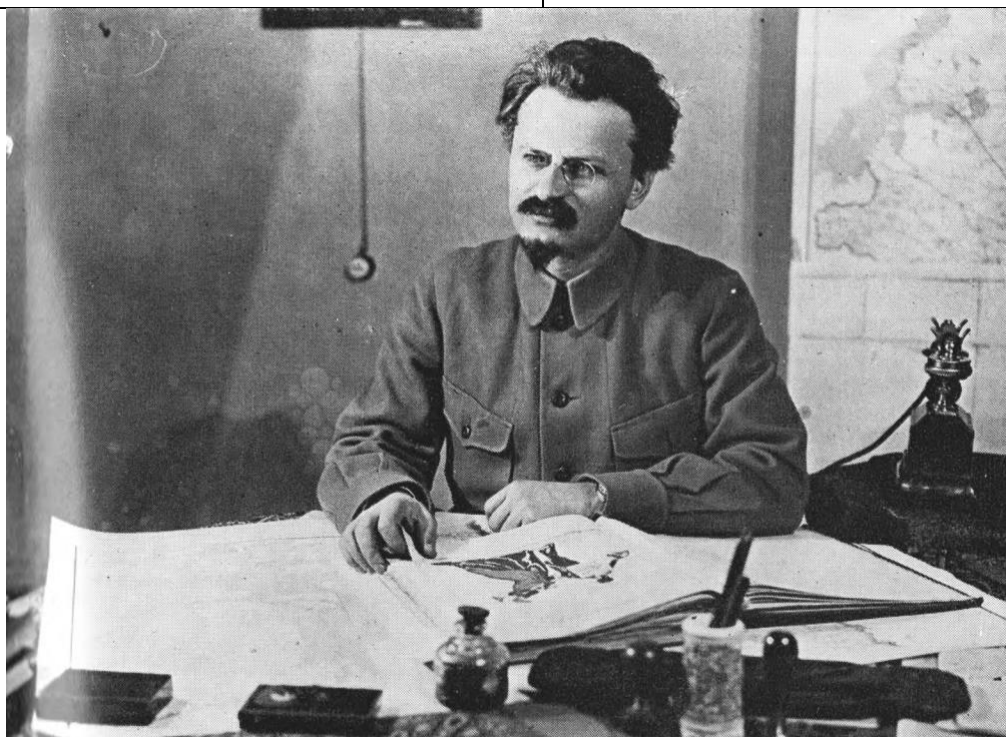
Александр Керенский



Борис Савинков



Ленин



Троцкий



Н. И. Бухарин



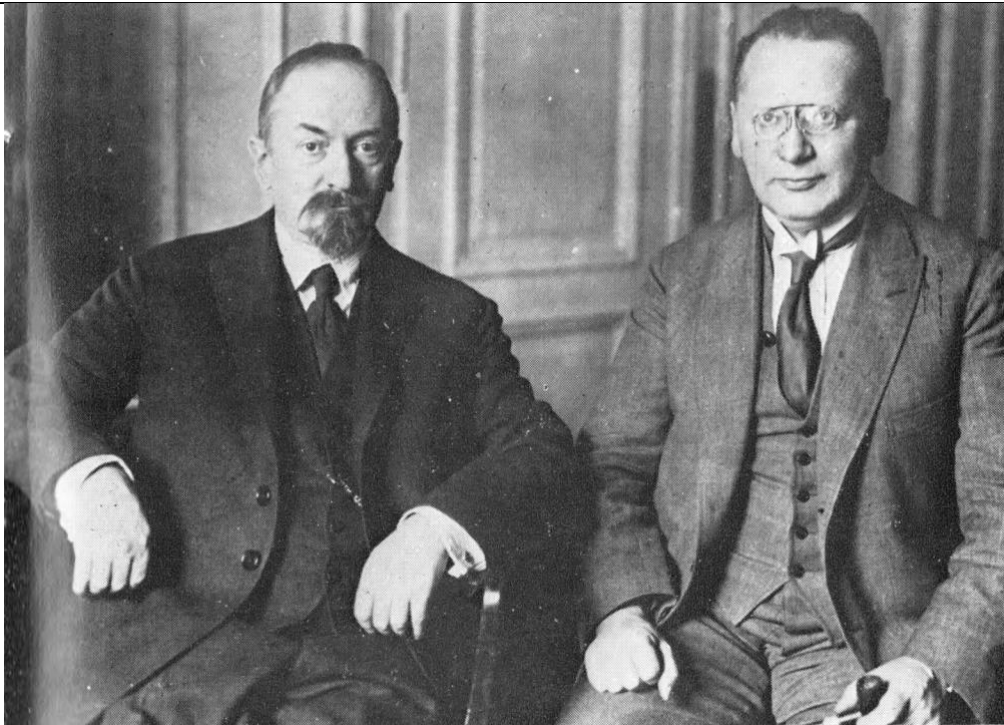
Карл Радек



Феликс Дзержинский



Вожди Октябрьской Революции: Троцкий, Ленин, Луначарский, Спиридонова, Коллонтай, Раскольников, Каменев, Зиновьев



Г. В. Чичерин и Макс Литвинов



Мура Будберг



Сидни Рейли



Капитан Кроми